

ЗНАМЯ

4/93

Александр АГЕЕВ
Мерзкая плоть

Леонид ГУБАНОВ
Волчьи ягоды

Руслан КИРЕЕВ
Из поздней прозы

Генрих САПГИР
Новый вес и объем

Виктор ПЕЛЕВИН
Жизнь насекомых

Варлам ШАЛАМОВ
Воспоминания

АПРЕЛЬ



ЗНАМЯ

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

Выходит
с января 1931 года

Содержание

4

**АПРЕЛЬ
1993**

Олег Охалкин. Вьюжная Пасха. Стихи	3
Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Роман	6
Генрих Сапгир. Новый вес и объем. Элегии	66
Руслан Киреев. Из поздней прозы	70
Леонид Губанов. Волчьи ягоды. Стихи	87
Даур Заитария. О линиях жизни и печени. Рассказ	97
Марина Темкина. С оказией... Стихи	105
Евгений Шкловский. Сутра пятого патриарха. Рассказ	108
<u>Мемуары. Архивы. Свидетельства</u>	
Варлам Шаламов. Воспоминания. Подготовка текста и публикация И. Сиротинской	114
<u>Публицистика</u>	
Григорий Каковкин. Служба, дело и дружба	171
Феликс Новиков. Кто закажет застывшую музыку?	185

Москва
Издательство
«Пресса»

Александр Агеев. Мерзкая плоть

194

Из почты «Знамени»

М. Тартаковский. Историсофия, или Мудрость истории

205

Дорогие читатели!

Вы сможете приобрести любой интересующий Вас номер журнала «Знамя» (начиная с № 9 за 1992 г.) в магазине «Дом книги» на Новом Арбате (Москва, Новый Арбат, д. 8) в секции «Ассоциация независимых литературных изданий России» — АНЛИР.

Там же можно купить и сделать заказ на другие журналы АНЛИРа: «Волга», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Интерпол — Москва», «Искусство кино», «Новый мир», «Октябрь», «Северные просторы», «Юность» и книжные приложения к ним.

Итак, в магазине «Дом книги» на Новом Арбате всегда для Вас журналы и книги серии «АНЛИР».

Телефоны для справок: 290-45-07, 131-79-74.

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи просим высылать заказной бандеролью — посылки редакция не принимает.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

При перепечатке наших материалов ссылка на «Знамя» обязательна.

Олег Охупкин

ВЬЮЖНАЯ ПАСХА

Нищета

Всё отнято у нас. Но живы мы.
Отымется и жизнь — мы не умрем.
Так чем и души наши движимы?
Каким таинственным огнем?

Всё для Тебя возможно, Господи!
И верю я: Ты дашь нам хлеб,
Гори, душа моя, без копоти,
Пока во тьме я не ослеп!

Свети в пути земном и нищенском!
Еще немного дотерпеть,

И в тихом шуме Благовещенском
Нас примут с ангелами петь.

И сколько жили Христа ради мы,
Зачтется нам на небесах.
А те, кем были обокрадены,
Всё получили в телесах.

И если и суму у нищего
Отымут, пусть их, не мечтай!
Нельзя отнять лишь присносущего.
Всяк богатится нищетой.

Наш путь

*О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!*

А. В.

Путь кротости, покорности и воли
К терпению и правде. Ясный путь.
Иной и не отпущено нам доли.
И не по силам, — хочется
вздохнуть.

Другие, пусть, невольничьей свободой
Растленные, глумятся над тобой.
Но я, Святая Русь, не позабуду,
Что ты была Господнею рабой.

И пред Царем Небесным — прах и
трепет —
Я тихие колена преклоню

И за твое смирение и ропот
Всю жизнь мою в мольбе
испламёню.

Да не сойдешь с пути, не ошибешься
В распутицу и в бурю устоишь.
И если я окликну, отзовешься
И сердце от меня не утаишь!

Наш верный путь — стезя душевной
боли

За все и вся заблудшие во тьме.
И если гонят нас путем любви,
И под бичом сходить с него не смей.

Муза

Что сделал я тебе, держава?
Мой путь среди твоих путей.
Но где свобода, гений, слава
Тобой задушенных детей?

В каких столах первопрестольных
Они по гроб погребены?
Что звоны песен алкогольных?
Что наши творческие сны?

То ли пьяной слезы безобразная скука,
То ли женскою мукой влекомая грусть,
Но в грохочущем норде надрывного звука,
Будто в сердца утробе, зауськала Русь.

Что за дикие вопли! Гонимая падарь
Киммерийские мраки пронзает, крутятся.
Или двинулись недра ледовых эскадр
И арктический ужас бунтует, ордясь?

Через непроницаемость в душу народа
Свищет сивер знобящий, студеная жуть.
Нещадимая наша сквозная природа.
Ледниковую память с плеча не стряхнуть.

О, весна земнородная! Сестринской лаской
Нашу душу мужичью под снегом согрей!
Кто там пляшет? Ужели топочущей пляской
Растоскуется удаль под гиблый Борей?

Не рыдай Мене, Мати! Ужель Воскресенье
Не осилит ледового бремени зла?
Кто там пляшет? — Бедовое наше веселье.
Ужли музыка смертную душу спасла?

Тепловидная радость в оттаянной муке
Наших черствых, дремучих, легчающих лиц.
Сколько веры народной и в страстной разлуке,
И в тоске покаянной, в душе без границ!

Всё приемлем. И эту шумящую вьюгу,
И неверье Фомы, и рыданье Петра,
Глубину Иоанна, и к нашему югу
Обращенные орды земного нутра.

Первозванный Андрей, просветитель сарматов!
Ты, принесший нам весть о воскресшем Христе!
Не забыть нам нетленных твоих ароматов,
Источенную кровь на гвоздимом кресте.

Наше сердце воистину сжалось навеки,
Умягченное кротостью агнчей твоей.
И поныне поют Киммерийские реки:
«Нас крестил Первозванный апостол Андрей».

И в чухонской дали отзываются токи
Новгородской Невы, разнозвучно сляясь:
«Не возможет над нами ледовый, жестокий
Древний тролль, в пустоте завывающий князь!»

Слух дошел и досюда: Андрей Первозванный
Возвестил нашим пращурам кроткую весть.
Что же вьюга!.. Ты слышишь Петрополя звоны?
Не рыдай Мене, Мати! Я всё еще есть.

И смыкается мгла над гробницей Петровой.
Город спит. Но воскресло бессмертное Слово,
Будто, вьюгой спеленуто, сбросило вмиг.
Пелены, и ликует растепленный Лик.

Виктор Пелевин

ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ

РОМАН

*Я сижу в своем саду. Горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных
лишь согласное гуденье насекомых.*

Иосиф Бродский

1. РУССКИЙ ЛЕС

Главный корпус пансионата, наполовину скрытый старыми тополями и кипарисами, был мрачным серым зданием, как бы повернувшимся к морю задом по команде безумного Иванушки. Его фасад с потрескавшимися звездами и снопами, навек согнутыми порывом гипсового ветра, был обращен к узкому двору, где смешивались запахи кухни, прачечной и парикмахерской, а на набережную выходила монолитная стена с двумя или тремя окнами. Высокие торжественные двери, скрытые в тени опирающегося на колонны циклопического балкона (скорее даже террасы) были заперты так давно, что щель между ними исчезла под несколькими слоями спекшейся краски, и двор обычно пустовал — только иногда в него осторожно протискивался грузовик, привозивший из Феодосии молоко и хлеб.

Но в этот день во дворе не было даже грузовика, поэтому опершийся локтями на лепное ограждение балкона гражданин в кепке не был виден никому, кроме, может быть, пары патрульных чаек, белыми точками висевших в небе. Гражданин глядел вниз и вправо, на маленький домик лодочной станции, под крышей которого помещалась воронка репродуктора. Шумело море, но когда ветер начинал дуть в сторону пансионата, можно было разобрать обрывки обращенных к пустому пляжу радиопредложений:

—...вовсе не одинаковы, не скроены по одному и тому же шаблону... создал нас разными — не часть ли это великого замысла, рассчитанного, в отличие от скоротечных планов человека, на многие... чего ждет от нас Господь, глядящий на нас с надеждой, что мы сумеем воспользоваться его даром? ...и сам не знает, как проявят себя души, посланные им на... слушали передачу из цикла, подготовленного по заказу американской благотворительной организации «Вавилонские реки»... по воскресеньям... по адресу: «Голос Божий», Bliss, Айдахо, США.

Репродуктор смолк, несколько минут шипел вхолостую, а потом мечтательно заговорил по-украински. Тут гражданин услышал за спиной шаги и обернулся. По балкону к нему шли двое. Первым шагал низенький толстяк в белых шортах и пестрой майке. Следом шел иностранец в панаме, легкой рубашке и светлых бежевых штанах, с кейсом обтекаемых форм в руке. То, что это иностранец, было ясно не столько по одежде, сколько по хрупким очкам в тонкой черной оправе и по нежному загару того особого набоковского оттенка, которым кожа покрывается исключительно на других берегах.

Гражданин в кепке показал пальцем на свои часы и погрозил толстяку кулаком, на что тот ответил криком:

— Спешат! Врут все!

Сойдись, они обнялись.

— Привет, Арнольд.

— Здравствуй, Артур. Знакомьтесь, — толстяк повернулся к иностранцу, — это Артур, о котором я вам рассказывал. А это Сэмюэль Саккер. Говорит по-русски.

— Просто Сэм, — сказал иностранец, протягивая руку.

— Очень приятно, — сказал Артур. — Вы к нам надолго?

— Дня, думаю, на три-четыре, — ответил Сэм.

— И вы успеете за это время провести маркетинг?

— Я бы не стал употреблять слово «маркетинг». Просто хочу набраться впечатлений. Составить, так сказать, общее мнение, насколько целесообразно развивать здесь наш бизнес.

— Отлично, — сказал Артур. — Я уже наметил несколько образцов, которые в достаточной степени репрезентативны, и, думаю, завтра с утра речка...

— О нет, — сказал Сэм. — Никаких потемкинских деревень. Я предпочитаю двигаться наугад. Как ни странно, при этом получаешь самое верное представление о ситуации. И не завтра с утра, а прямо сейчас.

— Как? — ахнул Артур. — А отдохнуть? Выпить с дорожки?

— Действительно, — сказал Арнольд, — лучше бы завтра. И по нашим адресам. А то у вас сложится искаженное представление.

— Если у меня сложится искаженное представление, у вас будет достаточно времени, чтобы его исправить, — ответил Сэм.

Уверенным спортивным движением он влез на ограждение балкона и сел, свесив в пустоту ноги. Двое остальных, вместо того, чтобы удержать его, влезли на ограждение сами. Артур проделал эту операцию без труда, а Арнольду она удалась только со второй попытки, и сел он не так, как первые двое, а спиной ко двору, словно чтобы голова не кружилась от высоты.

— Вперед, — сказал Сэм и прыгнул вниз.

Артур молча прыгнул за ним. Арнольд вздохнул и спиной вперед повалился следом, как аквалангист, опрокидывающийся в море с борта лодки.

Окажись у этой сцены свидетель, он, надо полагать, перегнулся бы через перила, ожидая увидеть внизу три изувеченных тела. Но он не увидел бы там ничего, кроме нескольких небольших луж, расплющенной пачки от сигарет «Приморские» и трещин на асфальте.

Зато если бы он обладал нечеловечески острым зрением, он смог бы разглядеть вдалеке трех комаров, улетающих в сторону скрытого за деревьями поселка.

Что почувствовал бы этот воображаемый наблюдатель и что бы он сделал? Растерянно полез бы вниз по ржавой пожарной лестнице, единственному пути, ведущему прочь с давно и наглухо заколоченной террасы? Или, ощутив в своей душе новое неведомое чувство, перелез бы через серое каменное ограждение и прыгнул следом за исчезнувшей тройкой собеседников? Не знаю. Да и вряд ли кто-нибудь знает, как поступил бы тот, кто на самом деле не существует, но зато обладает нечеловечески острым зрением.

Отлетев на несколько метров от стены, Сэм оглянулся на компаньонов. Артур с Арнольдом превратились в небольших комаров характерного цвета «мне избы серые твои», когда-то доводившего до слез Александра Блока; теперь они с мутной завистью глядели на своего спутника, покачиваясь в потоке воздуха, восходящем от нагретой за день земли.

Только неудобное устройство ротовых органов удержало Сэма Саккера от самодовольной гримасы. Его вид был совсем иным: он был шоколадно-коричневой раскраски, с изящными длинными лапами, поджарым брюшком и реактивно скошенными назад крыльями; если изменившиеся лица Артура и Арнольда заканчивались толстыми штырями, похожими не то на иглу титанического шприца, не то на измеритель скорости на носу реактивного истребителя, то губы Сэма элегантно вытягивались в шесть тон-

них упругих отростков, между которыми торчал длинный острый хоботок — словом, понятно, как выглядел москит-кантатор рядом с двумя простыми русскими насекомыми. К тому же Артур с Арнольдом летели каким-то бабьим брассом, а движения крыльев Сэма скорее напоминали бабтерфляй, поэтому двигался он намного быстрее, и ему приходилось зависать в воздухе, чтобы подождать спутников.

Куда летел Сэм, было непонятно — он выбирал дорогу по только ему известным приметам, несколько раз поворачивал и менял высоту, а потом зачем-то влетел в чердачное окно, промчался по длинному пустому чердаку и вылетел с другой стороны; наконец навстречу поплыла белая стена с окном в синей раме, и все вокруг накрыла густая тень росших вокруг дома груш. Снизившись, Сэм подлетел к невысокому окну, затянутому белой марлевой сеткой, и приземлился на кривой карниз. Артур с Арнольдом сели рядом. Как только стихло тонкое жужжание крыльев, перекрывавшее почти все остальные звуки, стал слышен доносящийся из-за марли храп.

Артур с Сэмом без труда протиснулись в узкую щель между рамой и марлевым полотном, а у Арнольда возникли проблемы с брюхом, он долго сопел и отдувался и пролез только тогда, когда спутники втянули его внутрь за лапки.

В комнате было темно; пахло одеколоном, плесенью и потом. В углу стояла тумбочка, на которой блестел ровный ряд граненых флаконов. На расположенной рядом кровати в спазмах беспокойного сна содрогалось голое по пояс тело, синие трикотажные ноги которого свисали к полу.

— Что это у него за татуировка? — тихо спросил Сэм, когда его глаза привыкли к полумраку. — Ну, Ленин и Сталин — это понятно, а почему снизу написано «Лорд»? Это что, местный аристократ?

— Нет, — ответил Артур. — Это аббревиатура. «Лягавым отомстят родные дети».

— Он ненавидит собак?

— Понимаете, — снисходительно ответил Арнольд, — это сложный культурный пласт. Если я сейчас начну давать объяснения, мы буквально утонем. Давайте лучше брать пробу, пока материал спит.

— Да-да, — сказал Сэм, — вы совершенно правы.

Он взмыл в воздух и, после грациозного иммельмана над лежащим, приземлился на участок тонкой и нежной кожи возле уха.

Артур пару минут следил за происходящим с подоконника, а потом тоже взлетел и, стараясь жужжать по возможности тише, присоединился к Сэму. Тот пока еще не сверлил лунки и задумчиво сидел на буграх кожи, из ямок между которыми торчали волосы, похожие на молодые березки. Вдали, в густых рыжих зарослях, виднелись розоватые холмы сосков.

— Знаете, — сказал он, когда Артур приземлился рядом, — я много путешествовую, и что меня всегда поражает, это уникальная неповторимость каждого пейзажа. Я недавно был в Мексике, — конечно, не сравнить. Такая богатая, знаете, щедрая природа, даже слишком щедрая. Бывает, чтобы напиться, долго бредешь сквозь грудной чапараль, пока не находишь подходящего места. Ни на миг нельзя терять бдительности — с вершины волоса на тебя может прыгнуть дикая вша, и тогда...

— А что, вша может напасть? — недоверчиво спросил Артур.

— Видите ли, мексиканские вши очень ленивые, и им, конечно, легче прогрызть тонкое комариное брюшко, чем добывать пищу честным трудом. Но они очень неповоротливы, и если вша нападает, обычно все же успеваешь взлететь. А в воздухе может настичь блоха. Словом, это суровый мир, жестокий, но в то же время прекрасный. Я, правда, больше люблю Японию. Знаете, эти долгие желтые пространства, почти лишенные растительности, но все же не похожие на пустыню. Когда смотришь на них с высоты, кажется, что попал в глубокую древность. Но все это, конечно, надо видеть самому. Ничего нет красивее японских ягодиц, когда их чуть золотит первый рассветный луч и обдувает тихий ветер. В такие минуты понимаешь, что хотела сказать Йоко Оно... Боже, как прелестна бывает жизнь!

— А вы и в Японии бывали? — спросил Артур.

— Приходилось.

Артур не нашелся, о чем еще спросить, и Сэм, вежливо улыбнувшись,

приступил к работе. Выглядело это непривычно. Он отогнул губные отростки, его острый хоботок с невероятной скоростью завертелся и, словно нож в колбасу, погрузился в почву у основания ближайшей березки.

Артур тоже собирался напиться, но, представив себе, как его грубый и толстый нос будет с хрустом входить в неподатливую кожу, застеснялся и решил подождать. Сэм ухитрился попасть в капилляр с первой попытки, и теперь его брюшко из коричневого постепенно делалось красноватым. Артур деликатно отвернулся.

Поверхность под ногами дрогнула, и донесся мычащий выдох — Артур был уверен, что тело издало его по своим внутренним причинам, без всякой связи с происходящим, но все же ему стало чуть не по себе.

— Сэм, — сказал он, — сворачивайтесь.

Сэм не обратил на его слова никакого внимания. Артур поглядел на него и вздрогнул. Рыльце Сэма, минуто назад бывшее осмысленным и интеллигентным, странно исказилось, а выпуклые волосатые глаза, обведенные похотей на очки тонкой черной линией, перестали выражать вообще что-нибудь, словно из зеркала души превратились в две потушенные фары.

— Арнольд! Сюда! — испуганно крикнул Артур.

— Что ты жужжишь на всю комнату? — подлетев, спросил Арнольд.

— Что-то с Сэмом. Его, по-моему, парализовало.

— Давай его под крылья. Ага, вот так. Сэм, лететь можете?

Сэм слабо кивнул. Кожа, на которой они стояли, затряслась и стала крениться вправо.

— Быстро вверх! Он встает! Сэм, машите крыльями, потом поздно будет! — кричал Артур, поддерживая погруженное туловище Сэма и еле спешая уворачиваться от его крыльев, бессмысленно бьющихся взад-перед.

Наконец кое-как удалось сесть на тумбочку. Тело поднялось с кроватки, нависло над комарами, и в страшной тишине из-под потолка на них черной тенью понеслась огромная ладонь. Когда Артур с Арнольдом уже собирались швырнуть Сэма навстречу его судьбе и взмыть в разные стороны, ладонь изменила направление, схватила один из стоящих на тумбочке флаконов и исчезла вверх; раздался далекий рев пружин, и тело опять закачалось на койке.

— Артур, — тихо спросил Арнольд, — ты не знаешь, что в этих флаконах?

— А это лес, — вдруг сказал Сэм. — Русский наш лес.

— Какой лес?

— Кипр шипр, — непонятно отозвался Сэм.

— Сэм, вы в порядке? — спросил Арнольд.

— Я? — зловеще усмехнулся Сэм. — Я-то в порядке. А вот с вами порядок мы еще наведем...

— Надо его на воздух быстрее, — озабоченно сказал Артур.

Арнольд кивнул и попытался поднять Сэма, но тот вдруг хлестнул его крылом по морде, взмыл в воздух, понесся к окну и с невероятной ловкостью пролез через узкую щель между рамой и марлевым экраном, за которым уже синели ступившиеся южные сумерки.

Утро следующего дня было тихим. Сползающий с гор туман затекал в обсаженные кипарисами аллеи, и сверху казалось, что под его поверхностью, рассеянной параллельными зелеными дамбами, нет никакого дна, а если и есть, то очень далеко. Прохожие, изредка попадавшие вниз, казались чем-то вроде рыб, медленно плывущих на небольшой глубине; их очертания были неясными, и Артур с Арнольдом уже два раза снижались впустую, приняв за Сэма Саккера сначала статую волейболиста, а потом маленький стог сена, накрытый куском полиэтилена. Наконец Арнольд увидел крупный округлый предмет, издав далеко похожий на большой навозный шар. Предмет вывалился из кустов, покачиваясь, докатился до скамейки и плюхнулся на нее, вытянув вперед странно тонкие ноги.

Через минуту Артур с Арнольдом вышли из-за пустого газетного ларька, оглядели три или четыре метра видимого пространства и сели на лавку по бокам от толстяка. Несомненно, это был Сэм, но от того Сэма, который вчера вечером стоял на балконе пансионата, он отличался очень сильно. Дело было не в увеличившемся в несколько раз животе — эта

обычная для комаров трансформация не заслуживала внимания, — а в лице, которое, оставаясь по чертам тем же самым, казалось теперь набитым чем-то изнутри, но не так, как, например, фаршированный яблоками гусь. а, скорее, как фаршированное гусем яблоко.

— Еле вас нашли, Сэм, — заговорил Арнольд.

— А чего меня искать, — сказал Сэм, — вот он я. Сами, значит, подружили.

Говорил он новым, незнакомым голосом, глухим и сильным.

— Где вы ночевали? — спросил Артур. — Неужели на лавке?

Сэм неожиданно повернулся к Артуру и сгреб его за ладьяны.

— Что вы, Сэм... — отдирая его руки, зашипел Артур, — пустите! Пустите! На нас люди смотрят!

Это было неправдой — на него и Сэма смотрел только растерянный Арнольд.

— Признайся, блядь, — сурово сказал Сэм, — ведь сосешь русскую кровь?

— Сосу, — тихонько ответил Артур.

Сэм высвободил одну руку и чугунными пальцами схватил за шею Арнольда.

— И ты сосешь?

— И я, — потрясенно сознался Арнольд.

Рука давила на плечи Арнольда с такой силой, что он осел под ней, как штангист, попытавшийся взять слишком большой вес, и даже вспомнил про каменную десницу из трагедии Пушкина, которую читал еще личинкой. Сэм погрузился в молчание, как бы обдумывая, что еще сказать.

— Вставай, страна огромная, — пробормотал он и с напряжением приподнялся, чуть не размазав Арнольда по скамейке. Запрокинув лицо вверх, он несколько раз коротко глотнул воздух, потом нагнул голову, и вместо того чтобы чихнуть, как можно было предположить по увертюре окатил асфальт перед собой струей темно-вишневой рвоты. Широкий темный ручей, обдав Артура с Арнольдом запахом одеколона и крови (так могли бы пахнуть, наверное, картонные орхидеи былых демонстраций), заструился по асфальтовому уклону. Арнольд почувствовал, что кисть, только что крюком тягача тащившая его за собой, теперь сама цепляется за его шею в поисках опоры.

— Вроде все, — сказал он Артуру, перехватывая руку Сэма. — Проведем его по набережной, пусть отдышится.

Аллея кончилась, и все трое повернули на набережную. Сэм уже шел сам, слегка пошатываясь и поправляя на носу очки, на одном из стекол которых успела появиться трещина.

— Господа, — сказал он, — прошу меня извинить. Я в ужасе от своего поведения.

— Ерунда какая, — весело сказал Арнольд. — Подумаешь. Мы уж и забыли все. Просто бракованный экземпляр. Вы не думайте, что у нас тут все «Русский лес» пьют.

— Я извиняюсь, — сказал Сэм, — а где мой портфель?

Арнольд огляделся по сторонам. Пластмассового чемоданчика нигде не было видно.

— Вот незадача. А что у вас там? Что-нибудь ценное?

— Ничего особенного. Материалы для консервации. Видеокамера. Но как теперь пробы брать?

— Ясно, — сказал Арнольд. — Вы его там и забыли. Сейчас вернемся... Ну хорошо, хорошо, Сэм. Понимаю. Я лично слетаю и все выясню. Артур с Арнольдом бережно усадили худенькое дрожащее тело на лавку и устроились по бокам.

— Успокойтесь, Сэм, — по-матерински зашептал Арнольд. — Видите, как вокруг хорошо и тихо. Вон чайки летают, девушки ходят. Вон кораблик плывет. Красота какая, а?

Сэм поднял глаза. Сквозь туман над бетонными плитами набережной уже брели первые утренние отдыхающие. Со стороны столовой долетели два голоса: детский, что-то неразборчиво спросивший, и авторитетный басок, так же неразборчиво что-то ответивший.

Из тумана появился невысокий мужчина в спортивном костюме, вслед за которым шел мальчик с наполненной чем-то тяжелым пляжной сумкой

в руке. Он догнал мужчину и пошел рядом с ним, косясь на Сэма и его спутников. На ногах у мальчика были синие вьетнамки, и он шаркал левой ногой, потому что одна из резиновых тесемок была порвана.

2. ИНИЦИАЦИЯ

— Папа, видел, какие странные дяди, — сказал мальчик, когда лавка осталась позади.

Отец сплюнул на дорогу.

— Пьянь, — сказал он. — Будешь себя так вести, тоже вроде них вырастешь.

Откуда-то в его руках возник кусок слежавшегося навоза. Он кинул его сыну, и мальчик еле успел подставить руки. Из отцовских слов было не очень ясно, как надо или не надо себя вести, чтобы вырасти таким, как эти дяди, но как только в ладони шлепнулся теплый навоз, все стало понятно очень хорошо, и мальчик молча опустил папин подарок в сумку.

Впереди появился небольшой мост. За ним туман оказался еще гуще — ясно был виден только бетон под ногами и еще по бокам просвечивали размытые зеленые полосы, похожие не то на огромные стебли травы, не то на деревья. Вместо неба над головой был низкий белый свод тумана, а слева иногда появлялись пустые бетонные кадки с ребристыми стенками — они расширились кверху и из-за этого напоминали перевернутые пивные пробки.

— Папа, — спросил мальчик, — а из чего состоит туман?

Отец задумался.

— Туман, — сказал он, протягивая сыну несколько крошечных кусочков навоза, — это мельчайшие капельки воды, висящие в воздухе.

Мальчик опять не успел заметить, откуда папа взял навоз, и поглядел по сторонам, словно пытаясь разглядеть эти маленькие капельки.

— Мы не заблудимся? — озабоченно спросил он. — Ведь вроде уже должен быть пляж.

Отец не ответил. Он молча шел дальше в туман, и ничего не оставалось делать, кроме как следовать за ним. Мальчику померещилось, что они с отцом ползут у подножия главной елки мира сквозь огромные клочья изображающей снег ваты, ползут неясно куда, и отец только делает вид, что знает дорогу.

— Папа, и куда это мы только идем, идем...

— Чего?

— Так, — сказал мальчик. — Мне сейчас вдруг показалось, что мы с тобой давно заблудились. Что мы только думаем, что идем на пляж, а никакого пляжа на самом деле нет. И даже страшно стало.

Отец рассмеялся и потрепал мальчика по голове. Потом в его руках откуда-то появился такой здоровый кусок навоза, что его хватило бы на голову крупной снежной бабы.

— Знаешь, как в народе говорят, — сказал он, передавая его сыну, — жизнь прожить — не поле перейти.

Мальчик уклончиво кивнул, с трудом втиснул папин подарок в свою сумку и перехватил ее руками, потому что тонкий полиэтилен ручек уже начал растягиваться.

— А бояться не надо, — сказал отец, — этого не надо... Ты ведь мужчина, солдат. На вот.

Перехватив новый кусок навоза, мальчик попытался удержать его в руках, но сразу же выронил, а следом на бетон шлепнулась сумка, в которой что-то разбилось. Мальчик сел на корточки у сумки, из которой при падении вывалилась большая часть навоза, потрогал ее рукой, испуганно поднял глаза на отца, но вместо ожидаемой хмурой гримасы обнаружил на его лице торжественное и даже немного официальное умиление.

— Вот ты и стал взрослым, — помолчав, сказал отец и вручил сыну новую пригоршню навоза. — Считай, сегодня твой второй день рождения.

— Почему?

— Теперь ты уже не сможешь нести весь свой навоз в руках. У тебя теперь будет свой Йа, как у меня и мамы.

— Свой Йа? — спросил мальчик. — А что такое Йа?

— Посмотри сам.

Мальчик внимательно поглядел на отца и вдруг увидел рядом с ним большой полупрозрачный серо-коричневый шар.

— Что это? — испуганно спросил он.

— Это мой Йа, — сказал отец, — И теперь такой же будет у тебя.

— А почему я его раньше не видел?

— Ты был еще маленьким. А сейчас ты вырос достаточно и уже можешь увидеть священный шар сам.

— А почему он такой зыбкий? Из чего он?

— Зыбким, — сказал отец, — он тебе кажется потому, что ты только что его увидел. Когда ты привыкнешь, ты поймешь, что это самая реальная вещь на свете. А состоит он из чистого навоза.

— А-а, так вот где ты все время навоз брал, папа, — протянул мальчик. — А то ты его мне все даешь, даешь, а откуда — непонятно. У тебя его вон сколько, оказывается. А какое ты слово сказала?

— Йа. Это священный египетский слог, которым навозники уже много тысячелетий называют свой шар, — торжественно ответил отец. — Пока твой Йа еще маленький, но постепенно он будет становиться все больше и больше. Часть навоза дадим тебе мы с мамой, а потом ты научишься находить его сам.

Мальчик так и сидел на корточках, недоверчиво глядя на отца. Отец улыбнулся и чмокнул губами.

— А где я буду находить навоз? — спросил мальчик.

— Вокруг, — сказал отец и указал рукой в туман.

— Но там же никакого навоза нет, папа.

— Наоборот, там один навоз.

— Я не понимаю, — сказал мальчик.

— Держи. Сейчас поймешь. Чтобы все вокруг стало навозом, надо иметь Йа. Тогда весь мир окажется в твоих руках. И ты будешь толкать его вперед.

— Как это можно толкать вперед весь мир?

Отец положил руки на шар и чуть толкнул его вперед.

— Это и есть весь мир, — сказал он.

— Чего-то я не понимаю, — сказал мальчик, — как это навозный шар может быть всем миром. Или как это весь мир может быть навозным шаром.

— Не все сразу, — сказал отец, — подожди, пока твой Йа станет побольше, тогда поймешь.

— Шарик же маленький.

— Это только так кажется, — сказал отец. — Посмотри, сколько навоза у тебе дал. А мой Йа от этого совсем не уменьшился.

— Но если это весь мир, то что же тогда все остальное?

— Какое остальное?

— Ну, остальное.

Отец терпеливо улыбнулся.

— Я знаю, что это сложно понять, — сказал он. — Но кроме навоза ничего просто нет. Все, что я вижу вокруг, — отец широким жестом указал в туман, — это на самом деле Йа. И цель жизни — толкать его вперед. Понимаешь? Когда смотришь по сторонам, просто видишь Йа изнутри.

Мальчик наморщился и некоторое время думал. Потом он начал сгребать рассыпанный перед ним навоз ладонями и с удивительной легкостью за несколько минут слепил из него шар, не особо круглый, но все же несомненный. Шар был высотой точь-в-точь с мальчика, и это показалось ему странным.

— Папа, — сказал он, — ведь только что навоза у меня была одна сумка. А здесь его полгрузовика. Откуда он взялся?

— Здесь весь навоз, который мы с мамой дали тебе с рождения, — сказал отец. — Ты его все время нес с собой, просто не видел.

Мальчик оглядел стоящий перед ним шар.

— Значит, теперь надо толкать его вперед?

Отец кивнул головой.

— А все вокруг и есть этот шар?

Отец опять кивнул.

— Но как же я могу одновременно видеть этот шар изнутри и толкать его вперед?

— Сам не знаю, — развел отец руками. — Вот когда вырастешь, станешь философом и всем нам объяснишь.

— Хорошо, — сказал мальчик, — если ничего кроме навоза нет, то кто же тогда я? Я-то ведь не из навоза.

— Попробую объяснить, — сказал отец, погружая руки в шар и передавая сыну еще горсть. — Правильно, вот так, вот так, ладошками... Теперь погляди внимательно на свой шар. Это ты и есть.

— Как это так? Я ведь вот, — сказал мальчик и показал на себя большим пальцем.

— Ты неправильно думаешь, — сказал отец. — Ты логически рассуждай. Если ты говоришь про что-то «Яа», то, значит, это ты и есть. Твой Яа и есть ты.

— Мое ты и есть Яа? — переспросил мальчик. — Или твое ты?

— Нет, — сказал отец, — твой Яа и есть ты. Сядь на лавку, успокойся, и сам все увидишь.

То, что отец назвал лавкой, было длинным и толстым бревном квадратного сечения, лежащим на границе видимости. Один его торец сильно обгорел — видно, перекинулся огонь из подожженной урны, — и теперь лавка напоминала во много раз увеличенную спичку. Мальчик подкатил свой Яа к лавке, уселся, недоверчиво поглядел на отца и уставился в неровную поверхность своего свежеслепленного шара. Под его взглядом она постепенно разгладилась и даже заблестела. Потом она начала делаться прозрачной, и внутри шара стало заметно движение. Мальчик вздрогнул.

Из глубины шара на него глядела шипастая черная голова с крошечными глазками и мощными челюстями. Шей у головы не было — она переходила в твердый черный панцирь, по бокам которого шевелились зазубренные черные лапки.

— Что это такое? — спросил мальчик.

— Это отражение.

— Чего?

— Ну как же так? Ведь только что все понял, а? Давай опять логически. Спроси себя сам — если я вижу перед собой отражение и знаю, что передо мной Яа, что я вижу?

— Себя, наверно, — сказал мальчик.

— Вот, — сказал отец, — понял наконец.

Мальчик задумался.

— Но ведь отражение всегда бывает в чем-то, — сказал он, поднимая взгляд на рогатую и черную папину морду, поблескивающую бусинками глаз.

— Правильно, — сказал отец, — ну и что?

— В чем оно?

— Как в чем? Ну ты даешь. Все же у тебя перед глазами. Конечно, в самом себе, в чем же еще?

Мальчик долго молчал, вглядываясь в лежащий перед ним навозный шар, а потом закрыл лапками морду.

— Да, — наконец сказал он изменившимся голосом. — Конечно. Понял. Это же Яа. Конечно, это же Яа и есть.

— Молодец, — сказал отец, слезая со спички и чуть привставая на четырех задних лапках, чтобы передними ухватиться за свой шар. — Идем дальше.

Туман вокруг достиг такой плотности, что скорее походил на клубы пара в бане, и о движении можно было судить только по медленно уплывающим назад насечкам на бетоне. Через каждые три метра из белого небытия появлялись забитые грязью щели между плитами — в некоторых из них росла трава. На краях плит были неглубокие выемки с ржавыми железными петлями, предназначенными для крюка подъемного крана. Больше об окружающем мире ничего сказать было нельзя.

— А Яа есть только у навозников? — спросил мальчик.

— Почему. Яа есть у всех насекомых. Собственно говоря, насекомые и есть их Яа. Но только скарабей в состоянии его видеть. И еще скарабей

знают, что весь мир — это тоже часть их Ыа, поэтому-то они и говорят, что толкают весь мир перед собой.

— Так что, выходит, все вокруг тоже навозники?

— Конечно. Но те навозники, которые про это знают, называются скарабейми. Скарабеи — это те, кто несет древнее знание о сущности жизни, — сказал отец и похлопал лапкой по шару.

— А я теперь тоже скарабей, папа?

— Еще не совсем, — сказал отец. — Подожди, пока над тобой совершится главное таинство.

Он с выдохом толкнул свой шар дальше и побежал за ним.

Глядя на отца, мальчик старательно копировал все его движения. Отцовские руки при каждом толчке глубоко погружались в навоз, и было непонятно, как это он успевает их вытаскивать.

Мальчик попытался так же глубоко погрузить руки в шар, и с третьей попытки это удалось — для этого просто надо было сложить пальцы щепоткой. Поворачиваясь, шар утаскивал за собой руки, и выскочить они успевали только тогда, когда казалось, что ноги вот-вот оторвутся от земли. «А что, если еще глубже?» — подумал мальчик и изо всех сил воткнул руки в навоз. Шар повернулся вперед, ноги мальчика оторвались от земли, и сердце екнуло, словно он первый раз в жизни делал «солнышко» на качелях. Он взлетел вверх, замер на миг в полуденной точке и понесся вниз вместе с накатывающейся на бетон навозной полусферой. Падая, он понял, что шар сейчас проедет по нему, но даже не успел испугаться. Наступила тьма, а когда он пришел в себя, его уже поднимала вверх та самая сила, которая только что проволокла его по бетону.

— Доброе утро, — послышался папин голос. — Как спалось?

— Что же это такое, папа? — спросил мальчик, пытаясь перебороть головокружение.

— Это жизнь, сынок, — ответил отец.

Поглядев в его сторону, мальчик увидел серо-коричневый шар, катящийся вперед сквозь белую мглу. Папы нигде не было — но, приглядевшись, мальчик заметил на поверхности навоза размазанный нечеткий силуэт, который поворачивался вместе с шаром. В этом силуэте можно было выделить туловище, руки, ноги и лицо, а на лице мальчика заметил два глаза, которые медленно поднимались от бетона вместе с поверхностью шара. Эти глаза печально смотрели на него.

— Молчи, сынок, молчи. Ыа знаю, что ты спросишь. Да. Со всеми происходит именно это. Мы, скарабеи, просто единственные, кто это видит.

— Папа, — спросил маленький шар, — а почему же Ыа раньше думал, что ты идешь за своим шаром и толкаешь его вперед?

— А это потому, сынок, что ты был еще маленький.

— И всю жизнь вот так, мордой о бетон...

— Но все-таки жизнь прекрасна, — с легкой угрозой сказал отец. — Спокойной ночи.

Мальчик глянул вперед и увидел наезжающую на глаза бетонную плиту.

— Доброе утро, — сказал большой шар, когда тьма рассеялась, — как настроение?

— Никак, — ответил маленький.

— А ты старайся, чтобы оно у тебя было хорошее. Ты молодой, здоровый — о чем тебе грустить? То ли дело...

Большой шар испуганно замер. Впереди раздался громopodobный удар, такой сильный, что даже бетон внизу мелко задрожал.

— А ну быстро катись назад, — сказал он сыну и, когда тот исчез из виду, напряженно уставился в туман. Следующий удар раздался ближе, и навозный шар увидел огромную красную туфлю с острым каблуком, врезающуюся в бетон в нескольких метрах впереди.

— Папа! Что это? — долетел далекий голос сына.

— Сынок! — отчаянно прокричал отец.

— Папа!

Мальчик закричал от страха и поднял глаза. Над его головой мелькнула тень, и на миг ему показалось, что он видит красную туфлю с темным пятном на подошве, уносящуюся в небо, и еще показалось, что в невероятной высоте, куда взмыла туфля, возник на мгновение силуэт огромной рас-

правившей крылья птицы. Мальчик с трудом отлепил руки от стоявшего перед ним навозного шара и кинулся к месту, откуда последний раз долетел отцовский голос. Через несколько шагов он наткнулся на большое темное пятно на асфальте, поскольку упал.

— Папа, — тихо сказал он.

Видеть то, что осталось от папы, было слишком тяжело, и он, постепенно осознавая, что произошло, побрел назад к своему шару. Перед его глазами встала добрая папина морда со страшными только на вид хитиновыми рогами и полными любви бусинками глаз, и он заплакал. Потом он вспомнил, как папа, протягивая ему кусок навоза, говорил, что слезами горю не поможешь, и перестал плакать.

«Папина душа полетела на небо, — подумал он, вспомнив быстро уносящаяся вверх пятно на огромной подошве, — и я уже ничем ему не смогу помочь».

Он поднял глаза на свой шар, удивился, каким тот за последнее время стал большим, потом посмотрел на свои руки и со вздохом положил их на податливую теплую поверхность навоза. Поглядев последний раз туда, где оборвалась папина жизнь (ничего, кроме тумана, видно уже не было), он толкнул Йа вперед.

Шар был таким массивным, что требовал всего внимания и всей силы, и мальчик полностью погрузился в свой нелегкий труд. В его голове мелькали смутные мысли — сначала о судьбе, потом о папе, потом о себе самом — и скоро он приоровился, и уже не надо было толкать шар вперед, а достаточно было просто бежать вслед за ним на тонких черных лапках, чуть приподняв морду, чтобы длинный хитиновый вырост на нижней челюсти не цеплял за бетон. А еще через несколько шагов лапки достаточно глубоко увязли в навозе, шар поднял мальчика вверх, обрушил вниз, и жизнь вошла в свое русло, по которому шар и покатился вперед.

Бетонная плита наезжала на глаза и наступала тьма, а когда появлялся свет, оставалась только слабая память о том, что минуту назад снилось что-то очень хорошее.

«Йа вырасту большой, женюсь, у меня будут дети, и йа научу их всему, чему меня научил папа. И йа буду с ними таким же добрым, каким он был со мной, а когда йа стану старым, они будут обо мне заботиться, и все мы проживем долгую счастливую жизнь», — думал он, просыпаясь и поднимаясь по плавной окружности навстречу новому дню движения сквозь холодный туман по направлению к пляжу.

3. ЖИТЬ ЧТОБЫ ЖИТЬ

Вверху было только небо и облако в его центре, похожее на чуть улыбающееся плоское лицо с закрытыми глазами. А внизу долгое время не было ничего, кроме тумана, и когда он наконец рассеялся, Марина так устала, что еле держалась в воздухе. Расправив полупрозрачные крылья, она сделала в воздухе прощальный круг, взглянула напоследок в бесконечную синеву над головой и стала выбирать место для посадки.

Выбирать оказалось особенно не из чего — достаточно пустого пространства было только на набережной, и она понеслась над бетонными плитами, еще в воздухе начав перебирать ногами. Посадка чуть не кончилась катастрофой, потому что между плит попадались металлические решетки для стока воды, и Марина чудом не угодила в одну из них тонкими каблучками своих красных туфель. Коснувшись ногами земли, она быстро побежала вперед и метров через тридцать погасила инерцию.

Над головой раздалось шуршание крыльев. Марина подняла голову и увидела еще двух снижающихся муравьиных самок, повторяющих маневры, которые несколько минут назад проделала она. С их плеч свисали точно такие же сумки, как у Марины, и одеты они были так же — в джинсовые юбки, кооперативные блузки и красные туфельки на острых каблучках. Та, что летела впереди и ниже, пронеслась над ограждением набережной и, набирая высоту, полетела над морем. Вторая пошла было на посадку, потом, видно, передумала и быстро замахала крыльями, пытаясь опять подняться, но было уже поздно, и она на всей скорости врезалась в витрину коммерческой палатки. Раздался грохот стекол и крики; Марина сразу же отвела

глаза, успев только заметить, как к месту происшествия кинулось несколько прохожих.

Рядом по набережной, задрав крылья вверх и балансируя сумкой, пробежала еще одна только что приземлившаяся самка. Марина поправила на плече сумочку, развернулась и неспешно пошла вдоль длинного ряда скамеек.

На душе у нее было тихо и покойно, и если бы еще не жали туфельки, было бы совсем хорошо. Навстречу попадались загорелые мужчины в плавках — они оценивающе обводили стройную Маринину фигуру глазами, и от каждого такого взгляда делалось тепло и начинало сладко сосать под ложечкой. Марина дошла до моста над ручьем, полюбовалась белой полосой пены на границе моря и суши, послушала шуршание перекатывающейся под волнами гальки и повернула назад.

Через несколько шагов она ощутила неясное томление — пора было что-то сделать. Марина никак не могла взять в толк, что именно, пока не обратила внимания на тихий шорох за спиной. Тогда она сразу все поняла — или, скорее, вспомнила.

Крылья, которые до сих пор волочились за ней по пыли, были не нужны. Она подошла к краю тротуара, огляделась по сторонам и нырнула в кусты. Там она присела, сунула руку за плечо, поймала ладонью основание крыла и изо всех сил дернула. Ничего не произошло — крыло держалось слишком прочно. Марина дернула второе, и тоже безрезультатно. Тогда она наморщила лоб и задумалась.

— А, ну да, — пробормотала она и открыла сумочку. Первым, что попало ей под руку, был небольшой напильник.

Пилить крылья было не больно, но все же неприятно; особенно раздражал скребущий звук, от которого в лопатках возникало подобие зубной боли. Наконец крылья упали в траву, и теперь о них напоминали только выступы возле лопаток и две дыры в кофточке. Марина сунула напильник в сумку, в ее душу вернулся радостный покой, и она вынырнула из кустов на залитую светом набережную.

— Вот такие песни, — прошептала она, глубоко вдохнула пахнущий морем воздух и пошла по набережной навстречу сияющему дню. Вокруг прохаживалось довольно много муравьиных самок; они ревниво поглядывали друг на друга и на Марину, на что она отвечала такими же взглядами; впрочем, смысла в этом не было, потому что различий между ними не существовало абсолютно никаких.

Увидев прибитую к деревянному столбу стрелку с надписью «Видеосалон», Марина свернула на тропинку, ведущую к большому серому зданию за деревьями.

В видеосалоне большей частью сидели недавно приземлившиеся девушки в дырявых на спине блузках. Телевизор, в который они заморожены глядели, очень напоминал небольшой аквариум, по единственной прозрачной стене которого время от времени проходила радужная рябь. Марина устроилась поудобней и тоже стала глядеть в аквариум. Внутри плавал крупный рыжеватый самец средних лет в накинута на плечи дубленке. Подплыв к стеклу, он влажно поглядел на Марину, а потом сел в красный автомобиль и поехал домой, увозя с собой взволнованное Маринино внимание; вскоре она уже знала про него почти все.

Он любил очень многих женщин, и часто, когда он стоял у залитого дождем окна, они обнимали его за плечи и задумчиво припадали щекой к его надежной спине. Тут в фильме было явное противоречие — Марина ясно видела, что спина у мужчины очень надежная (она даже сама мысленно припала к ней щекой), но, хотя он только и делал, что туманным утром бросал заплаканных женщин в гостиничном номере, на надежности его спины это не сказывалось никак. Чтобы его напряженная половая жизнь обрела необходимую романтическую полноту, вокруг него иногда возникали то африканские джунгли, где он, чуть пригибаясь под пулями и снарядями, брал интервью у командира наемников, то Вьетнам, где он, в кокетливо сдвинутой каске, с журналистским микрофоном в руке, под дивную французскую песню — тут Марине на глаза навернулись прозрачные слезы — брел среди призывно раскинувшихся трупов молоденьких американцев, которым он, несмотря на возраст, совсем не уступал в отваге и мужской силе. Словом, фильм был очень тонкий и многоплановый, но Марину интересо-

вало только развитие сюжета, и она с облегчением вздохнула, когда герой снова оказался в старом добром Париже, в гостиничном номере, за окном которого было туманное утро, и к его широкой и надежной спине припала окончательная щечка.

Под конец Марина так ушла в свои мечты, что толком не заметила, как оказалась на улице; в себя она пришла от ударившего в глаза солнца, поспешила в тень и пошла по кипарисовой аллее, примеряя на себя самые понравившиеся кусочки фильма.

Вот она лежит в кровати, на ней желтый шелковый халат, а на тумбочке рядом стоит корзина цветов. Звонит телефон, она снимает трубку и слышит голос мордастого мужчины:

— Это я. Мы расстались пять минут назад, но вы позволили звонить вам в любое время.

— Но я уже сплю, — грудным голосом отвечает Марина.

— В это время в Париже сотни развлечений, — говорит на это мужчина.

— Хорошо, — отвечает Марина, — но пусть это будет что-то оригинальное.

Или так: Марина запирает автомобиль, и остановившийся рядом мордастый мужчина делает тонкое замечание об архитектуре. Марина поднимает глаза и смотрит на него с холодным интересом:

— Мы знакомы?

— Нет, — отвечает мужчина, — но могли бы быть знакомы, если бы жили в одном номере...

Вдруг Марина позабыла про фильм и остановилась.

«Надо что-то сделать», — подумала она. Что-то очень похожее на ампутацию крылышек, но другое — вроде бы она только что это помнила, и даже шла по аллее с туманным пониманием того, куда и для чего она направляется, но сейчас все вылетело из головы. Марина ощутила то же томление, что и на набережной.

— Если бы жили в одном номере, — пробормотала она, — в одном но... Ох, господи.

Она хлопнула себя по лбу. Надо было начинать рыть нору.

Подходящее место нашлось рядом с главным корпусом пансионата — в широкой щели между двумя гаражами, где земля была достаточно сырой и подходила для рытья. Марина туфелькой раскидала пустые бутылки и ржавую консервную жесть, открыла сумочку, вынула новенький красный совок и, присев на корточки, глубоко погрузила его в сухой крымский суглинок.

Первый метр она осилила без особого труда — после слоя почвы началась смешанная с песком глина, рыть которую было несложно. Правда, когда край ямы оказался на уровне груди, она пожалела, что не сделала нору шире — было бы легче выкидывать землю. Но вскоре она придумала, как облегчить себе работу. Сначала она как следует разрыхляла совком грунт под ногами, а потом, когда его набиралось много, горстями выкидывала его за край ямы.

Наконец яма достигла такой глубины, что, выкидывая землю, надо было подниматься на цыпочки, и Марина почувствовала, что пора рыть вбок. Это было сложнее, потому что грунт здесь был неподатливый и совок часто лязгал о камни, но делать было нечего; Марина, сжав зубы, на время растворила свою личность в работе, и от всего мира остались только земля, камни и совок. Когда она пришла в себя, первая камера была почти готова. Вокруг была темнота, и когда Марина вылезла из бокового хода в вертикальную часть норы, высоко над ее головой загадочно мигали звезды.

Марина чувствовала оглушительную усталость, но знала, что ложиться спать ни в коем случае нельзя. Она вылезла из ямы на поверхность и начала раскидывать отработанную землю, чтобы не был заметен вход в нору. Земля была слишком много, и Марина поняла, что поблизости всю ее не спрятать. Она чуть подумала, сняла с себя юбку и завязала ее узлом на одном конце. Получился довольно вместительный мешок. Марина ладонями затолкала в него столько земли, сколько влезло, с трудом закинула его на плечо и, пошатываясь, пошла к пустырю. Светила Луна, и сначала ей было страшно выйти из тени, но потом она решилась, быстро пробежа-

ла по залитому голубым светом пустырю за гаражами и сыпала землю на обочине дороги. Быстро перемещаться мешали туфельки, каблук одной из которых сломался, еще когда она рыла нору, и Марина скинула их, поняв, что они больше не нужны.

Босиком бегать стало легче, и довольно скоро на краю дороги выросла куча земли, словно сброшенная самосвалом. Марина валилась с ног, но у нее все же хватило сил отыскать кусок картона от сигаретного ящика с нарисованным зонтиком и красной надписью «Parisienne», которым она, спускаясь в нору, прикрыла вход. Теперь все было сделано. Она успела.

— Хорошо, — пробормотала она, со счастливой улыбкой сползая по шершавой земляной стене на пол и вспоминая мордастого мужика из фильма. — Хорошо. Но пусть это будет что-нибудь оригинальное...

Весь следующий день она спала — один только раз ненадолго пришла в себя, подползла к выходу и, чуть отодвинув картонку, выглянула наружу. В нору ударил косой солнечный луч, и долетел щебет птиц, такой счастливый, что даже показался ненатуральным, словно на дереве сидел Иннокентий Смоктуновский и щелкал соловьем. Марина вернула картонку на место и поползла назад в камеру.

Когда она опять проснулась, первым, что она почувствовала, был голод. Она нащупала в темноте совок, откинула картонку, вылезла, присела и подняла глаза к ночному небу.

Удивительно красива крымская ночь. Темнея, небо поднимается выше, и на нем ясно проступают звезды. Из всесоюзной здравницы Крым незаметно превращается в римскую провинцию, и в душе оживают невыразимо понятные чувства всех тех, кто так же стоял когда-то на древних ночных дорогах, слушал треск цикад и, ни о чем особо не думая, глядел в небо. Узкие и прямые кипарисы кажутся колоннами, оставшимися от давно снесенных зданий, море шумит точно так же, как тогда (что бы это «тогда» ни значило), и перед тем, как толкнуть навозный шар дальше, успеваешь на миг понять, до чего загадочна и непостижима жизнь и какую крохотную часть того, чем она могла бы быть, мы называем этим словом.

Марина медленно пошла к темной скале пансионата, высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться. Видно вокруг почти ничего не было, и, как Марина ни осторожничала, через несколько шагов она наступила в ямку и упала, чуть не сломав колено. От боли у нее прояснилось в голове, и она поняла, что на четвереньках двигаться гораздо удобней и безопасней. Она вприпрыжку потрусила вперед, выскочила на обсаженную цветами освещенную дорожку и побежала к фонарям набережной — перемещалась она на трех лапках, потому что в четвертой был сжат зазубренный и ободраный долгой работой совок.

Рынок был просто частью набережной под плоским металлическим навесом. Вокруг ничего не было, и Марина принялась шарить вокруг пустых прилавков, пытаясь отыскать хоть что-нибудь съедобное. Минут за двадцать она нашла множество давленных груш и яблок, несколько слив, пару полубогданных кукурузных початков и совершенно целую виноградную гроздь. Она наполнила всем этим найденный здесь же рваный пластиковый пакет и пошла к пустым столикам возле угасшего мангала — днем она заметила, как здесь ели шашлык, и решила посмотреть, не осталось ли чего на столах.

— Самка, где виноград брали?

Марина от неожиданности так испугалась, что чуть не выронила сумку. Но когда она оглянулась, то испугалась еще сильнее и отпрыгнула на несколько шагов назад. Перед ней стояла худая женщина в измазанных глиной трусах и рваной блузке. Ее глаза дико горели, волосы были набиты землей и всклокочены, а руки и ноги сильно исцарапаны. Одной рукой она прижимала к груди фанерный ящик с объедками, а в другой держала совок, и по этому совку Марина поняла, что перед ней тоже муравьяха.

— А там вон, — ответила она и показала в сторону прилавков, — только там нет больше. Кончился.

Женщина сладко улыбнулась и шагнула к Марине, не спуская с нее горящих глаз. Марина сразу все поняла, пригнулась и выставила перед собой совок. Тогда женщина бросила ящик в траву, зашипела и прыгнула на Марину, целясь ей головой в живот. Марина успела заслониться от удара

пакетом и смазала ее совком по лицу, а потом еще пнула ногой. Женщина завизжала и оскучила.

— Катись отсюда, гадина! — крикнула Марина.

— Сама гадина, — пяясь и дрожа, прошипела женщина, — поналетели тут к нам, суки позорные...

Марина шагнула к ней, размахнулась совком, и женщина быстро убежала в темноту. Марина склонилась над ее ящиком, выбрала несколько мокрых помидоров получше и положила в свой пакет.

— Еще кто к кому поналетел! Сраная уродина! — победно крикнула она и зашагала к мосту; не дойдя до него нескольких метров, она остановилась, подумала, вернулась и захватила с собой брошенный сраной уродиной ящик.

«Какая страшная», — с омерзением думала она по дороге.

Сложив продукты в углу норки, Марина опять вылезла и, словно на крыльях, на четвереньках понеслась к пансионату.

«Вот такие песни», — шептала она, зорко вглядываясь во тьму.

Наконец она нашла то, что искала — на газоне стоял маленький стог сена, накрытый полиэтиленом. За несколько рейдов Марина перетаскала к себе все сено, а потом, удивляясь и радуясь своей лихости, подкралась к одному из открытых окон пансионата, подпрыгнула, одним сильным и красивым движением сорвала висящую на окне штору и, не оборачиваясь, кинулась назад к норке.

4. СТРЕМЛЕНИЕ МОТЫЛЬКА К ОГНЮ

Зеркало в тяжелой полукруглой раме из темного дерева, висевшее над спинкой кровати, казалось совершенно черным, потому что отражало самую темную стену комнаты. Незаметно наступил вечер; на танцплощадке заиграла музыка и зажглись огни. Сквозь марлевую занавеску были видны вспышки разноцветных ламп — точнее, не сами вспышки, а их отблески на листе за окном.

Читать стало темно. Митя отложил в сторону Марка Аврелия Антонина, сплющенного веками в небольшой зеленый параллелепипед, встал и вышел на улицу. Узкий проход между курортными домиками освещало только соседнее окно; была видна калитка, лавка у проволочного забора и длинные бледные травы в русле высохшего ручья. Митя запер дверь, увидел свое отражение в стекле и хмыкнул — с некоторых пор он стал выглядеть в темноте довольно странно и пугающе. Тяжелые крылья, сложенные на его спине, казались плащом из серебряной парчи, доходившим почти до земли, и ему иногда бывало интересно, что видят на их месте другие. Он зажег сигарету (на огонек спички метнулось несколько крохотных насекомых), прошел через калитку и перепрыгнул сухое русло. Осторожно преодолев несколько метров полной темноты, он подрался сквозь кусты, вышел на асфальт, остановился и поглядел назад. Светлая линия дороги доходила до вершины холма и обрывалась, а дальше были видны черные силуэты гор. Одна из них, та, что была сейчас справа, напоминала со стороны моря огромного бронированного орла, наклонившего голову вперед; с катера, который ходил по вечерам мимо, бывали иногда заметны непонятные огни на вершине — наверное, там находился маяк. Сейчас огней не было.

Сделав несколько затяжек, Митя кинул окурок на асфальт, тщательно раздавил его и побежал вниз по дороге. Крылья за его спиной с шорохом раскрылись и легли на волну набегающего воздуха. Взлетев, он поджал ноги, чтобы не зацепить натянутый между двумя столбами электрический провод (тот был невидим в темноте, но Митя один раз уже ободрал о него голень) — и, когда сверху осталось только чистое темное небо, стал широкими кругами набирать высоту. Вскоре стало прохладнее, и спина заняла от усталости; Митя решил, что поднялся достаточно высоко, и поглядел вниз.

Внизу, как и в любой другой вечер, горели редкие фонари и окна. Источников света, достаточно ярких для того, чтобы возникло хотя бы слабое желание направиться к ним, было мало — пара ресторанных вывесок, розовая неоновая явочка слова «Видеосалон» на углу темной башни пансио-

ната и мерцающее зарево расположенной рядом танцплощадки. С высоты она была похожа на большой раскрытый цветок, все время меняющий цвета и вместо запаха источающий из себя музыку. Инстинкт гнал к этому цветку всех окрестных насекомых каждый раз, когда чья-то лапка включала электричество, и Митя подумал, что вполне можно провести там минут десять.

Танцплощадка была просто асфальтовым полем за высоким проволочным забором. В одном ее конце стояла невысокая деревянная эстрада, на которой громоздились черные коробки динамиков. Вдоль забора в несколько беспорядочных рядов стояли лавки со зрителями, а само пространство для танцев было плотно заполнено извивающимися распаренными телами. Мягко спружинив о сухую твердую землю у ограды, Митя миновал несколько мух у входа, сел на краю лавки и уставился на танцующих.

За вечер состав толпы успевал полностью смениться несколько раз; устав, народ расплзался по лавкам или уходил совсем, но на смену вставали другие, и танец ни на миг не прерывался. Как обычно, Митя стал размышлять о том, до чего все это похоже на жизнь — правда, наслаждаться своей отрешенностью немного мешало сознание того, что он тоже почему-то сидит на лавке и глядит на чужие потные лица.

Вдруг музыка стала громче, лампы погасли, а потом стали по очереди вспыхивать на долю секунды, вырывая из темноты то зеленую, то синюю, то красную монолитно-неподвижную толпу, которая в короткие моменты своего существования напоминала свалку гипсовых фигур, свеженных сюда со всех советских скверов и пионерлагерей; так прошло несколько минут, и стало казаться, что на самом деле нет ни танцев, ни танцплощадки, ни танцующих, а есть множество мертвых парков культуры и отдыха, каждый из которых существует только тот миг, в течение которого горит лампа, а затем исчезает навсегда, чтобы на его месте через секунду появился другой парк культуры и отдыха, такой же безжизненный и безлюдный, отличающийся от прежнего только цветом одноразового неба и углами, под которыми согнуты конечности статуй.

Митя встал, пробрался мимо весело жужжащих девочек в зеленых и синих платьицах и вышел за ворота, у которых сидело несколько качков в тренировочных костюмах предостерегающей окраски. В просвете между деревьями был виден тускло горящий лиловый фонарь. Он ярко вспыхнул, несколько раз мигнул и погас, и Митя, подчиняясь неожиданному импульсу, пошел вперед, в темноту.

Деревья, закрывавшие небо, скоро кончились, и из кустов на Митю задумчиво глянул позеленевший бюст Чехова, возле которого блестели под лунным светом осколки разбитой водочной бутылки. Набережная была пуста. Под одним из тусклых фонарей сидела компания доминошников с пивом, издававшая бодрые голоса и стук. Митя подумал, что обязательно надо будет искупаться, и пошел вдоль шеренги скамеек, призывно повернутых женственным изгибом к морю.

— Еще кто к кому поналетел! Сраная уродина! — донесся со стороны рынка триумфальный женский крик.

Митя увидел впереди знакомую темную фигуру, опершуюся локтями на парапет. Он подошел ближе.

— Дима, — позвал он.

Тот повернул голову.

— Пройдемся?

Они молча спустились на пляж по скрипящей деревянной лестнице, прошли по крупной хрустящей гальке и оказались перед узкой полосой пены. К Луне по морю шла широкая и прямая серебряная дорога, напоминающая цветом крылья ночного мотылька.

— Красиво, — сказал Митя.

— Красиво, — согласился Дима.

— Тебе никогда не хотелось полететь к этому свету? В смысле, не просто проветриться, а по-настоящему, до конца?

— Хотелось когда-то, — сказал Дима. — Только не мне.

Они повернули и медленно пошли вдоль сияющей границы моря.

— Я не помню, говорил я тебе или нет, — сказал Митя. — Зимой я заметил одну вещь. Что в Москве большую часть времени мы живем в темноте. Не в переносном смысле, а в самом прямом. Вот, помню, стою я на

кухне и говорю по телефону. А под потолком слабая желтая лампочка горит. И тут я поглядел в окно, и меня как током ударило — до чего же темно....

— Да, — сказал Дима, — со мной тоже что-то похожее было. А потом я еще одну вещь понял — что мы в этой темноте живем вообще все время, просто иногда в ней бывает чуть светлее. Собственно, ночным мотыльком становишься именно в тот момент, когда понимаешь, какая вокруг тьма.

— Не знаю, — сказал Митя. — По-моему, деление мотыльков и бабочек на ночных и дневных — чистая условность. Все в конце концов летят к свету. Это же инстинкт.

— Нет. Мы делимся на ночных и дневных именно по тому, кто из нас летит к свету, а кто — к тьме. К какому, интересно, свету ты можешь лететь, если думаешь, что вокруг и так светло?

Над танцплощадкой заиграла новая песня — женщина печально спрашивала у темного неба, Луны и двух идущих по пляжу фигур в темных плащах, где она сегодня, и жаловалась, что не знает, где ей найти не то себя, не то еще кого-то — последнее слово было неразборчивым, но это не имело значения, потому что дело было не в словах, и даже не в музыке, а в другом, таком, что все вокруг тоже погрузилось в печаль и размышляло, где оно сегодня и как ему найти не то себя, не то что-то еще.

— Нравится? — спросил Митя.

— Ничего, — сказал Дима. — Но главное достоинство в том, что она не понимает, о чем поет. Иначе сразу бы все испортила.

Они поднялись назад на набережную. Домношники уже исчезли, и от них осталась только колеблемая ветром газета, несколько сдвинутых ящиков, пустые пивные бутылки и рыба чешуя; из-за меланхолии, которую навевала музыка, казалось, что они не просто разошлись по домам, а рассосались в окружающей тьме — для полноты ощущения не хватало только их выветренных скелетов рядом с чешуей и бутылками.

— Я сейчас на танцплощадке был, — сообщил Митя. — Даже не по себе стало. Как будто все они мертвые. Прямо как из гипса. Знаешь, есть такая игрушка — два деревянных медведя с молотками? Двигаешь деревянную палочку взад-вперед, и они бьют по наковальне? Так вот там то же самое. Все танцуют, смеются, раскланиваются, а посмотришь вниз — и видишь, как над полом бревна ходят. Взад-вперед.

— Ну и что?

— Как ну и что? Ведь летели-то они все к свету. А как ни летай, светится только танцплощадка. И получается, что все вроде бы летят к жизни, а находят смерть. То есть в каждый конкретный момент движутся к свету, а попадают во тьму. Знаешь, если бы я писал роман о насекомых, я бы так и изобразил их жизнь — какой-нибудь поселок у моря, темнота, и в этой темноте горит несколько электрических лампочек, а под ними отвратительные танцы. И все на эти танцы летят, потому что ничего больше нет. Но полететь к этим лампочкам, это...

Митя щелкнул пальцами, подыскивая подходящее слово.

— Не знаю, как объяснить.

— А ты уже объяснил, — сказал Дима. — Когда про Луну говорил. Луна и есть главная танцплощадка. И одновременно главная лампочка главного Ильича. Абсолютно то же самое. Свет не настоящий.

— Да нет, — сказал Митя. — Свет настоящий. Свет всегда настоящий, если он виден.

— Правильно, — сказал Дима. — Свет настоящий. Только откуда он?

— Что значит «откуда»? От Луны.

— Ты полагаешь? А тебе никогда не приходило в голову, что она на самом деле абсолютно черная?

— Я бы сказал, что она скорее желто-белая, — ответил Митя, внимательно поглядев вверх. — Или чуть голубоватая. Но я тебя понял. Ты хочешь сказать, что когда я смотрю на Луну, я вижу солнечный свет, который она отражает, а сама она не светится.

— Хорошо, — сказал Дима, — Луна отражает солнечный свет. А свет чего отражает Солнце?

Митя молча сел на скамейку и откинулся на спинку. Дима сел рядом. Ветер шевелил листву над головой, и шум моря сливался с последними нотами затихающей песни — на секунду показалось, что этот смешанный

звук летит на самом деле от желтого круга висящей в небе Луны. Потом добавилась рожок приближающегося к причалу прогулочного катера, и слева появились его медленно наплывающие огни.

— American boy, уеду с тобой, — взвились над танцплощадкой два чистых юных голоса, и долетел аккомпанемент, простой и трогательный, как платье пионерки.

5. ТРЕТИЙ РИМ

Крохотный планер пронесся так близко к выступающим из горного склона зубьям скал, что на мгновение почти слился со своей тенью, и над столиками летнего кафе раздался дружный вздох. Но треугольник, похожий на серебристую ночную бабочку, благополучно развернулся и полетел над морем, приближаясь к пляжу.

— Откуда они взлетают? — спросил Сэм.

— Вон гора, — сказал Артур. — Видите? Там все время восходящий поток.

К столику подошла официантка со строгим, как у судьбы, лицом и молча сгрузила с подноса тарелки, бутылку шампанского и несколько бокалов. Сэм недоуменно поднял на нее глаза и сразу отвел — на щеке официантки был огромный багровый лишай.

— Заказывали, — пояснил Артур.

— А, — улыбнулся Сэм. — Я уж и забыл.

— У нас ресторанная категория, — обиделась официантка. — Можете правила посмотреть. Ожидание до сорока минут.

Сэм рассеянно кивнул головой и поглядел в свою тарелку. В меню блюдо называлось «біточкі по-сілянські з цибулей». Оно состояло из нескольких маленьких прямоугольных кусочков мяса, лежащих в строгом архитектурном порядке, целого моря соуса и пологой горы картофельного пюре, украшенной цветными точками моркови и укропа. Картофельное пюре лавой наплывало на куски мяса, и содержимое тарелки походило на вид Помпей с птичьего полета, одновременно странным образом напоминая панораму приморского городка, которая открывалась со столика. Сэм поднял вилку, занес ее над тарелкой и вдруг заметил сидящую на границе пюре и соуса молодую муху, которую он сначала принял за обрывок укропной метелочки. Он медленно протянул к ней руку — муха вздрогнула, но не улетела, — осторожно взял ее двумя пальцами и перенес на пустой табурет.

Муха была совсем юной — ее упругая зеленая кожа весело сверкала под солнцем, и Сэм подумал, что ее английское название — «greenbottle fly» — очень точно. Ее лапки были покрыты темными волосками и кончались нежными розовыми присосками — словно на каждой из ее ладоней призывно темнело по два полуоткрытых рта, а талия была тонка настолько, что, казалось, могла переломиться от легчайшего дуновения ветра. Ее застенчиво подрагивающие крылья, похожие на две пластинки слюды, блестяли всеми цветами радуги и были покрыты стандартным узором темных линий, по которым без всякой крыломантии можно было предсказать ее простую судьбу. Глаза у нее тоже были зелеными и глядели немного исподлобья, а со лба на них падала длинная темная челка, из-за которой она казалась даже моложе, чем была, и производила впечатление школьницы, нарядившейся в платье старшей сестры. Поймав взгляд Сэма, муха чуть покраснела.

— How are you? — спросила она, старательно выговаривая слова. — I am Natasha. And what is your name?

— Сэм Саккер, — ответил Сэм. — Но мы можем говорить по-русски.

Показывая ровные белые зубки, Наташа улыбнулась, перевела быстрые глаза на презрительно улыбающегося Артура и сразу помрачнела.

— Я не помешала? — спросила она и сделала такое движение, словно собиралась встать.

— Да как вам сказать, — процедил Артур, глядя в сторону.

— Ну что вы. — быстро вмешался Сэм, — наоборот. Разве может такое очаровательное существо кому-нибудь помешать? Шампанского?

— С удовольствием, — ответила Наташа и двумя пальцами взяла протянутый Сэмом бокал.

— Простите, — сказал Артур, — вы не возражаете, если я отойду позвонить? Что-то Арнольда долго нет.

Сэм кивнул головой, и Артур пошел к будке автомата, зажатой между двумя коммерческими ларьками. Возле будки стояла очередь, и Артур, заняв в ней место, принялся разглядывать книги, разложенные уличным торговцем прямо на газоне. Наташа открыла лежащую на коленях сумочку, достала из нее напильник, с недоумением посмотрела на него, кинула назад и вытащила маленький косметический набор.

— А вы откуда, Сэм? — спросила она, разглядывая себя в зеркало. — Американец?

— Да, — ответил Сэм, — но живу большей частью в Европе. Вообще даже сложно сказать, где я на самом деле живу — все время летаю туда-сюда.

Раскрыв цилиндрок с помадой, Наташа подкрасила присоски на лапках, и у Сэма мелькнула мысль, что это делает ее вульгарной, но вдвойне привлекательной. Он собрался что-то сказать, но тут на столик легла тень и донесся совершенно неуместный в начале осени густой запах цветущих трав и деревьев. Сэм поднял глаза.

— Арнольд! — обрадованно сказал он. — А мы вас ждем. Артур звонить пошел. Ну как, удалось что-нибудь выяснить?

— Удалось, — ответил Арнольд, швыряя на стул рядом с Сэмом его кейс. — Все теперь ясно стало.

— Нашли! — обрадованно воскликнул Сэм. — Вот спасибо!

Он раскрыл кейс, бегло осмотрел содержимое и, сомкнув кольцом большой и указательный пальцы, показал Арнольду кружок пустоты размером с металлический доллар. Тот подтянул табурет от соседнего столика и тяжело сел.

— А это Наташа, — сказал Сэм, — познакомьтесь. Наташа, это Арнольд.

Арнольд повернулся к Наташе и надолго впился в нее глазами.

— Понятно, — сказал он, наглядевшись. — А вот чтобы пойти, к примеру, на ткацкую фабрику, крутильщицей или валяльщицей? Или волочильщицей? Это как? Не хочешь?

— Что вы говорите такое? — побледнев, прошептала Наташа. Ей в носшибануло густым одеколонным запахом, она недоуменно подняла глаза на Сэма и увидела, что улыбка сползает с его лица, а в глазах проступает явный ужас.

— Не пугайте девушку, — сказал он, косясь в сторону телефонной будки, откуда торопливо шел Артур. — Наташа, он шутит.

— Я? Шучу? Ты сюда, сука, кровь прилетел пить и думаешь, мы с тобой шутки будем шутить?

— А кто это «мы»? — быстро спросил Сэм.

— Сейчас объясню, — сказал Арнольд, приподнимаясь со стула, и неизвестно, что произошло бы дальше, если бы подбежавший сзади Артур не обрушил на его голову полупустую бутылку шампанского.

Арнольд вместе с табуретом повалился на пол и замер. За соседними столиками стихли разговоры, и несколько граждан даже приподнялось со своих мест, собираясь не то вмешаться, не то убежать. Артур быстро сел верхом на товарища и стал заламывать ему руку за спину. Это не очень получалось, хотя Арнольд вроде не сопротивлялся.

— Так и знал, что он не удержится, — нервно бормотал Артур, — тоже попробует... Сэм, идите, пока он в себя не пришел, уведите девушку. А я...

Арнольд пошевелился, и Артур чуть не слетел с него на асфальт.

— Идемте, Наташа, — сказал Сэм, хватая Наташу за руку.

Они вылезли из-за столика и, разминувшись с бегущим к месту драки милиционером, быстро пошли прочь.

— Что это с ним? Наркотики? — спросила Наташа.

— Примерно, — ответил Сэм.

Наташа оглянулась на толпу, сгрудившуюся среди ресторанных столиков.

— Все, — сказала она, — забрали.

— Простите, Наташа, — останавливаясь, сказал Сэм, — может быть, у вас какие-нибудь планы?

В ответ Наташа поглядела на Сэма с такой простодушной откровенностью, что все ее планы стали сразу понятны и видны.

Дорога шла мимо глубокого котлована с руинами подземных этажей недостроенного здания. Из трещин в стенах росли трава, кусты и даже несколько молодых деревьев, отчего казалось, что это не котлован, вырытый под новостройку, а могила погибшего здания или раскопки древнего города.

— Да, — сказал Сэм, когда котлован остался позади. — Удивительно. Я тут как-то заметил одну странную вещь. Россия ведь третий Рим?

— Третий, — сказала Наташа, — точно. И еще второй Израиль. Это Иван Грозный сказал.

— Так вот, если написать «третий Рим», а потом дописать слово «третий» наоборот, получится очень интересно. С одной стороны будет читаться «третий Рим», а с другой — «третий мир».

— В Ялте, — сказала Наташа, — часа три отсюда на катере, есть канатная дорога. Сядишься на набережной и поднимаешься на гору. Там дворец строили или музей Ленина, не знаю. А потом бросили. И остались только колонны и часть крыши. Все огромное такое, и вокруг пустырь. Будто храм какой. Точно, третий Рим и есть. Сэм, а вы в первом были?

Сэм кивнул, и Наташа тихонько вздохнула.

— А вы, правда, думаете, что у нас третий мир?

— Ну, в общем, да.

— Непривычно как-то.

— А придется привыкнуть. Это геополитическая реальность. Ведь Россия очень бедная страна. И Украина тоже. Тут... Как это выражение... Земля не родит. Даже если взять самые плодородные почвы где-нибудь на Кубани, это будет ничто по сравнению с землями, скажем, в Огайо.

Сэм произнес «ох-хайо», и звук получился такой, что его вполне можно было намазывать на бутерброд вместо масла, а уж какие плодородные земли в штате Огайо, стало ясно сразу. Наташа о чем-то задумалась, и несколько минут они шли молча.

— Наташа, я вас не обидел? — спросил Сэм.

— Чем? — удивилась Наташа.

— Этим третьим миром.

— Что вы, Сэм. Просто мне в детстве нагадали, чтобы я боялась римской цифры три. Но я ее нисколько не боюсь. А обижаться мне никакого резона нет. Я ведь не Россия. Я Наташа.

— Наташа, — сказал Сэм. — Красивое имя.

Они свернули с дороги и пошли по тропинке, покрытой густым слоем желтой пыли. С обеих сторон ее обступали виноградники. Потом они кончились, и впереди появилось море. Наташа все так же напряженно размышляла, и на лбу у нее даже образовалась маленькая красивая извилинка. Сэм поймал ее взгляд и улыбнулся.

— Все окей? — спросил он.

— Ага, — улыбнулась в ответ Наташа. — Я вот о чем думаю. Ну, допустим, первый мир — это Америка, Япония там и Европа. Третий Рим, мир то есть, это, скажем, мы, Африка и Польша. А что такое второй мир?

— Второй? — удивленно спросил Сэм. — Хм. Не знаю. Действительно интересно. Надо выяснить, откуда это выражение пошло. Наверно, никакого второго мира просто нет.

Он поглядел вверх и заметил высоко в небе серебристый треугольник — то ли тот самый планер, за которым он следил из-за столика, то ли другой точно такой же.

— Куда мы идем? — спросил он.

— Не знаю, — сказала Наташа, — мне все равно. Тут рядом дикий пляж есть. Можно искупаться. Хотите?

Сэм слотнул слюну, кивнул, и они пошли вниз по каменистому склону. Четкой линии берега внизу не было — склон переходил в лабиринт из скал, между которыми плескалось море. Сняв тапочки, — Сэм с умилением понял, что на ногах у нее были розовые домашние тапочки, а не туфли необычного фасона, как он подумал сначала, — Наташа зашла по колено в во-

ду, и Сэм, подвернув штаны и разувшись, последовал за ней, держа кейс с мокасинами над головой и пытаясь вспомнить, какую же это греческую легенду ему напоминает происходящее. Минут пять они петляли между коричневых каменных стен и наконец вышли к большой наклонной плите, поверхность которой выступала из воды примерно на полметра.

— Вот тут я загорала, — сказала Наташа, залазя на камень. — С той стороны можно нырять — уже глубоко.

Забравшись на плиту, Сэм полез в кейс за видеокамерой.

— Помогите, Сэм, — попросила Наташа.

Повернувшись, Сэм увидел, что она стоит к нему спиной, заведя руку за спину, и пытается дотянуться до завязанных там тесемок. Осторожно положив камеру на мокасины, Сэм прикоснулся к Наташину платью и почувствовал, как она вздрогнула. Тесемки абсолютно ничего не держали и были, как Сэм вспомнил из статьи в «Нэшнл джиджогрэфик», просто наивным приспособлением для завязывания знакомства, которым пользовались здешние девушки — даже металлические шарики на их концах формой напоминали блесну. Но дрожь, прошедшая по Наташиной спине, заставила Сэма забыть о методике правильного поведения, которую рекомендовал журнал, и, когда она перешагнула через упавшее на камень платье и осталась в крохотном купальнике из блестящей зеленой ткани, его руки сами потянулись к камере.

Он долго снимал ее худенькое мохнатое тело, ее счастливый смех и волну летящих по ветру волос, снимал ее голову над изумрудной водой и мокрые отпечатки ее лапок на камне, а потом, передав ей камеру и объяснив, на что надо нажимать, бросился в море и рванулся к возникшей вдали белой точке прогулочного катера таким безоглядным баттерфляем, словно и правда собирался достичь его впласть.

Когда, тяжело дыша, он вернулся на плиту, Наташа лежала на спине, ладонью прикрывая глаза от солнца. Сэм устроился рядом, положил щеку на теплую поверхность камня и, прищурясь, поглядел на Наташу.

— Вот вернусь домой, — сказал он, — буду смотреть это по телевизору и грустить. Наташа, у меня просьба. Перейдем на «ты»?

Наташа улыбнулась и кивнула.

— Сэм, — тихо сказала она, — в Риме ты был, это я знаю. А во Франции?

— Совсем недавно, — ответил Сэм, придвигаясь к ней поближе. — Там есть такой город Комбре, и в нем раз в год бывает Прустовский праздник, на который слетаются комары со всей Европы.

— А что это за праздник такой?

Сэм долго молчал, и Наташа решила, что ему лень рассказывать. Где-то вдали стрекотала машина прогулочного катера. Совсем рядом раздались несколько чуть слышных мажорных аккордов на гитаре, а потом послышалось тихое жужжание, и Наташа ощутила легкий укол в ногу; она рефлекторно хлопнула по этому месту ладонью, и под ее пальцами что-то расплющилось, скаталось в крошечный шершавый шарик и отлетело в воду. Сэм тихо заговорил нараспев, гнусаво произнося некоторые звуки в нос:

— Представь небольшую сельскую церковь, построенную около пяти веков назад, с грубо высеченными фигурами христианских королей, глядящих на площадь с облетевшими каштанами, ветви которых металлически блестят в свете нескольких фонарей; на брусчатке перед порталом появляется одинокий усатый мужчина, похожий на мишень из провинциального тира, и уже трудно сказать, что происходит потом, когда непреодолимая сила влечения отнимает у памяти мгновения полета, оставляя ей лишь короткие прикосновения бродящих наугад лапок к пропахшему кельнской водой и сигаретным дымом шелку кашне, и грубое...

— Сэм, — прошептала Наташа, — что ты делаешь. Нас же увидят.

— ...чем-то даже оскорбительное ощущение близости чужой кожи к твоему рту. Наслаждение усиливается, когда начинаешь различать за прорванными занавесями покровов, отделяющих одно тело от другого, глухой шум, сначала ток крови...

— Ах, Сэм... Не сюда...

— ...а затем — повелительные удары сердца, подобные сигналам, посылаемым с планеты Марс или из какого-то другого мира, так же недоступно нашему взору; их ритм и задает то страстные, то насмешливые

движения твоего тела, в долгий выступ которого, блуждающий в пульсирующих лабиринтах чужой плоти, как бы перетекает все сознание; и вдруг все кончается, и ты вновь плывешь куда-то над старыми камнями мостовой...

— Сэм.

Сэм откинулся на камень и некоторое время не чувствовал вообще ничего — словно и сам превратился в часть прогретой солнцем скалы. Наташа сжала его ладонь; приоткрыв глаза, он увидел прямо перед своим лицом две большие фасетчатые полусферы — они сверкали под солнцем, как битое бутылочное стекло, а между ними, вокруг мохнатого ротового хоботка, шевелились короткие упругие усики.

— Сэм, — прошептала Наташа, — а в Америке много говна?

Сэм улыбнулся, кивнул головой и снова закрыл глаза. Солнце било прямо в веки, и за ними возникало слабое фиолетовое сияние, на которое хотелось глядеть и глядеть без конца.

6. ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ

Трудно было сказать, сколько дней Марина углубляла нору и рыла вторую камеру. Дни бывают там, где встает и заходит солнце, а Марина жила и работала в полной тьме. Сначала она передвигалась на ощупь, но через некоторое время заметила, что неплохо видит в темноте — заметила совершенно неожиданно, когда в середине главной камеры уже была готова широкая кровать из сена, накрытого украденной в пансионате шторой.

«Наверно, — подумала Марина, — я и раньше видела в темноте, просто не обращала внимания.»

Взяв ящик, она поставила его возле кровати, сунула туда клочок сена и, как сумела, придала ему форму букета. Отойдя к дальней стене камеры, она с удовольствием осмотрела получившийся интерьер, подошла к кровати и нырнула под штору. Лежать под шторой было тепло и удобно, но немного скучно. Марина сначала думала о всякой всячине, а потом незаметно для себя впала в оцепенение.

Разбудил ее донесшийся из-за стены шум. В том, что шум донесся именно из-за стены, Марина была уверена — она уже давно привыкла к звукам, которые прилетали сверху (это были голоса, шаги и рев мотора выезжающей из гаража машины), и автоматически отфильтровывала их, так что они совсем не мешали ей спать. Но этот звук был другим — за стеной определенно рыли землю. Марина даже слышала звяканье совка о камни, с которыми она сама в свое время немало повозилась. Шум за стеной иногда исчезал, но потом возникал опять, вроде бы даже ближе, чем раньше, и Марина успокаивалась. Иногда из-за стены долетала песня — Марина не могла разобрать слов, но слышала, что поет мужской голос. Мелодия вроде бы была «Подмосковные вечера», но сказать точно нельзя было. Постепенно у Марины выкристаллизовалась уверенность, что ход за стеной роют именно к ней, и она даже догадывалась, кто именно, но целомудренно боялась до конца в это поверить. Вскакивая с кровати, она подбегала к стене и надолго припадала к ней ухом, потом бросалась назад и замирала под шторой. Когда шум стихал, она приходила в смятение.

«А вдруг, — думала она, — он промахнется и пророев ход к этой сраной уродине?»

Она вспоминала самку с базара, и ее кулаки яростно сжимали сено.

«А сраная уродина, — думала она дальше, — возьмет и скажет, что она — это я. А он ей поверит... Он же такой глупенький...»

От такой подлости у нее даже перехватывало дыхание, и она представляла себе, что сделает с уродиной, если где-нибудь ее встретит.

Так продолжалось довольно долго; наконец стена, за которой рыли ход, начала подрагивать, и с нее на пол посыпалась земля. Марина последний раз оглядела камеру — все вроде было в порядке — и юркнула под штору. В стену с той стороны начали бить чем-то тяжелым, и не успела Марина последний раз поправить на себе штору, как стена рухнула.

В образовавшейся дыре появился сапог. Он шевельнулся, несколько раз ковырнул землю, расширяя проход, и исчез, а потом в дыру просуну-

лось мясистое лицо, которое Марина узнала сразу же. Это был он или почти он, только не рыжеватый, а совсем рыжий, и вместо дубленки на нем была заснеженная шинель с майорскими погонами. Аккуратно, чтобы не запачкаться землей, он протиснулся в дыру, и Марина заметила висящий на его груди тяжелый черный футляр с баяном.

— День добрый, — сказал он, снял баян, поставил его на предохранитель и опустил на пол. — Скучаешь?

Внутри у Марины все сжалось, но она нашла в себе силы взглянуть на майора с холодным интересом.

— Мы знакомы? — спросила она.

— Сейчас будем, — сказал майор, подходя к кровати и берясь крепкими ладонями за край свисающей с кучи сена шторы.

— Ты не представляешь, Николай, какие вокруг живут звери, — говорила Марина, прижимаясь к лежащей рядом на сене холодной мохнатой тушке. — Вот, например, ходила я недавно на рынок за продуктами. Так меня там чуть не убили. Еле потом до дома добралась. Николай, ты спишь?

Николай не отвечал, и Марина, повернувшись на спину, уставилась в земляной потолок. Клонило в сон, и скоро ей стало казаться, что потолок над головой исчез, а на его месте выступили звезды. Одна из звездочек мигнула и поползла по потолку, и Марина загадала желание.

— Сам я военный, — говорил Николай, — майор. Живу и работаю в городе Магадане. Но главное для меня в жизни — музыка. Так что если ты любишь музыку, у нас с тобой обязательно установится духовная близость.

Марина открыла глаза. Вокруг, как обычно, была тьма, но она знала, что уже настало то единственное утро, которое бывает в норе.

— Ты, Марина, — продолжал Николай, внимательно глядя на свои сапоги, стоящие возле постели, — скоро будешь такая толстая, что уже не сможешь никуда вылезти. А вечером в Магадане сотни развлечений, так что я тебе предлагаю сходить сегодня в театр.

— Хорошо, — сказала Марина, у которой сладко сжалось сердце, — но пусть это будет что-нибудь оригинальное.

Вместо ответа Николай протянул ей два листочка бумаги. «Магаданский ордена Октябрьской Революции Военный оперный театр», — прочла Марина шапку, перевернула билет и увидела на другой стороне синюю напечатку: «Жизнь за Царя».

— Так ведь где это — Магадан... — сказала она.

Николай кивнул в сторону проделанной им в стене дыры, и Марине показалось, что оттуда повеяло холодом.

До вечера Николай еще несколько раз залезал на Марину, и она, прислушиваясь к своим ощущениям от елозящего по ней холодного влажного тела, с недоумением спрашивала себя: неужели именно в этом все дело и именно об этом во Франции сочиняют такие красивые песни? Иногда Николай замирал и принимался рассказывать о своей службе, о делах и товарищах, и скоро Марина уже знала их всех по именам и званиям. Когда Николай слезал с нее, он сразу же начинал работать по дому — сначала углубил нишу для еды, а потом принялся заделывать выход, ведущий к двум гаражам. Марина ощутила беспричинную тоску.

— Зачем это ты? — с кровати спросила она.

— Дует сильно, — сказал Николай. — Сквозняк.

— А как мы тогда вылезать будем?

Николай показал на дыру в стене, из которой он появился несколько часов назад. До вечера он успел придать ей квадратную форму и даже сплел из соломы небольшой половичок, который положил перед ней на пол.

Наконец Николай поглядел на часы и сказал:

— Пора в театр.

Марина слезла с кровати и тут вспомнила, что ей совершенно нечего надеть.

— А ты завернись в штору, — сказал Николай, когда она объяснила ему свою проблему, — сейчас все так ходят.

Марина последовала его совету, и получилось не так уж плохо. Николай натянул сапоги, надел шинель, повесил на плечо баян и шагнул в черную дыру в стене; Марина, пригнув голову, нырнула за ним. За дырой был

длинный кривой коридор, холодный и темный, который кончался узким лазом вверх; из лаза на земляной пол падал слабый синеватый свет и редкие снежинки. Николай выбрался наружу и протянул Марине руку; придерживая у горла штору, Марина поднялась на поверхность.

Они оказались в полутемном дворе, из которого вышли на широкую заснеженную набережную. За ее ограждением простиралась ровная белая плоскость замерзшего моря, похожая на огромный занесенный снегом коток. Набережную освещало несколько фонарей, а вокруг шли прохожие — большей частью вооруженные баянами офицеры, некоторые из которых вели под руку своих завернутых в шторы жен; Марина, когда увидела это, испытала большое облегчение. Разглядев, что все офицерские жены босые, как и она, Марина успокоилась окончательно; взяв за руку Николая, она пошла по улице, любуясь падающим снегом.

Театр оказался величественным серым зданием с колоннами, очень похожим на главный корпус пансионата; Марина вспомнила южную ночь, звезды на небе, шум моря — и помотала головой, таким это все казалось далеким и нереальным. Но театр удивительно напоминал здание, возле которого она когда-то вырыла нору, и даже гипсовые снопы на фронте были те же самые, только сейчас большая их часть была завершена широкой кумачовой полосой с белой надписью «МУРАВЕЙ МУРАВЬЮ — ЖУК, СВЕРЧОК И СТРЕКОЗА».

В театре было многолюдно, празднично и торжественно; доносились жутковатые звуки настраивающихся инструментов. Офицерские жены оценивающе поглядывали на Маринину штору, и Марина с удовлетворением поняла, что ее наряд не хуже, чем у других. Правда, попадались шторы и получше — например, жена одного генерала была завернута в малиновую бархатную портьеру с золотыми кистями, но зато сама эта жена была старая и морщинистая. Николай представил Марину нескольким своим друзьям — таким же рыжим майорам, и по их влажным зовущим взглядам Марина поняла, что произвела на них впечатление.

Прозвенел звоночек, все повалили в зал. Места у Николая с Мариной оказались не очень хорошие — сцена была видна под острым углом. То, что происходило в ее глубине, оставалось неизвестным, и, когда начался спектакль, Марина никак не могла взять в толк, о чем он. Николай наклонился к ней и шепотом стал объяснять, что большие черные муравьи напали на муравейник рыжих, а один старый рыжий муравей, пообещав провести врагов в камеру, где лежала главная матка и хранились яйца, на самом деле завел их в норку муравьиного льва. На Николая сзади шикнули, и он замолчал, но Марина уже разобралась в чем дело.

Большую часть действия она только слышала, но зато, когда настал самый главный момент и на сцене остались старый муравей и муравьиный лев, Марина сумела отлично все рассмотреть. Муравьиный лев был бритым наголо румяным мужчиной в военной форме двадцатых годов, с ордемом на груди; он с видимой скукой сидел на стуле, хлопая серой каракулевой папахой по сапогу и дожидаясь, пока старый муравей кончит петь; когда тот затих и отполз в глубь сцены, муравьиный лев встал и медленно пошел вслед за ним. Тревожно и страшно заиграл оркестр, по залу прошел вздох ужаса, но Марина уже ничего не видела. Она смотрела на тяжелую зеленую кулису и мечтала о том, что Николай станет генералом и выхлопочет такую же кулису для нее.

Когда спектакль кончился, Николай предложил сходить в буфет выпить шампанского. Марина с радостью согласилась — она помнила, что в фильме мордастый мужик все время пил со своими женщинами шампанское из высоких узких бокалов. И тут случилась беда.

На пустой лестнице, затянутой широким красным ковром, Николай споткнулся, потерял равновесие и упал, ударившись затылком о ступени. Он сразу же потерял сознание и быстро задрогал ногами, а на лице у него проступило отвращение. Марина попыталась поднять его за руку, но Николай был слишком тяжел, и Марина кинулась вниз, чтобы позвать на помощь. К счастью, на следующей же площадке она наткнулась на двух майоров, которых Николай перед спектаклем представил ей как своих друзей. Они молча курили, дожидаясь, когда подойдет их очередь в буфете. Выслушав Марину, они побросали окурки и поспешили за ней.

Николай лежал в той же позе и так же подергивал ногами, только те-

перь у него вдобавок стали непроизвольно двигаться руки — они совершали плавные движения в стороны, будто растягивали и сжимали баян, но больше всего Марину напугало то, что Николай тихо-тихо напевал «Подмосковные вечера».

Один из майоров сел на корточки возле Николая, взял его кисть и нащупал пульс, а другой стал отсчитывать время по часам. Через минуту они переглянулись, и тот, который щупал пульс (свободной рукой Николай продолжал играть на невидимом баяне), отрицательно помотал головой.

Оба майора поглядели на Марину, и тут она впервые заметила, какие страшные жвала шевелятся у них под носами. Собственно, у Николая и у самой Марины были точно такие же, но раньше она не придавала этому значения. Глаза Марины заволокло слезами; сквозь мутную пленку она увидела, что ей протягивают большой темный предмет. Она подставила руки, и в них лег баян в футляре. Ее словно парализовало — она безучастно наблюдала, как первый майор приподнял Николаеву ногу, а второй, быстро работая жвалами, отгрыз ее по пах вместе с защитной штаниной, на которой, в такт движениям его челюстей, дергался тонкий красный лампас. Когда он перегрызал вторую ногу, вокруг появилось еще несколько майоров; они поставили свои бокалы с шампанским на пол, и работа пошла быстрее. Николай прекратил играть на баяне только тогда, когда один из вновь появившихся стал отгрызать ему голову и, видимо, перекусил нерв. Другой майор принес стопку газет «Магаданский муравей» и начал заворачивать в них отпиленные конечности Николая. Дальше у Марины в памяти был длинный провал.

В себя она пришла на улице, от укулов холодных снежинок в лицо. Театр остался далеко за спиной; в одной руке она держала ящик с баяном, в другой — два продолговатых тяжелых свертка, плотно упакованных в несколько слоев газетной бумаги. Кое-как она дошла до того места, откуда несколько часов назад начался поход в театр, огляделась и увидела в глубине занесенного снегом двора два ржавых гаража, стоящих под углом друг к другу. Между гаражами, под тонким слоем свежего снега, виднелось круглое углубление и недавние следы. Марина сунула руку в снег, сняла с лаза крышку — это был борт картонного ящика от папирос «Север» — и слезла вниз.

Внизу было темно и тихо. Марина положила свертки в снег, который намело под лазом, и поползла спать. Уже вскарабкавшись на сено, она вспомнила, что произошло в театре, когда Николая почти кончили раздевать: не в силах глядеть на него, она отвернулась и увидела, как по затянутому ковром ступеням, под руку с большим рыжим полковником в сверкающих сапогах, не отводя от ее лица торжествующего взгляда, спускается сраная уродина с рынка, завернутая в лимонную портьеру с фиолетовыми виноградными гроздьями.

7. ПАМЯТИ МАРКА АВРЕЛИЯ

Прогулочный катер успел отойти в море довольно далеко, а шел все прямо, как будто направлялся в Турцию. Слева выступила часть побережья, раньше скрытая горой, и хоть сам берег не был виден, в темноте появились огни. Казалось, что они горят на поверхности моря, словно мимо катера медленно движутся свечи в бумажных коробочках, стоящие на маленьких плотках. Луна тоже казалась висящим в небе бумажным шаром с горячей внутри свечой. Облака вокруг нее были высокие и редкие, с ярко-желтой от лунного света кромкой, и небо из-за них казалось в несколько раз выше, чем обычно.

Митя стоял у борта и молча смотрел на море.

— О чем ты столько времени думаешь? — спросил Дима.

— Все о том же, — сказал Митя. — О том, куда я иду. К свету или тьме.

— А как ты сам считаешь?

— Я сам? — переспросил Митя. — Что значит «я сам»? Во мне этих «я сам» по меньшей мере два. Настоящий я — окончательный, тот, кого я считаю самым собой — он, понятно, идет к свету. Но еще есть второй «я»,

временный, который иногда возникает на несколько секунд. Он тоже, в общем, со временем собирается повернуть к свету, но перед этим ему необходимо последний отрезок тьмы. Как бы проститься. Кинуть последний взгляд — вот как я сейчас гляжу на море. И что странно, у того меня, который хочет лететь к свету, есть вся жизнь, потому что он и есть я, а у того, кто хочет лететь к тьме, — только одна секунда, и все равно...

— И все равно ты постоянно замечаешь, что летишь во тьму.

— Да.

— И тебя это удивляет?

— Очень.

Дима кинул за борт мятую конфетную бумажку и следил за ней, пока ее не накрыла полоса пены.

— Вся жизнь ночного мотылька, — сказал он, — и есть эта секунда, которую он тратит, чтобы попрощаться с темнотой. Ничего, кроме этой секунды, просто нет. Понимаешь? Вся огромная жизнь, в которой ты собираешься со временем повернуть к свету, на самом деле и есть тот единственный момент, когда ты выбираешь тьму.

— Почему?

— А что еще может быть, кроме этой секунды?

— Вчера. Завтра. Послезавтра.

— И вчера, и завтра, и послезавтра, и даже позавчера тоже существуют только в этой секунде, — сказал Дима. — Только в тот момент, когда ты о них думаешь. Так что если ты хочешь выбрать свет завтра, а сегодня попрощаться с темнотой, то на самом деле ты просто делаешь шаг во тьму.

— А если я хочу перестать выбирать тьму? — спросил Митя.

— Выбери свет.

— А как?

— Просто направься к нему. Прямо сейчас. Никакого другого времени для этого не будет.

В воздухе что-то мелькнуло, и раздался громкий удар о верхнюю палубу. Потом послышалось звяканье ботинок о тонкую металлическую переборку и бодрые голоса.

— Что это там? — задрал голову, спросил Митя.

— Комары, — сказал Дима. — Сразу трое.

— Ночью? И от берега вроде далеко.

— Для них сейчас день, — ответил Дима. — И солнце светит.

Справа по борту катера медленно поплыла огромная скалистая гора. Она была похожа на каменную птицу, расправившую крылья и нагнувшую голову вперед, а на ее вершине горели два мигающих красных огня.

— Видишь, — сказал Дима, — сколько вокруг света и тьмы. Выбирай что хочешь.

— Допустим, я хочу выбрать свет. Но как я узнаю, настоящий он или нет?

— Настоящий свет — любой, до которого ты долетишь. А если ты не долетел хоть чуть-чуть, то к какому бы яркому огню ты до этого ни направлялся, это был обман. Дело не в том, к чему ты летишь, а в том, кто летит. Хотя это и одно и то же.

— Да, — сказал Митя. — Наверно. Тогда я выбираю вон те два красных огня на вершине. И что теперь делать?

— Лететь.

Митя потоптался на месте, потом перелез через ограждение борта, схватился за привязанную к флагштоку короткую веревку и раскрыл крылья. Ветер рывком подхватил его тело, и он стал похож на поднятый на корме темный флаг или взлетевшего над ней воздушного змея. Он разжал пальцы, катер поплыл вперед и вниз; стали видны три фигурки на заваленной складными спасательными плотами верхней палубе. Когда рядом появился Дима, катер уже был просто светлым пятнышком внизу, и Митя перевел взгляд на гору.

Впереди был отвесный каменный склон. Когда он оказался достаточно близко, лететь пришлось почти вертикально вверх, и через несколько минут этого воздушного восхождения внезапно изменилась перспектива — Мите стало казаться, что склон горы уходит не вверх, а вдаль и что он летит на небольшой высоте над каменной пустыней, где в лунном свете

различим каждый выступ и каждая трещина; красные огни на вершине стали похожи на лампы далекого железнодорожного семафора.

Ему в спину ударил ветер, и он чуть не врезался в каменный выступ, далеко отходящий от поверхности горы. После этого он полетел медленнее. Иногда в трещинах скалы появлялись кусты, которые казались согнутыми сильным ветром; стоило напомнить себе, что на самом деле они, как и положено, тянутся вверх, и пустынная равнина внизу превращалась в каменную стену, но стоило только перестать напоминать себе об этом, и внизу опять появлялась бесконечная пустыня, по которой неслись, растягиваясь и искривляясь на выступах и трещинах, две длинные черные тени. Митя поднял глаза — впереди уже не было никаких красных огней.

Луна ушла за край облака, и каменистая равнина, над которой они летели, показалась ему крайне мрачной. Далеко за ее границей горели огни нескольких прибрежных поселений, похожие на звезды с какого-то незнакомого неба. Митя еще раз посмотрел в темную пустоту впереди и почувствовал внезапный беспричинный страх и желание развернуться.

— Слушай, — сказал он молча летящему рядом Диме, — а куда мы сейчас направляемся? Огней ведь уже нет.

— Как это нет, — сказал Дима, — если мы к ним летим.

Опять вышла Луна, на каменной поверхности склона появились короткие резкие тени выступов. Митя ощутил тоску и беспокойство, помотал головой и понял, что уже долгое время слышит странный пронзительный лай. Этот лай был очень громким, но таким тонким, что ощущался не ушами, а животом. Иногда лай стихал, и ему на смену приходил не то вой, не то свист, от которого к горлу подступала легкая тошнота.

— Слышишь? — спросил он Диму. — Что это?

— Летучая мышь, — ответил Дима.

Митя даже не успел испугаться — на залитом Луной каменном склоне, перекрывая несущиеся вверх тени, мелькнула еще одна — огромная, размытая по краям и бесформенная. Митя с Димой метнулись к скале и с разгона плюхнулись на крохотную площадку, где росло несколько маленьких кустов. Свист сразу же стих.

— Не шевелись, — прошептал Дима.

— Она нас заметила?

— Конечно, — сказал Дима. — Если ты ее услышал, то она тебя и подавно.

— Она слышит, как мы говорим?

— Нет, — сказал Дима. — У нее очень интересные взаимоотношения с реальностью. Она сначала кричит, а потом вслушивается в отраженный звук и делает выводы. Так что если не шевелиться, она может оставить нас в покое.

Несколько минут они стояли молча. Вокруг было тихо, только снизу долетал слабый шум моря. Потом издали донесся прежний свист.

— Помнишь вопрос, который я тебе задал? — спросил Дима. — На счет того, какой свет отражает Солнце.

— Помню.

— На самом деле и Солнце, и свет тут ни при чем. О том же самом можно сказать по-другому. Взять хотя бы то, что происходит с нами прямо сейчас. Как ты думаешь, что видит летучая мышь, когда до нее долетает отраженный от тебя звук?

— Меня, — вглядываясь в небо, ответил Митя.

— Но ведь звук ее собственный.

— Значит, не меня, а свой звук.

— Тогда выходит, что ты просто один из звуков, издаваемых летучей мышью. Так сказать, куплет из ее песни. А что такое летучая мышь?

Митя почувствовал, как от несущегося со стороны моря свиста слабеют ноги и наезжают одна на другую мысли в голове. Далеко в небе мелькнуло темное пятнышко, и свист стал громче; Митя животом различил в нем запредельную, на две октавы выше всего слышанного в жизни, мелодию.

— Подумай, — тихо сказал Дима, — чтобы исчез ты, летучей мыши достаточно перестать свистеть. А что нужно сделать тебе, чтобы исчезла летучая мышь?

Он оттолкнулся от края площадки и головой вперед бросился вниз.

Митя прыгнул следом, и в то место, где он только что стоял, врезалась, с треском ломая кусты, тяжелая черная масса.

Несколько метров он неуправляемо падал вниз, а потом затормозил и быстро полетел вдоль склона, почти цепляя за него крыльями. Дима исчез.

Сзади опять долетел тошнотворный свист. Митя оглянулся и увидел ныряющую вверх-вниз темную тень. Пролетев еще с десятков метров, он заметил узкую расщелину в скале и метнулся к ней. Втиснувшись внутрь, он вжался в неровности камня и замер. Несколько минут было тихо, и он слышал только собственное громкое дыхание; а потом со стороны моря опять долетел свист, и почти сразу же темная масса мягко врезалась в скалу, закрыла просвет, и в нескольких сантиметрах от его лица полоснула воздух черная когтистая лапа. Митя мельком увидел серую широкоскулую и остроухую морду с маленькими глазками и огромной зубастой пастью, похожей на радиатор «Чайки». Мышь зашуршала крыльями по скале и исчезла, и от всего этого события у Мити осталось такое ощущение, что в расщелину, где он прятался, попыталась въехать мягкая и мохнатая правительственная машина, управляемая полуслепым шофером. «Вот так, — подумал он. — Как только понимаешь, что живешь в полной темноте, из нее немедленно появляются летучие мыши... Что я могу сделать, чтобы она исчезла? Чтобы исчез я, ей достаточно перестать свистеть, потому что я для нее просто звук. Чтобы исчезла она... Может, тоже надо перестать что-то делать? А что я сейчас делаю для того, чтобы она возникла?»

Митя зажмурился и неожиданно увидел яркий бело-голубой свет. В первый момент ему показалось, что он не закрыл глаза, а, наоборот, открыл их — как будто закрыты они были раньше, и вдруг, открывшись от страха, впервые заметили что-то такое, что находилось перед ними всегда, но было настолько ближе всего остального, что становилось из-за этого невидимым. Одновременно в его голове пронеслось мгновенное воспоминание о давно прошедшем дне, когда он шел по серому ноябрьскому парку, над которым ползли с севера низкие многотонные облака. Он шел и думал о том, что еще несколько дней такой погоды, и небо опустится настолько, что будет, как грузовик с пьяным шофером, давить прохожих, а потом поднял глаза и увидел в облаках просвет, в котором мелькнули другие облака, высокие и белые, а еще выше — небо, такое же, как летом, до того синее и чистое, что сразу стало ясно — с ним, небом, никогда и никаких превращений не происходит, и какие бы отвратительные тучи ни слетались на праздники в Москву, высоко над ними всегда сияет эта чистая неизменная синева.

Было большой неожиданностью увидеть в самом себе нечто похожее, так же мало затрагиваемое происходящим вокруг, как одинаковое в любое время года небо — ползущими над землей тучами.

«Весь вопрос в том, — подумал Митя, чувствуя странную отрешенность, — откуда смотреть. Стоп. А кто, собственно, смотрит?»

Он открыл глаза и увидел, что стоит в пятне ярко-синего света, словно на нем скрестились лучи нескольких прожекторов. Но никаких прожекторов нигде не было — источником света был он сам. Митя поднял перед лицом руки — они сияли ясным и чистым синим светом, вокруг них уже крутились крошечные серебристые мушки, непонятно откуда взявшиеся на такой высоте над морем. Шагнув в пустоту, он полетел вверх, и за все время, пока он поднимался к вершине, в голову ему не пришло ни одной мысли о том, что где-то в мире существуют летучие мыши.

Вершина оказалась небольшой плоской площадкой, на которой росло несколько мелких кустов боярышника и торчал стальной шест маяка. Две красные лампы, до этого скрытые длинным каменным выступом, опять стали видны. Они вспыхивали попеременно, и черные тени кустов меняли направление, будто на землю падала тень раскачивающегося в воздухе маятника. Под шестом с лампами стояли две непонятно откуда взявшиеся складные табуретки, на одной из них сидел Дима. Митя сел рядом и поднял глаза на мигающие сверху лампы. Воздух возле ламп трещал от крыльев сотен неведомых насекомых, безуспешно пытающихся пробиться сквозь толстое ребристое стекло к самому истоку света.

— Куда же все-таки она делась? — спросил Митя.

— Ты про мышь? Куда она могла деться. Вон она летает.

Дима показал на крохотный черный комок, ныряющий вверх и вниз

на границе освещенного участка. Митя посмотрел в ту сторону, а потом перевел взгляд на свои руки — они по-прежнему были окружены ровным голубоватым сиянием. Он вынул из нагрудного кармана лист бумаги и развернул его на колене.

— Сейчас, — сказал он внимательно глядящему на него Диме, — сейчас. Это закладка из книги. Я на ней пометки делал. Четыре строчки дописать.

Минуту или полторы он писал, потом быстро сложил из листа самолетик, встал, подошел к обрыву и пустил его — тот сначала нырнул вниз, а потом круто взмыл вверх и пошел вправо, туда, где остался поселок.

— Что это ты? — спросил Дима.

— Так, — сказал Митя. — Мистический долг перед Марком Аврелием.

— А... это бывает.

— Я сейчас почти понял, — сказал Митя, — кто мы такие на самом деле. Мы...

— Вряд ли имеет смысл говорить об этом вслух, — сказал Дима. — И потом: ведь ничего вокруг тебя не изменилось. Мир остался прежним. Мотыльки летят к свету, комары — на запах крови, мухи — к своим помойкам, и все это в полной тьме. Да ты и сам не особо изменился. Тебе еще много раз придется заново понимать то, что ты сейчас понял. Но ты уже про это не забудешь, верно?

— Конечно, — ответил Митя. — Вот только одно мне неясно. Я стал светлячком только что или на самом деле был им всегда?

8. УБИЙСТВО НАСЕКОМОГО

— И под конец, — с явным удовольствием рассказывал Артур, глядя на Арнольда, подставившего голову под хлещущий кран, — ты закричал на все отделение: «Американские комары наших мух е..., а мы смотреть будем?»

Арнольд закрыл лицо руками, и вода потекла по его предплечьям, закручиваясь на локтях и двумя потоками падая на кафель.

— Но самое интересное, что в милиции к тебе отнеслись с явным сочувствием, — сказал Артур, — и даже деньги отдали, что бывает очень редко. Ты хоть что-нибудь помнишь?

Арнольд отрицательно потряс головой.

— Минуты три назад еще помнил, — сказал он, закрывая кран и кое-как расправляя на голове волосы. — А сблевал последний раз, и сразу все как отрезало. И вообще, хватит. Проехали.

— Ладно, — сказал Артур. — Проехали так проехали. Ты мне только скажи, чего тебя на приключения потянуло? Ты же видел, что с Сэмом было.

— Даже не знаю, — сказал Арнольд. — Взял чемодан, смотрю — клиент как бревно лежит. Интересно стало. Я подумал — неужели и на меня действует? Напился, вылетаю — вроде ничего. Ну, думаю, слабый парень этот Сэм. Полетел, значит, с вами встречаться, а потом... Помню только, как Сэма за столом увидел. А что это с ним была за девушка?

— Не знаю, — сказал Артур. — Я и сам не понял. Бац, а она уже за столом. Они сейчас очень проворные. Готов?

Арнольд остановился у зеркала, привел себя, насколько возможно, в порядок и положил на тумбочку перед неподвижной старушкой мятый рубль. Выйдя из душевого павильона, приятели направились в сторону моря.

— Слушай, — сказал Артур, — до вечера все равно делать нечего. Давай Арчибальда навестим?

— А он все там же?

— Вроде да, — сказал Артур. — Я иногда прохожу мимо его кибитки, только зайти все недосуг. Но дверь открыта.

Через несколько минут они подошли к стоящему прямо на газоне бревенчатому домику, повернутому приоткрытой дверью к набережной. Домик был очень маленьким и казался перенесенным сюда с неведомой детской площадки; над его дверью красовалась вывеска — красный крест, полу-

месяц и большая капля крови, а сверху была красная надпись «Донорский пункт».

Артур толкнул дверь и вошел внутрь; Арнольд последний раз пригладил волосы и шагнул следом.

Внутри было полутемно. Напротив двери помещался невысокий прилавок, на котором стояло несколько банок медицинского вида и электрокипятильник для шприцев, а за ним, у стены, располагалась пыльная конструкция из стеклянных сосудов, соединенных трубками из оранжевой резины. Арнольд знал, что это нагромождение пробирок и колб совершенно бессмысленно и служит просто декорацией, но все равно ощутил специфический дух больницы. За прилавком никого не было. На стене висело объявление, тоже пыльное, выведенное через трафарет шариковой ручкой:

БРАТЯ И СЕСТРЫ!

Ваша кровь нужна другим. Научные исследования доказали, что регулярная сдача крови положительно сказывается на половой функции и увеличивает продолжительность жизни. Выполните свой нравственный, гражданский и религиозный долг!

100 граммов — 250 руб.

150 граммов — 400 руб.

200 граммов — 550 руб.

После сдачи крови бесплатно выдается шоколад «Финиш». Регулярные сдачки получают значок «Заслуженный донор» и памятную грамоту.

Арнольд прошел за прилавок и выглянул в полуоткрытую дверь. За дверью зеленел небольшой тихий оазис — это был участок газона, со всех сторон закрытый густыми зарослями кустов, так что попасть туда можно было только из домика. В центре зеленого пятка стоял маленький круглый мужчина в белом халате и шапочке. У него в руках был пластмассовый вертолет, насаженный на штырь с леской, и в тот самый момент, когда Арнольд выглянул из двери, он изо всех сил дернул леску.

Винт вертолета превратился в прозрачный круг, игрушка взмыла в воздух. Мужчина задрал голову, издал тихий счастливый смех и несколько раз невысоко подпрыгнул на месте от восторга. Вертолет повис в воздухе, стал косо падать и исчез за кустами. Мужчина кинулся к двери и чуть не налетел на Арнольда. Остановясь, он выпучил глаза.

— Арнольд! — сказал он и выронил штырь с леской на траву.

— Здорово, дружище, — сказал Артур, появляясь из двери.

— Привет, ребята, — сказал Арчибальд, растерянно бегая глазами по гостям и по очереди пожимая им руки. — Вот хорошо, что зашли. Я уж думал, вы уехали куда. Как дела? Чем занимаетесь?

— Дела отлично, — ответил Артур. — Совместное предприятие с американцами делаем. А ты как?

— У меня все по-старому, — сказал Арчибальд, — сейчас, ребята. Подождите.

Он нырнул в дверь и через минуту появился с большой ретортой, полной темно-красной жидкости, и тремя стаканами. Поставив стаканы на траву, он до краев налил их, поднял свой и сделал большой глоток. Артур с Арнольдом тоже отхлебнули.

— Ну и дрянь, — поморщившись, сказал Артур. — Ты извини, конечно. Но как ты можешь это пить, с консервантом?

— А что делать? — развел руками Арчибальд. — Иначе за день сворачивается.

— Что ж ты, так и живешь? Да ты когда свежую кровь пил последний раз?

— Вчера, — сказал Арчибальд, — пятьдесят грамм. Я, когда клиентов много, тоже себе позволяю.

— Из стакана, — фыркнул Артур. — Какой ты комар после этого? Что бы твой отец сказал, если бы увидел?

— Да какой я комар, — извиняющимся тоном проговорил Арчибальд, — так, слово одно. Мать была божья коровка, вот только крест от нее остался, — он вытянул из-за ворота халата золотую цепочку, — а отец таракан. Я вообще непонятно кто.

— И нравится тебе быть непонятно кем?

Арчибальд одним глотком допил кровь и задумчиво повертел стаканом в воздухе.

— Непонятно кем? — переспросил он. — Не знаю. Нравится, наверно. Тихо, покойно. Конечно, когда молодой был, не думал, что этим кончится. Все казалось, стою на пороге чего-то удивительного, нового, и вот только еще немного... — он запнулся, подыскивая слово, и пошевелил пальцами в воздухе, словно пытаясь показать, чему именно он хотел когда-то посвятить еще немного времени, — еще чуть-чуть, и переступлю. Н-да. А порог оказался...

Он кивнул головой в сторону двери, ведущей в избушку.

— А ты ведь не сдался еще в душе, — сказал Артур, — я как этот вертолетик увидел, так все и понял. Слушай, я тебе вот что предлагаю. Ты запри свою кибитку часа на два и давай на пляж слетаем. Попьем нормальной крови, проветримся. А?

— Отпадает, — сказал Арчибальд. — Я и ста метров сейчас не пролечу.

— Брось, — сказал Артур. — Пролетишь. Если не будешь самовнушением заниматься. Ты себя просто настроил так.

— Бросьте, ребята.

— Полетели, полетели, — заговорил Арнольд. — Мы тебя, если надо, подстрахуем.

Выпитая кровь уже начала действовать на Арчибальда. Он засмеялся, встал, качнулся и опрокинул колбу с кровью, но не обратил на это внимания.

— Хорошо. Сейчас, дверь запру только, — сказал он и скрылся в своем домике.

Арнольд наклонился к Артуру и прошептал:

— Слушай, зря ты это начал. Может, уйдем, пока не поздно?

— Поздно, — шепотом ответил Артур.

И действительно, было уже поздно — появился Арчибальд. Он успел переодеться — теперь на нем были тяжелые туристские ботинки, военная рубашка и джинсы, перетянутые офицерской портупеей; в руке у него была зачехленная гитара, из-за которой он походил на рано постаревшего итээра, собравшегося на слет клуба самодеятельной песни.

— Заморим червячка, — жизнерадостно сказал он. — Куда?

— Пролетим над пляжем, — сказал Артур, — сориентируемся.

Внизу медленно проплыла набережная, мелькнули крыши раздевалок и открылся берег, на котором шевелились сотни белых тел. Запах моря смешивался с множеством других пляжных запахов; теснота, с которой лежали отдыхающие, напоминала о заводской бане, и желания приземлиться ни у Артура, ни у Арнольда не возникло.

— Может быть, в заповедник? — предложил Артур, кивая хоботком в сторону далеких скал. — Там народу меньше.

— Егерь пристанет, — сказал Арнольд.

— Он там не бывает никогда.

— А клиента найдем?

— Один-два всегда есть, — сказал Артур, наклонил голову и полетел вперед, стараясь двигаться не очень быстро, но и не настолько медленно, чтобы Арчибальд понял, что его шадят.

Берег изгибался длинной дугой, и друзья полетели по прямой, над морем. Сначала Арчибальд наслаждался полетом и искренно досадовал на то, что уже столько лет добровольно лишает себя наслаждения, доступного в любой момент, но когда скопившаяся в мышцах усталость разогнала ударившую в голову кровь, он посмотрел вниз и обомлел.

Под его поджатými к брюшку лапками («Господи, какие худые!» — подумал он) и зажатой в них гитарой, похожей на ракету «Хаунд дог» под брюхом бомбардировщика Б-52, расстилалось море — оно было очень далеко, и волны на нем казались неподвижными. Берег оказался на таком расстоянии, что Арчибальд понял — свались он сейчас вниз, вплюв в него не до доберется ни за что. Его охватил страх, и он стал смотреть в небо.

Артур с Арнольдом были в превосходном настроении и коротко обменивались впечатлениями дня; про него словно забыли. Они отлетали все

дальше от берега, и Арчибальд стал ощущать короткие приступы паники. От страха он тратил массу лишних усилий, махая крыльями намного быстрее, чем требовалось; сначала он решил, что все-таки сумеет долететь до заповедника, и уже почти успокоился, решив никогда больше не ввязываться в такие приключения, как вдруг что-то сильно толкнуло его в лицо и грудь.

Арчибальд зажмурился от рези в глазах, поднес к ним одну лапку и протер их — вся лапка, когда он поглядел на нее, оказалась покрытой грубым папиросным табаком. Табак запорошил глаза и рот, забился в волосы и в большом количестве попал за шиворот, но задуматься, откуда он мог взяться на такой высоте и в таких количествах, Арчибальд не успел, потому что гитара неожиданно стала очень тяжелой, а в спине возникла настолько острая боль, что было ясно — еще полсотни метров, и крылья откажут.

— Ребята, — тихо позвал он улетевших вперед Артура с Арнольдом и, осознав, что его не слышат, закричал изо всех сил:

— Ребята!!

Те обернулись и сразу все поняли.

— До берега дотянешь? — торопливо подлетая, спросил Артур.

— Нет, — задыхаясь, ответил Арчибальд, — я сейчас... я...

Перед глазами все слилось в мутное бессмысленное пятно; последним, что он различил, была крошечная белая лодочка прогулочного теплохода на темно-синей поверхности воды.

— Так, Арнольд, давай его... Садимся на авианосец. До палубы дотянешь?

Эти слова донеслись до Арчибальда из другого измерения — в его мире не оставалось уже ни высоты, ни палубы, ни необходимости куда-нибудь дотянуть. Потом он почувствовал, что кто-то трясет его за плечо, открыл глаза и увидел лица Артура и Арнольда.

— Арчибальд, — позвал Артур, — ты меня слышишь?

Арчибальд молча приподнялся на локтях. Он лежал на верхней палубе катера, среди оранжевых спасательных плотов — по цвету они так напоминали пыльные резиновые трубки, висящие на стене у него дома, что ему сразу стало спокойно и горько. Под головой у него была гитара, а рядом сидели на корточках Артур с Арнольдом. Теплоход слегка покачивало; с нижней палубы сквозь шум мотора пробивались голоса пассажиров.

— Ну ты даешь, — сказал Арнольд. — Мы тебя в последний момент поймали. У тебя что, высотобоязнь?

— Типа того, — ответил Арчибальд.

— Над морем ниже лететь опасно, — сказал Артур. — Чайки.

Он кивнул в сторону кормы, над которой неподвижно висело несколько белых птиц — они летели с той же скоростью, что и катер, но совсем не махали крыльями и казались из-за этого эмблемами с кулис невидимого МХАТа. Время от времени с палубы бросали в море конфету или печенье, и тогда одна из птиц чуть поворачивала крылья и уносила назад, превращаясь в покачивающееся на воде белое пятнышко, а ее место над кормой занимала другая.

С кормы в небо взмыли две темных тени и унеслись вверх. Это произошло так быстро, что ни Артур, ни Арнольд ничего не заметили.

— Красиво, — сказал Арчибальд и попытался встать.

— Пригнись, — скомандовал Артур, — из рубки увидят.

После нескольких эволюций Арчибальд встал на четвереньки, лицом к белой полосе пенного следа.

— Господи, — сказал он, — как я живу! Я ведь неправильно живу!

— Успокойся, — велел Артур. — Только без истерики. Мы — тоже.

— Море, — медленно и членораздельно сказал Арчибальд, — катер идет. Чайки. И все это рядом. А я... На палубу вышел, а палубы нет...

Вдали, у горы, мимо которой шел теплоход, из моря поднималось несколько плоских камней; на вершине одного из них мелькнули два обнаженных тела и сразу исчезли за наехавшей скалой. Арчибальд издал нечленораздельный стон — словно из глубин его сердца вырвалась на свободу вся долго копившаяся ненависть к себе, к своему жирному дряблему телу и бессмысленной жизни, — и, прежде чем приятели успели среагировать, он схватил гитару и бросился в воздух.

Его сознание превратилось в подобие ракетной системы наведения — там остался только плоский камень с двумя лежащими на нем телами, который становился все ближе и наконец заполнил собой все пространство; тогда новой целью стала стремительно несущаяся на него голая женская нога — Арчибальд ощутил, как его хоботок выпрямился и налился давно забытой силой; он громко зажужжал от счастья и с размаху всадил его в податливую кожу, подумав, что Артур с Арнольдом...

Но с неба вдруг упало что-то страшно тяжелое, окончательное и однозначное, на миг вспыхнул невыносимо яркий свет, и думать стало некому, нечего, нечем, да и особо незачем.

— Я не хотела, — повторяла заплаканная Наташа, прижимая к груди скомканное платье, — не хотела! Я ничего даже не заметила!
— Никто никого и не обвиняет, — сухо сказал мокрый Артур. — Это просто несчастный случай. Очень несчастный.

Сэм молча обнял Наташу за плечи и развернул ее, чтобы она больше не могла смотреть на то, что совсем недавно ходило по земле, радовалось жизни, сосало кровь и называло себя Арчибальдом. Сейчас это был мятый ком кровавого мяса, кое-где прикрытый тканью, из центра которого торчал треснутый гриф гитары — ни рук, ни ног, ни головы уже нельзя было различить.

— Ехали на катере, — сказал мокрый Арнольд, — и он вдруг ни с того ни с сего как взлетит. И с такой скоростью — мы его даже догнать не смогли. Кричали вам, кричали. А когда подлетели... Вы ведь и не заметили ничего. А его назад в море отнесло. Полчаса искали.

— Если кто-нибудь виноват, — сказал Артур, — так это мы. Он сначала никуда не хотел лететь, словно чувствовал. Но потом согласился. Наверное, просто решил красиво умереть.

— Может быть, — сказал Арнольд. — А что это он сказал про палубу?

— Это из песни, — ответил Артур. — На палубу вышел, а палубы нет. В глазах у него помутилось. Увидел на миг ослепительный свет. Упал, сердце больше не билось...

— Да, — сказал Арнольд. — Когда-нибудь и нас это ждет.

Ему в щеку ударило что-то легкое и острое, и он рефлекторно поймал маленький самолетик, сложенный из исписанного листа бумаги. Арнольд поглядел вверх — над ним возвышалась почти отвесная каменная стена, ухидившая вверх не меньше, чем на сто метров. Он развернул самолетик (линии, по которым тот был сложен, расходились из верхней части листа, как лучи, но точка, из которой они начинались, была за краем листа) и прочел следующее:

ПАМЯТИ МАРКА АВРЕЛИЯ

1. Трезвое и совершенно спокойное настроение
Не приводит к появлению подтянутых строк.
А стихи надо писать со всем стремлением,
Как народный артист выпиливает брелок.

2. А тут идет дождь, и совершенно нет сил, чтобы
Сосредоточиться. Лежишь себе, лежишь на спине,
И не глядя ясно, что в соседнем доме окна желты,
И недвижимый кто-то людей считает в тишине.

3. Так и лежишь. Думаешь, думаешь о трехметровой яме,
Хоть и без нее понятно, что любая неудача или успех —
Это как если б во сне ты и трое пожарных мерились телами,
И оказалось бы, что у тебя короче или несколько длинней,
чем у всех.

4. Размышляешь об этом, выполняя назначенную судьбой
работу,
И все больше напоминаешь себе человека, построившего весь
расчет
На том, что в некоей комнате и, правда, нет никакого комода,
Когда на самом деле нет никакой комнаты, а только Коммод.

5. Бывает еще, проснешься ночью где-нибудь в полвторого
И долго-долго глядишь в окно на свет так называемой Луны,
Хоть давно уже знаешь, что этот мир — галлюцинация
наркомана Петрова,
Являющегося, в свою очередь, галлюцинацией какого-то
пьяного старшины.

6. Хорошо еще, что с сумасшедшими возникают трения,
И они гоняются за тобой с гвоздями и бритвами в руках.
Убегаешь то от одного, то от другого, то от третьего
И не успеваешь почувствовать ни свое одиночество, ни страх.

7. Вообще, хорошо бы куда-нибудь спрятаться и дожидаться лета,
И вести себя как можно тише, а то ведь не оберешься бед,
Если в КГБ поймут, что ты круг ослепительно-яркого света,
Кроме которого во Вселенной ничего никогда не было и нет.

Последнее четверостишие было приписано косым размашистым почерком, явно в спешке. «КГБ» было зачеркнуто, сверху было написано «АФБ» и тоже зачеркнуто, а рядом стояли тоже зачеркнутые «МБВД» и «МБР».

9. ЧЕРНЫЙ ВСАДНИК

Максим прикрыл за собой калитку, поглядел вперед и окаменел. Из-за кустов шиповника к нему медленно шел хозяйский волкодав — задумчивый и тихий, с печальными красными глазами; изо рта у него свисало несколько блестящих, как брильянтовые подвески, нитей слюны, из-за чего он слегка напоминал заколдованную принцессу. Волкодав с сомнением поглядел на Максиму красную пилотку с желтой кисточкой и жирной шариковой надписью «Viva Duce Mussolini» и уже открыл пасть, чтобы гавкнуть, но увидел высокие офицерские сапоги, которые Максим тщательно начистил утром, и несколько успокоился.

— Банзай! — крикнула простоволосая женщина в халате, появляясь из-за кустов вслед за собакой. — Банзай!

— Банзай! — радостно крикнул Максим в ответ, но то, что он принял за неожиданный и тем более прекрасный духовный резонанс, оказалось недоразумением — женщина не приветствовала его, как он решил в первый момент, а звала собаку. Максим звучно кашлянул в кулак и подумал, что он всегда ошибается в людях, думая о них слишком хорошо.

— Я извиняюсь, — сказал он поставленным баритоном, — а Никита дома?

Хозяйка, не отвечая, потащила оглядывающуюся собаку назад. Максим деликатно постучал в окно, затунованное изнутри рулонной фольгой. В фольге приоткрылся маленький квадратик черноты, и в нем появился внимательный глаз с сильно расширенным зрачком. Потом квадратик закрылся, а из-за расположенной у окна двери донесся скрежет отодвигаемой тумбочки. В щели появилось увитое редкой волнистой бородкой бледное лицо Никиты. Сначала Никита поглядел на Максима, и только убедившись, что никого и ничего больше за дверью нет, снял цепочку.

— Заходи, — сказал он.

Максим вошел. Пока Никита запирает дверь и придвигал к ней тумбочку, Максим огляделся. Никаких изменений в обстановке не произошло, лишь появился где-то подобранный Никитой стенд «Средства воздушной агрессии империализма», покрытый большими черно-белыми фотографиями самолетов, — он был прислонен к груде слежавшегося хлама, в котором Максиму удавалось идентифицировать несколько старых подрамников. Лежащий у стены матрас, на котором Никита спал, был накрыт несколькими одеялами, а поверх них была расстелена газета с целой горой плана: по темно-зеленому, с рыжеватинкой цвету Максим классифицировал его как сильно пересушенную северо-западную чуйку урожая конца прошлой весны; куча была большая, примерно на два стакана и семь кораблей, и Максим ощутил простую и спокойную радость бытия, перешедшую затем в чувство уверенности не только в завтрашнем дне, но и как минимум в двух следующих неделях. Рядом с газетой лежали

большая лупа, лист бумаги, на котором зеленели какие-то точки, и любимая Никитина книга «Звездные корабли», раскрытая посередине.

— У тебя папиросы есть? — спросил Никита.

Максим кивнул и вынул из кармана пачку «Казбека».

— Задуй тогда сам, — сказал Никита, взял лупу и склонился над листом.

Максим присел на корточки возле газеты и распечатал папиросы. Черный всадник на пачке тревожил его душу, и Максим, вынув несколько папирос, спрятал пачку назад в карман. Взяв папиросу, он повернул ее серой головкой в сторону стенда и сильно дунул в мундштук. Табачная пробка вылетела из бумажного цилиндра и с силой ударила в один из черных самолетов — прочитав подпись, Максим понял, что попал в бомбардировщик Б-52 «Стратофортресс» с подвешенной ракетой «Хаунд дог».

— Цель уничтожена, — прошептал он, зажал папиросу в губах, наклонился над кучей плана и стал засасывать его в гильзу.

Никита, признанный мастер пневмозабивки, смотрел на действия Максима мрачно и даже немного брезгливо, но никак их не комментировал. Он был сторонником несколько другой техники, при которой на дне папиросы оставлялось немного табаку. Дело было не столько в том, что при такой методике план не попадал в рот, сколько в преемственности по отношению к поколению шестидесятников, которых Никита очень уважал, а Максим, как и все постмодернисты, не ставил ни во что — поэтому, забывая косяк, он просто перекручивал папиросную бумагу у начала картонного мундштука, в результате чего получалась так называемая бестабачная пятка.

Задув три косяка, Максим протянул один Никите, вторым вооружился сам и чиркнул спичкой.

— Хороший, — сказал он, затянувшись два раза, — но все-таки не план Маршалла. Ближе к тайному плану мирового сионизма, а?

— Я бы не сказал, — отозвался Никита. — Скорее, ленинский план вооруженного восстания.

— А, — встрепнулся Максим, — вроде того, который он в Разливе выращивал и морячкам давал?

— Ну. Еще был план ГОЭЛРО.

— ГОЭЛРО? — переспросил Максим. — Какой на той неделе курили? Мне не понравился. От него потом желтые круги перед глазами.

— Еще там был ленинский кооперативный план, — бормотал Никита, — план индустриализации и план построения социализма в отдельно взятой стране.

— А где — «там»? Там, где ты брал, или у Ленина?

— Да, — сказал Никита.

— А шалаш, — догадался Максим, — так назывался, потому что весь из шалы был сделан!

— Но плана Маршалла там не было, — заключил Никита.

Планом Маршалла назывался один удивительный сорт с Дальнего Востока, который в прошлом году проходил на дальней периферии Никитино мира, там, где уже начинались сложные уголовные расклады, и за траву гораздо охотнее брали патроны для «Макарова», чем деньги. Плана Маршалла перепало совсем немного, но он так запомнился, что каждую новую партию неизбежно сравнивали с ним.

Добив косяк, Никита взял лупу и склонился над листом бумаги, усыянным зелеными точками.

— Что это ты разглядываешь? — поинтересовался Максим.

— А это конопляные клопы, — сказал Никита.

— Какие конопляные клопы?

— Никогда не видел? — меланхолично спросил Никита. — Ну так посмотри.

Максим переместился поближе к листу бумаги. На нем лежали обломки сухой конопля примерно одного размера, миллиметра в два-три длиной, состоявшие из черенка листа и миллиметрового отрезка ножки — все они были одинаковой треугольной формы. Максим прикинул, сколько времени у Никиты должно было уйти на то, чтобы просеять целую гору травы, собирая эти кусочки, и с уважением посмотрел на приятеля.

— Так это ж шалашка, — сказал он, — какие это клопы.

— Я тоже так думал, — сказал Никита. — А ты в лупу посмотри.

Максим взял лупу и склонился над листом. Сначала он не замечал ничего необыкновенного в увеличившихся в несколько раз обломках листьев, но потом увидел на них странные симметричные полоски и внезапно узнал в этих полосках прижатые к брюшку лапки. И сразу же, как это бывает с ребусами, где нужно выделить осмысленный рисунок в хаотическом переплетении линий, произошла удивительная трансформация — весь лист, который только что был покрыт конопляным сором, оказался усеянным небольшими плоскими насекомыми бурозеленого цвета, с длинной продолговатой головкой (ее Максим принимал за обломок ножки листа), треугольным жестким тельцем (у клопов были, видимо, рудиментарные крылья — можно было даже различить разделяющую их тоненькую линию) и лапками, которые были поджаты к телу и сливались с ним.

— Они дохлые, — спросил Максим, — или спят?

— Нет, — ответил Никита. — Это они притворяются. А если на них долго не смотреть, то они ползать начинают.

— Никогда бы не подумал, — пробормотал Максим. — Во, точно. Один шевелится. И давно ты их заметил?

— Вчера, — сказал Никита.

— Сам?

— Не, — сказал Никита. — Показали. Я тоже не знал.

— А много их в траве?

— Очень, — сказал Никита. — Считаю, в каждом корабле штук двадцать. Это как минимум.

— А почему ж мы их раньше не замечали? — спросил Максим.

— Так они же очень хитрые. Даже примета есть — за день до того, как менты придут, они бегут с корабля, ну, короче, как крысы. Поэтому умные люди как делают — берут коробок травы, кладут его на шкаф, а сверху накрывают трехлитровой банкой. И если клопы выползают и залезают на стенки, умные люди сразу собирают всю траву и везут на другой флэт.

— Выходит, — сказал Максим, — они в каждом косяке есть?

— Практически да. Замечал — бывает, когда куришь, что-то трещит? И запах меняется?

— Так это же семена, — сказал Максим.

— Вот, — сказал Никита, — я тоже так думал раньше. А вчера специально косяк забил одними семенами — ничего подобного.

— Так что, это...

— Да, — сказал Никита. — Они.

Косяк в руке Максима щелкнул и выпустил тонкую и длинную струю дыма, словно в нем произошло извержение микроскопического вулкана. Максим испуганно поглядел на папиросу и перевел взгляд на Никиту.

— Во, — сказал Никита. — Понял?

— Так это ж на каждом косяке бывает раза по три, — побледнев, сказал Максим.

— О чем я и говорю.

Максим замолчал и задумался. Никита сел на пол и стал надевать кеды.

— Стремак, — сказал он. — Надо погулять пойти. У тебя часы есть?

— Нету.

— Тогда включи радио. Там объявят.

Максим протянул руку к старому ВЭФу и щелкнул ручкой. Передавали новости.

— «Выступая на сессии Организации Объединенных Наций, — заговорил ксилофонический женский голос, — король Иордании Хусейн отметил, что американский план ближневосточного урегулирования представляется ему малоэффективным. Он заявил, что у арабских народов имеется свой план, о котором необходимо шире информировать международную общественность...»

Никита нагнулся над приемником и выключил его.

— Не дождемся, — сказал он. — Лучше на улице спросим. Еще косяк возьмем?

— Не вопрос, — сказал Максим и сунул папиросу в карман.

Никита задержался у двери.

— Стой, — сказал он, с сомнением глядя на Максима, — так не пойдет.

— Чего не пойдет?

— Вид у тебя стремный, вот чего. Переверни пилотку.

Максим послушно снял пилотку и нацепил ее желтой кисточкой вперед. Никита остался доволен и открыл дверь.

На улице дул ветер и было прохладно. Недавно прошел дождь, но асфальт уже успел высохнуть. Максим с Никитой вышли на дорогу и двинулись в гору, по направлению к блестящим воротам, образованным трубой теплоцентрали, которая выгибалась над дорогой в форме буквы «П».

— Слушай, — сказал Никита, — туда не пойдем.

— А чего?

— Вон, видишь, — сказал Никита, указывая на арку. — Что это за «пэ» такое?

Максим поглядел вперед.

— Брось, — сказал он, — это у тебя думка начинается. Идем.

Но после Никитиных слов проходить под буквой «П» было довольно страшно, и Максим с Никитой перелезли через трубу в нескольких метрах справа от арки, намочив штаны в сырой траве и вымазав ноги в грязи. Никита внимательно посмотрел Максиму на ноги.

— Чего это ты в сапогах ходишь? — спросил он.

— В образ вхожу, — ответил Максим.

— В какой?

— Гаева. Мы «Вишневый сад» ставим.

— Ну и как, вошел?

— Почти. Только не все еще с кульминацией ясно. Я ее до конца пока не увидел.

— А что это? — спросил Никита.

— Ну, кульминация — это такая точка, которая высвечивает всю роль. Для Гаева, например, это то место, когда он говорит, что ему службу в банке нашли. Представляешь, он сидит на бильярде, обитом валенками, а все остальные стоят вокруг с тятками в руках. Гаев их медленно оглядывает и говорит: «Буду в банке». И тут Жюстина надевает ему на голову аквариум, и он роняет бамбуковый меч.

— Какая Жюстина?

— Сам подумай, — сказал Максим, — вишневый-то кто?

— А почему бамбуковый меч?

— Так он же на бильярде играет, — пояснил Максим.

— А аквариум зачем? — спросил Никита.

— Ну как, — ответил Максим. — Постмодернизм. Де Кирико. Хочешь, сам приходи, посмотри.

— Не, не пойду, — сказал Никита. — У вас в подвале сургучом воюет. А постмодернизм я не люблю. Искусство советских вахтеров.

— Почему?

— А им на посту скучно было просто так сидеть. Вот они постмодернизм и придумали. Ты в само слово вслушайся.

— Да ты хоть знаешь, что такое постмодернизм? — презрительно спросил Максим.

— Еще только не хватало, чтобы я это знал.

— Никита, — сказал Максим, — не базарь. Сам, что ли, вахтером не работал?

Слева между холмами мелькнуло море, но дорога сразу же повернула вправо, и море исчезло. Впереди никого не было. Максим полез в карман, вынул оттуда косяк и закурил.

— Ну, работал, — сказал Никита, принимая дымящуюся папиросу, — только я чужого никогда не портил. А ты, даже когда в подвале этом еще не прижился, уже был паразит. Вот я тебя картину просил на три корабля обменять, помнишь?

— Какую? — фальшиво спросил Максим.

— А то не помнишь. «Смерть от подводного ружья в саду золотых масок», — ответил Никита. — А ты что сделал? Вырезал в центре треугольник и написал «...».

— Отец, — с холодным достоинством ответил Максим, — чего это ты пургу метешь, а? Мы ведь это проехали давно. Я тогда был художник-концептуалист, а это был хэппенинг.

Никита глубоко вдохнул дым и закашлялся.

— Говно ты, — сказал он, отдышавшись, — а не художник-концептуалист. Ты просто ничего больше делать не умеешь, кроме как треугольники вырезать и писать «...», вот всякие названия и придумываешь.

— Концептуалиста я в себе давно убил, — примирительно сказал Максим.

— А я-то думаю, чего это у тебя изо рта так воняет?

Максим остановился и открыл было рот, но вспомнил, что хотел одолжить у Никиты плана, и сдержался. Никита всегда так себя вел, когда чувствовал, что у него скоро попросят травы. Скоро он успокоился, и его глаза подернулись прежней вялой меланхолией.

— А эта картина хорошая была, — сказал Максим. — «Смерть от подводного ружья». Она у тебя какого периода? Астраханского?

— Нет, — ответил Никита. — Киргизского.

— Да я же помню, — сказал Максим. — Астраханского.

— Нет, — сказал Никита. — Астраханского — это «Пленные негуманоиды в штабе киевского военного округа». У меня тогда был длинный киргизский период, потом короткий астраханский, а потом опять киргизский. Чего Горбачеву никогда не прощу, это что Среднюю Азию потеряли. Такую страну развалил.

— Думаешь, он хотел? — спросил Максим, стараясь увести беседу как можно дальше от опасной темы. — У него просто не было четкого плана действий.

Никита не поддержал разговора. Шоссе, по которому они шли, уходило все дальше от моря; вокруг были только голые холмы, и Максим подумал, что, если опять начнется дождь, спрятаться будет некуда. Он начинал замерзать.

— Пошли обратно, что ли, — сказал он. — Эй, пяточку оставь!

Никита затянулся последний раз и отдал Максиму окуроч.

— Зачем обратно, — сказал он, — сейчас повернем. Тут напрямик можно выйти.

От шоссе отходила узкая асфальтовая дорога. Вдоль нее стоял длинный деревянный забор, за которым возвышались недостроенный санаторий и пара подъемных кранов. Максим с тревогой подумал, что на дороге могут встретиться собаки, но когда Никита свернул с шоссе, молча пошел следом. Вдруг в голову ему пришла неприятная мысль.

— Слушай, Никита, — сказал он, — а чего это мы про банку говорили?

— Это ты про «Вишневый сад» рассказывал.

— Нет, — сказал Максим, — раньше. Про конопляных клопов.

— А. Это коробок травы банкой накрывают и смотрят — если клопы выползут, значит, шухер.

Папироса в руке у Максима издала треск и выпустила тонкую струю дыма, похожую на ракетный выхлоп. Максим вздрогнул.

— Так, — сказал он, — а мы почему из дома вышли?

— Стремно стало, — сказал Никита. — Я подумал, а вдруг менты придут?

— Понятно, — сказал Максим и оглянулся. — А ну пошли быстрее.

Он стал таким бледным, что Никита, поглядев на него, испугался и прибавил шагу.

— Куда спешить? — спросил он.

— Ты что, не понял ничего? — сказал Максим. — Нас сейчас брать будут.

Тут дошло и до Никиты. Он прибавил шагу, оглянулся и увидел на шоссе тормозящий у развилки желтый джип с голубой полосой вдоль борта — к сожалению, эти цвета сейчас не имели к независимой Украине никакого отношения.

— Стой, — сказал Никита и поглядел на Максима безумными глазами, — мы так не уйдем. Они на машине.

— А что ты предлагаешь?

— Давай ляжем у обочины и притворимся мертвыми. Они тогда мимо пройдут и сделают вид, что нас не видят. На фига им лишнее дело заводить?

— Совсем рехнулся, — сказал Максим. — Надо спрятаться.

— А где здесь спрячешься?

— На свалке, — сказал Максим.

Слева от дороги начиналась огромная свалка. Точнее, это была не свалка, а загаженная до невозможности площадка, на которой был склад стройматериалов — плит разных размеров и формы, бетонных кубов и труб, но мусора на ней было гораздо больше. Максим оглянулся и увидел, что милицкий джип свернул с шоссе на дорогу, по которой они с Никитой только что прошли.

— Бегом, — прошептал Максим и кинулся в щель между двумя рядами плит. Никита побежал следом. Сзади послышалось приближающееся урчание мотора, потом стихло.

— Из машины вышли! — взвизгнул Максим, поскользнулся на мокрой доске, упал, вскочил на ноги, завернул еще за одну кладку плит и нырнул в пустую бетонную трубу, лежавшую на сырых досках перед огромной горой пустых ящиков. Никита последовал за ним. Труба была диаметром почти в два метра, так что не надо было даже пригибаться; Максим с Никитой пробежали ее всю и остановились, шумно дыша, у тупика, где стены смыкались резким конусом, в центре которого оставалось отверстие примерно с голову.

— Полчасика подождем, — тихо сказал Максим, — а потом можно будет вылезти посмотреть. Тебя как, тащит еще?

— Ага, — сказал Никита.

— Меня тоже. Крутой. Я у тебя займу два корабля?

Никита кивнул.

— Черт, — сказал Максим, зная по опыту, что после условного согласия Никиты надо как можно быстрее перевести разговор на другую тему, — пилотку потерял. Наверно, когда поскользнулся.

— Нет, — попался Никита. — Ты ее раньше снял. Посмотри в карманах.

Максим полез в карман и вынул оттуда пачку «Казбека».

— Я тут одну вещь осознал, — сказал он. — Что папиросы «Казбек» на самом деле никакой не «Казбек». Посмотри, что нарисовано.

— Гора Казбек.

— Так это фон, — сказал Максим. — А на переднем плане что?

Никита поглядел на пачку так, словно первый раз в жизни ее видел.

— Действительно, — сказал он.

— Вот то-то и оно. Черный всадник. А ты когда-нибудь думал, что это за черный всадник на переднем плане?

— Завязывай, — сказал Никита. — Опять думка начнется.

Максим собрался было что-то сказать, но Никита поднял палец.

— Тихо, — прошептал он.

Снаружи послышались голоса и сразу стихли. Несколько минут было тихо, а потом Максим услышал ритмичный стук, словно кто-то барабанил пальцами по столу. Звук приближался, и скоро стало ясно, что это удары конских копыт. Дробное перестукивание несколько раз облетело трубу и стихло. Некоторое время Максим и Никита молчали.

— Слушай, — спросил вдруг Никита, — а почему бильярд валенками обит?

— Это тема Фирса, — сказал Максим. — А мы с тобой зря в панику ударились. Похоже, гонка началась. Чего стрематься? Плана-то у нас с собой больше нет. Пошли отсюда?

— Пошли, — подумав, согласился Никита.

И тут в трубу подул ветер. Сначала его еще можно было принять за обычный сильный сквозняк, но не успел Максим сделать и двух шагов, как ветер достиг такой силы, что сбил его с ног и потащил назад. Никита удержал равновесие и даже прошел несколько метров, сильно наклоняясь вперед, однако ветер усилился до того, что старые дощатые ящики, лежавшие перед круглой дырой выхода, стали срываться с места и катиться в трубу. От трех или четырех Никита увернулся, но ветер заставил его опуститься на четвереньки и схватиться за неровности бетона. Он оглянулся. Максим лежал в самом конце трубы, уже заваленный ящиками, и небольшая черная дырка над его головой страшно гудела, засасывая воздух. Максим что-то прокричал, но Никита ничего не разобрал, потому

что воздушный поток унес все слова назад. Мимо пролетело еще несколько ящиков, а потом один из них ударил Никиту по рукам, он разжал пальцы и вместе с ящиками покатился в конец трубы. Ветер стал сильнее, ящики уже не катились по трубе, а летели по ней, сталкиваясь и ломаясь о стены и друг о друга. Никита закрыл уши ладонями и зажмурился, чувствуя, как гул становится все громче и тонкие доски со всех сторон вдавливаются в его тело и трещат. Вдруг ветер стих — так же внезапно, как начался.

— Эй, — крикнул Никита, — Максим! Ты живой?

— Живой, — ответил Максим. — А ты где?

— Тут, где же еще, — ответил Никита.

Спина Максима упиралась в крутой бетонный скос, а все остальное окружающее пространство было загромождено переломанными ящиками так плотно, что нельзя было даже пошевелиться. Судя по голосу, Никита был недалеко, метрах в трех-четырех, за месивом из досок и оргалитовых листов, но виден он не был.

— Что это? — спросил Максим.

— А ты что, не понял? — переспросил Никита с некоторым, как показалось Максиму, злорадством. — Это нас в косяк забили.

— Кто? Менты?

— Откуда я знаю, — сказал Никита.

— Я, кажется, ногу сломал, — пожаловался Максим.

— Так тебе и надо, — сказал Никита. — Я сколько раз говорил, не верти пятки без табака. Теперь уже, конечно, без разницы. Сейчас такое будет...

— Что будет?

— А ты, Максим, сам подумай.

Думать уже не было нужды. Опять потянуло ветром, но на этот раз он принес с собой густые клубы дыма, и Максим с Никитой надолго закашлялись. Максим почувствовал волну обжигающего жара и увидел в щелях между досками красные отблески пока далекого огня. Потом все вокруг заволочло дымом, и Максим зажмурился — держать глаза открытыми стало невозможно.

— Никита! — крикнул он.

Никита не отвечал.

«Так, — стал соображать Максим, — я в самом конце, а косяк — это затажек восемь. Две уже было. Значит...»

На Максима обрушилась новая волна жара, он почувствовал, что задыхается. По рукам и лицу потек горячий деготь.

— Никита! — опять позвал он и попытался приоткрыть глаза. Сквозь дым сверкнуло багровое сияние, уже близкое, и там, где раньше звучал Никитин голос, раздался оглушительный треск. Максим с трудом отвернул голову от дыры, в которую стягивался весь дым, и попытался вдохнуть немного воздуха. Это удалось.

«А если короткий косяк, — с ужасом подумал он, — то ведь и за пять тяг можно... Господи! Если ты меня слышишь!»

Максим попытался перекреститься, но руки были намертво зажаты ящиками.

— Господи! Да за что это мне? — прошептал он.

— Неужели ты думаешь, — послышался громовой и одновременно заушесный голос из отверстия, в которое стягивался дым, — что я хочу тебе зла?

— Нет, — закричал Максим, вжимаясь в бетон от подступившего жара, — не считаю! Господи, прости!

— За тобой нет никакой вины, — прогремел голос. — Думай о другом.

10. ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ ВРАГА

В крышу автобусной остановки барабанил дождь. Наташа сидела на узкой железной лавке, забившись в холодный стеклянный угол, и плакала. Рядом сидел Сэм и ежился от брызг, косясь на клубы темного дыма, поднимающиеся над далекой свалкой.

— Наташа, — позвал он и попытался отвести ее руки от лица.

— Сэм, — сказала Наташа, — не смотри на меня. У меня глаза потекли.

— Тебе надо успокоиться, — сказал Сэм. — Выпить чего-нибудь или...

Он сунул два пальца в нагрудный карман рубашки, вынул оттуда длинную папиросу со скрученным концом, похожим на наконечник стрелы, и, с некоторым сомнением осмотрев ее, сунул в рот. Щелкнув зажигалкой, он пару раз затянулся и похлопал Наташу по плечу.

— На вот, попробуй.

Наташа темным глазом выглянула из-под ладоней.

— Что это? — спросила она.

— Марихуана, — ответил Сэм.

— Откуда у тебя?

— Не поверишь, — сказал Сэм. — Иду сегодня утром по набережной, она еще пустая была, и слышу — копыта стучат. Оборачиваюсь, смотрю — скачет всадник, весь в черном, в длинной такой бурке. Подъезжает ко мне, коня на дыбы и протягивает папиросу. Я и взял. И тут конь как заржет...

— А дальше? — спросила Наташа.

— Ускакал.

— Очень странно.

— Да нет, — сказал Сэм, — это, по-моему, древний татарский обычай. Я что-то похожее читал у Геродота, еще в колледже.

— А мне плохо не будет? — спросила Наташа.

— Будет хорошо, — сказал Сэм и затянулся еще раз.

Как бы подтверждая эти слова, папироса в его пальцах щелкнула и выпустила длинную узкую струю дыма. Наташа с опаской, словно это был голый электрический провод, взяла папиросу и недоверчиво поглядела на Сэма.

— Я боюсь, — прошептала она, — я не пробовала никогда.

— Неужели ты думаешь, — нежно спросил Сэм, — что я хочу тебе зла?

Наташино лицо вдруг искривилось, и Сэм понял, что вот-вот она опять заплачет.

— За тобой нет никакой вины, — так же нежно сказал он. — Думай о другом.

Наташа сморгнула слезы, поднесла к губам папиросу и потянула в себя дым. Папироса снова щелкнула и с шипением выпустила синюю струйку.

— Что это щелкает? — спросила Наташа. — Второй раз уже.

— Не знаю, — сказал Сэм. — Какая разница.

Наташа кинула окурок в покрытый пузырями ручей, текущий по асфальту прямо между ее ног. Окурок шлепнулся в воду, погас и поплыл, покачиваясь, вдаль; ручей водопадиком обрушился с тротуара на мостовую, и, когда картонная гильза перевалилась через бетонный бордюр, Наташа потеряла ее из виду.

— Видишь, Наташа, эти пузыри? — спросил Сэм. — Вот так и мы. Насекомые убивают друг друга, часто даже не догадываясь об этом. И никто не знает, что будет с нами завтра.

— Я даже не заметила, как он подлетел, — сказала Наташа. — Все машинально вышло.

— Он был пьян, — сказал Сэм. — И потом, кто же в ляжку кусает? Только самоубийцы. Это ведь самое чувствительное место.

Он положил руку на Наташину ногу.

— Вот сюда, да?

— Да, — тихонько ответила Наташа.

— Не болит?

Наташа подняла на Сэма пустые и загадочные зеленые глаза и обняла его за шею.

— Поцелуй меня, Сэм, — попросила она.

Дождь постепенно стихал. Стеклопанная стена остановки была оклеена выцветшими объявлениями. Впившись в Наташины губы, Сэм заметил прямо напротив своего лица бумажку с надписью: «Дешево продается жирная собака. Звонить вечером, спросить Сережу». Полоски с телефонами были оборваны, а почерк был крупный, твердый и наклоненный

влево. Сэм перевел глаза. Рядом висело другое объявление: «Скромный молодой массажист приходит на дом. Несостоятельных просят не беспокоиться». Из-под него выглядывало третье объявление, в котором некто по имени Андрис выражал нетерпеливое желание купить кресло «Мемфис» из гарнитура «Атлантис».

— Ох, Сэм, — сказала Наташа, — меня никто так еще не целовал.

— Куда бы нам пойти, — сказал Сэм.

— У меня мать дома, — сказала Наташа, — а я с ней в ссоре.

— Может, ко мне в гостиницу?

— Что ты. Что про меня подумают. Тут же все всех знают. Уж лучше ко мне.

— А мать?

— Она нас не увидит. Только у нее есть одна ужасная привычка — она все время вслух читает. Иначе до нее смысл не доходит.

— Далеко это?

— Нет, — сказала Наташа, — совсем рядом. Минут семь идти от силы. Сэм, я, наверно, страшная, да?

Сэм встал, вышел из-под навеса и поглядел вверх.

— Идем, — сказал он. — Дождь кончился.

За время дождя ведущая к пансионату грунтовка превратилась в сплошной разлив грязи, и увитый виноградом серебристый Ильич, торчащий на ее краю, казался носовой фигурой корабля, засосанного вязким рыжим месивом. Сначала Сэм пытался наступать в те места, где грязь была вроде менее глубокой, но через несколько метров дорога стала представляться ему хитрым и злым живым существом, старающимся как можно сильнее нагадить ему за то время, пока он пользуется ее услугами. Сэм выбрался на траву и пошел по ней — ноги сразу промокли, но зато грязь с мокасин быстро обтерлась о сырые стебли. Наташа шла впереди, держа в каждой руке по тапочке и балансируя ими с удивительным изяществом.

— Почти пришли, — сказала она, — теперь направо.

— Но там же газон, — сказал Сэм.

— Да, — сказала Наташа, — живем мы скромно, но другие еще хуже. Вот сюда. Не поскользнься. Руку держи.

— Ничего, слезу. А, черт.

— Я же говорила, руку возьми. Ничего, застираем — за час высохнет. Теперь вперед и налево. Пригнись только, а то головой заденешь. Ага, вот сюда.

— Можно посветить?

— Не надо, мать проснется. Сейчас глаза привыкнут. Ты только тише говори, а то разбудишь.

— Где она? — шепотом спросил Сэм.

— Там, — прошептала Наташа.

Постепенно Сэм начал различать окружающее. Они с Наташей сидели на небольшом диване; рядом стояла тумбочка с двухкассетником и письменный стол, над которым висела полка с несколькими книжками. В углу тихонько трещал маленький белый холодильник; на его дверце, как бы компенсируя очевидное отсутствие мяса внутри, помещался плакат с голым по пояс Сильвестром Сталлоне. Метрах в трех от дивана комната была перегорожена доходившей почти до низкого потолка желтой ширмой, на которой висела журнальная репродукция картины «Смерть княжны Таракановой».

Сэм достал сигарету и щелкнул зажигалкой. Наташа попыталась поймать его за руку, но было уже поздно — комната осветилась, из-за ширмы долетел тихий женский стон.

— Ну все, — сказала Наташа, — разбудил.

За ширмой что-то тяжело пошевелилось и прокашлялось, потом зашуршала бумага, и тонкий женский голос начал громко и членораздельно читать:

— ...Но, конечно же, у всех сколько-нибудь смыслящих в искусстве насекомых уже давно не вызывает сомнения тот факт, что практически единственным квазиактуальным постэстетическим эпифеноменом современного литературного процесса является на сегодняшний день — разумеется, на маргинально-эсхатологическом внутрикультурном плане — альманах

«Треугольный ...», первый номер которого скоро появится в продаже. *Примечание. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Полет над гнездом врага. К пятидесятилетию со дня окукливания Аркадия Гайдара...

— Теперь можно вслух говорить, — сказала Наташа, — она не услышит ничего.

— И часто она так? — спросил Сэм.

— Целыми днями. Может, музыку включим?

— Не надо, — сказал Сэм.

— Дай затянусь, — сказала Наташа, присаживаясь к Сэму на колени и вынимая из его пальцев горящую сигарету.

Сэм обнял ее за живот и нащупал под мокрой зеленой тканью горячую впалдинку пупка.

— И получается, — монотонно читал за ширмой тонкий голос, — что прочесть его, в сущности, некому: взрослые — не станут, а дети ничего не заметят, как англичане не замечают, что читают по-английски. «Прощай! — засыпал я. — Бьют барабаны марш-поход. Каждому отряду своя дорога, свой позор и своя слава. Вот мы и разошлись. Топот смолк, и в поле пусто...»

— Как это она без света читает? — тихо спросил Сэм, стараясь отвлечь внимание Наташи от неловкой паузы, в которой была виновата неподатливая пластмассовая молния.

— Не знаю, — прошептала Наташа. — Сколько себя помню, все время одно и то же.

— ...Видишь мир глазами маленького мальчика, — читал голос, — и не из-за примитивности описанных чувств — они достаточно сложны, — а из-за тех бесконечных возможностей, которые таит в себе мир «Судьбы барабанщика». Это как бы одно из свойств жизни, на котором не надо и нельзя специально останавливаться, равнодушная и немного печальная легкость, с которой герой встречает новые повороты своей жизни. «Никто теперь меня не узнает и не поймет, — думал я. — Отдаст меня дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку... Ну и пусть! Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как будто его и не было...» Забыть о прошлом несложно потому, что Вселенная, в которой живет герой, поистине прекрасна: «А на горе, над обрывом, громоздились белые здания, казалось — дворцы, башни светлые, величавые. И пока мы подъезжали, они неторопливо разворачивались, становились вполоборота, поглядывая одно за другим через могучие каменные плечи, и сверкали голубым стеклом, серебром и золотом...»

— Наташа, — сдался Сэм, — как это расстегнуть?

— Да она и не расстегивается, — хихикнула Наташа, — она так пришита, для красоты.

Она взялась за подол платья и одним быстрым движением стянула его через голову.

— Фу, — сказала она, — волосы растрепались.

— Но кто смотрит на этот удивительный и все время обновляющийся мир? — вопрошал голос за ширмой. — Кто тот зритель, в чувства которого мы погружаемся? Можно ли сказать, что это сам автор? Или это один из его обычных мальчиков, в руку которому через несколько десятков страниц ложится холодная и надежная рукоять браунинга? Кстати сказать, тема ребенка-убийцы — одна из главных у Гайдара. Вспомним хотя бы «Школу» и тот как бы звучащий на всех ее страницах выстрел из маузера в лесу, вокруг которого крутится остальное повествование. Да и в последних работах — «Фронтových записях» — эта линия нет-нет, да и вынырнет: «Боясь, что ему не поверят, он вытягивает из-за пазухи завернутый в клеенку комсомольский билет... Я смотрю ему в глаза. Я кладу ему в горячую руку обойму... Ой, нет! Этот паренек заложит обойму не в пустую кринку...»

Расстегнув рубаху Сэма, Наташа прижала нежные присоски на своих ладонях к его покрытой жесткими волосками груди.

— Но нигде эта нота, — усилился голос, — не звучит так отчетливо, как в «Судьбе барабанщика». Собственно, все происходящее на страницах этой книги — прелюдия к тому моменту, когда барабанной дробью выстре-

лов откликается странное эхо, приходящее не то с небес, не то из самой души лирического во всех смыслах героя. «Тогда я выстрелил раз, другой, третий... Старик Яков вдруг остановился и неловко попятился. Но где мне было состязаться с другим матерым волком, опасным и беспощадным снайпером!.. Даже падая, я не переставал слышать все тот же звук, чистый и ясный, который не смогли заглушить ни внезапно загрохотавшие по саду выстрелы, ни тяжелый удар разорвавшейся неподалеку бомбы...»

Наташины ладони поползли вниз и наткнулись на что-то, на ощупь напоминающее теплый блок цилиндров гоночной машины. Наташа сообразила, что это место, откуда у Сэма растут лапки, нежно погладила его и повела ладонь ниже, пока не коснулась первого сочленения его покрытого короткой щетиной перепончатого брюшка.

— Oh, yeah honey, — пробормотал Сэм, — I can feel it.

Его лапка легла на прохладную и твердую Наташину спину и нащупала поросшее влажным мхом основание подрагивающего крыла.

— It's been my dream for ages, — прошептала Наташа с оптимистической интонацией лингафонного курса, — to learn American bed whispers...

— Убийство здесь, — окликнулся голос за ширмой, — мало чем отличается от, скажем, попыток открыть ящик стола с помощью напильника или от мытарств с негодным фотоаппаратом — коротко и ясно описана внешняя сторона происходящего, изображен сопровождающий действия психический процесс, напоминающий трогательно простую мелодию небольшой шарманки. Причем этот поток ощущений, оценок и выводов таков, что не допускает появления сомнений в правильности действий героя. Конечно, он может ошибаться, делать глупости и сожалеть о них, но он всегда прав, даже когда неправ. У него есть естественное право поступать так, как он поступает. В этом смысле Сережа Щербачев — так зовут маленького барабанщика — без всяких усилий достигает того состояния духа, о котором так безнадежно мечтал Родион Раскольников. Можно сказать, что герой Гайдара — это Раскольников, который идет до конца, ничего не пугаясь, потому что по молодости лет и из-за уникальности своего жизненного ощущения просто не знает, что можно чего-то испугаться, просто не видит того, что так мучит петербургского студента; тот облепляет свою топорную работу унылой и болезненной саморефлексией, а этот начинает весело палить из браунинга после следующего внутреннего монолога: «Выпрямляйся, барабанщик! — уже тепло и ласково подсказал мне все тот же голос. — Встань и не гнись! Пришла пора!» Отбросим фрейдистские реминисценции...

Сэм почувствовал, как его хоботок выпрямляется под проворными лапками Наташи. и разомлело посмотрел ей в лицо. От ее подбородка отвисал длинный темный язык с мохнатым концом, разделяющимся на два небольших волосатых отростка. Этот язык возбужденно подрагивал, и по нему скатывались капли густой желтой секреции.

— Eat me, — прошептала Наташа, потянула за длинные шершавые антенны, торчавшие из-под глаз Сэма, и он с жужжащим стоном вонзил хоботок в хрустнувший зеленый хитин ее спины.

— ...всегда были сложные отношения с нищезанятием. Достоевский пытался художественно обосновать его несостоятельность и сделал это вполне убедительно. Правда, с некоторой оговоркой: он доказал, что данная система взглядов не подходит для выдуманного им Родиона Раскольникова. А Гайдар создал такой же убедительный и такой же художественно правдивый, то есть не вступающий в противоречие со сформированной автором парадигмой, образ сверхчеловека. Сережа абсолютно аморален, и это неудивительно, потому что любая мораль или то, что ее заменяет, во всех культурах вносится в детскую душу с помощью особого лексикона, выработанного из красоты жизни. На месте пошлого фашистского государства «Судьбы барабанщика» Сережины голубые глаза видят бескрайний романтический простор, населенный возвышенными исполинами, занятыми мистической борьбой, природа которой чуть приоткрывается, когда Сережа спрашивает у старшего сверхчеловека, майора НКВД Герчакова, каким силам служил убитый на днях взрослый. «Человек усмехнулся. Он не ответил ничего, затянулся дымом из своей кривой трубки

(sic!), сплюнул на траву и неторопливо показал рукой в ту сторону, куда плавно опускалось сейчас багровое вечернее солнце».

Прижимаясь к быстро надувающемуся и твердеющему брюшку Сэма, уже багровому, Наташа сжала его всеми шестью лапками.

— Oh, — шептала она, — it's getting so big... So big and hard...

— Yeah, baby, — нечленораздельно отвечал Сэм. — You taste good.

— Итак, — сказала женщина за желтой ширмой, — что написал Гайдар, мы более-менее выяснили. Теперь подумаем, почему? Зачем бритый наголо мужчина в гимнастерке и папахе на ста страницах убеждает кого-то, что мир прекрасен, а убийство, совершенное ребенком — никакой не грех, потому что дети безгрешны в силу своей природы? Пожалуй, по-настоящему близок Гайдару по духу только Юкио Мисима. Мисиму можно было бы назвать японским Гайдаром, застрелил он действительно из лука хоть одного из Св. Себастьянов своего прифронтового детства. Но Мисима идет от вымысла к делу, если, конечно, считать делом ритуальное самоубийство, совершенное после того, как его фотография в позе Св. Себастьяна украсила несколько журнальных статей о нарождающемся японском туризме. А Гайдар идет от дела к вымыслу, если, конечно, считать вымыслом точные снимки переживаний детской души, перенесенные из памяти в физиологический раствор художественного текста. «Многие записи в его дневниках не поддаются прочтению, — пишет один из исследователей. — Гайдар пользовался специально разработанным шифром. Иногда он отмечал, что его снова мучили повторяющиеся сны «по схеме № 1» или «по схеме № 2». И вдруг открытым текстом, как вырвавшийся крик: «Снились люди, убитые мной в детстве...»

Голос за ширмой замолчал.

— Чего это она? — спросил Сэм.

— Уснула, — ответила Наташа.

Сэм нежно погладил колючий конец ее брюшка и откинулся на диван. Наташа тихонько сглотнула. Сэм подтянул к себе стоящий на полу кейс, раскрыл его, вынул оттуда маленькую стеклянную баночку, сплюнул в нее красным, завинтил и кинул обратно — вся эта операция заняла у него несколько секунд.

— Знаешь, Наташа, — сказал он, — По-моему, все мы, насекомые, живем ради нескольких таких моментов.

Наташа уронила побледневшее лицо на надувшийся темный живот Сэма, закрыла глаза, и по ее щекам побежали быстрые слезы.

— Что ты, милая? — нежно спросил Сэм.

— Сэм, — сказала Наташа, — вот ты уедешь, а я здесь останусь. Ты хоть знаешь, что меня ждет? Ты вообще знаешь, как я живу?

— Как? — спросил Сэм.

— Смотри, — сказала Наташа и показала овальный шрам на своем плече, похожий на увеличенный в несколько раз след от оспяной прививки.

— Что это? — спросил Сэм.

— Это от ДДТ. А на ноге такой же, от раствора формалина.

— Тебя что, хотели убить?

— Нас всех здесь убить хотят.

— Кто? — спросил Сэм.

Вместо ответа Наташа всхлинула.

— Но ведь есть же права насекомых, наконец...

— Какие там права, — махнула лапкой Наташа. — А ты знаешь, что такое цианамид кальция? Двести грамм на коровник? Или когда в навозохранилище распыляют железный купорос, а улететь уже поздно? У меня две подруги так погибли. А третью, Машеньку, хлористой известью залили. С вертолета. Французский учила, дура... Права насекомых, говоришь? А про серно-карболовую смесь слышал? Одна часть неочищенной серной кислоты на три части сырой карболки — вот и все наши права. Никаких прав ни у кого тут не было никогда и не будет, просто этим, — Наташа кивнула вверх, — валюта нужна. На теннисные ракетки и колготки для жен. Сэм, здесь страшно жить, понимаешь?

Сэм погладил Наташину голову, поглядел на украшенный плакатом холодильник и вспомнил Сильвестра Сталлоне, уже раздетого неумолимым стечением обстоятельств до маленьких плавок и оказавшегося на берегу

желтоватой вьетнамской реки рядом с вооруженной косоглазой девушкой. «Ты возьмешь меня с собой?» — спросила та.

— Ты возьмешь меня с собой? — спросила Наташа.

...Рэмбо-секунду подумал. «Возьму», — сказал Рэмбо...

Сэм секунду подумал.

— Видишь ли, Наташа, — начал он и вдруг оглушительно чихнул. За ширмой что-то большое пошевелилось, вздохнуло, и оттуда монотонно понеслось:

— Закрывая «Судьбу барабанщика», мы знаем, что шептал маленькому вооруженному Гайдару описанный им теплый и ласковый голос. Но почему же именно этот юный стрелок, которого даже красное командование наказывало за жестокость, повзрослев, оставил нам такие чарующие и безупречные описания детства? Связано ли одно с другим? В чем состоит подлинная судьба барабанщика? И кто он на самом деле? Наверно, уже настала пора ответить на этот вопрос. Среди бесчисленного количества насекомых, живущих на просторах нашей необъятной страны, есть и такое — муравьиный лев. Сначала это отвратительное существо, похожее на бесхвостого скорпиона, которое сидит на дне песчаной воронки и поедает скатывающихся туда муравьев. Потом что-то происходит, и монстр со страшными клешнями покрывается оболочкой, откуда через неделю-две вылупляется удивительной красоты стрекоза с четырьмя широкими крыльями и зеленоватым узким брюшком. И когда она улетает в сторону багрового вечернего солнца, на которое в прошлой жизни могла трюлько коситься со дна своей воронки, она, наверное, не помнит уже о съеденных когда-то муравьях. Так, может... снятся иногда. Да и с ней ли это было? Майор Е. Формиков. Весна тревоги нашей. Репортаж с учений магаданской флотилии десантных ледоколов на кислородной подушке...

11. КОЛОДЕЦ

Стебли травы сгибались под собственной тяжестью, образуя множество следующих друг за другом ворот, а сверху в зеленое ночное небо уходили светло-коричневые колонны огромных деревьев — собственно, их смыкающиеся кроны и были этим небом. Митя летел между стеблями, все время меняя направление, и после поворотов перед ним возникали новые и новые коридоры покачивающихся триумфальных арок.

Внизу делала свои однообразные движения жизнь — мириады разноцветных насекомых ползли по земле, и каждое из них толкало перед собой навозный шар. Некоторые раскрывали крылья и пытались взлететь, но удавалось это немногим, да и они почти сразу падали на землю под тяжестью шара. Большая часть насекомых двигалась в одном направлении, к залитой светом поляне, которая иногда мелькала в просветах между стеблями. Митя полетел в ту же сторону и вскоре увидел впереди большой пень неизвестного южного дерева — он был совершенно гнилой и светился в темноте. Вся поляна была покрыта шевелящимся пестрым ковром насекомых; они заворуженно глядели на пень, от которого исходили харизматические волны, превращавшие его в несомненный и единственный источник смысла и света во вселенной. Каким-то образом Митя понял, что эти волны были просто отраженным вниманием всех тех, кто собрался вокруг.

Подлетев чуть ближе, он разглядел небольшую кучку насекомых, стоявших по периметру пня, повернувшись к поляне. Они были самыми разными — среди них были очень красивые древесные клопы с мозаиками на хитиновых панцирях, черные богомолы с молитвенно сложенными лапками, осы, сверкающие скарабеи, множество стрекоз и бабочек с цветными крыльями; за их спинами виднелось несколько строго-серых пауков, которые, впрочем, не очень лезли на глаза собравшимся внизу. Что происходило в самом центре пня, не было видно, и от этого возникало ощущение темной тайны — казалось, что там сидит очень грозное и могущественное насекомое, настолько могущественное, что видеть его не положено никому, и очень хотелось думать, что оно хорошее и доброе. Насекомые на

краю пенька легонько дирижировали лапками, как бы следуя беззвучной музыке, и в такт их движениям покачивалась собравшаяся внизу огромная толпа. Ее движения были такими ритмичными, что музыка становилась почти слышной, но стоило отвести взгляд, как становилось ясно, что вокруг тишина.

Митя поднялся довольно высоко, и скоро пень оказался под ним; теперь он мог посмотреть, что находится в самом центре пня, и от этой возможности стало чуть не по себе. Решившись, он опустил взгляд и вздрогнул.

В центре пня была лужа, в которой плавало несколько похожих на соленые огурцы гнилушек. Точнее, даже не в центре — пень был настолько гнилым, что от него осталась только кора, а сразу за ней начиналась трухлявая яма, полная гнилой воды.

Митя представил себе, что случится, когда кора треснет и вода хлынет на живой ковер, покачивающийся вокруг пня. Ему стало страшно. И тут он заметил, что исходящий от пня свет странно мерцает — как будто кто-то со страшной скоростью гасит его и зажигает опять, выхватывая из темноты неподвижную толпу крошечных гипсовых насекомых, почти такую же, как миг назад, но все же немного иную.

Внизу непрерывным потоком ползли спешащие к пню насекомые, напирали на тех, кто прополз по этому же пути раньше, и втапывали их в землю — словно живой разноцветный ковер стягивался к пню и подворачивался сам под себя. Насекомые прыгали на пенек, большая их часть срывалась вниз, попадая под лапки, шипы и рога наползающей со всех сторон смены, но некоторым удавалось подняться вверх, к тем, кто стоял на зеленовато светящемся краю; они очень проворно залезали туда, сразу же поворачивались таким образом, чтобы ни в коем случае не увидеть центральной части пня, и принимались дирижировать, поддерживая и возобновляя неизвестно кем и когда выдуманную беззвучную мелодию.

Митя полетел прочь. Некому было рассказать, что этот пенек, вместе со всеми теми, кто на нем собрался, еще далеко не все, что есть в мире, и оттого делалось грустно, а еще грустнее было оттого, что и сам он в этом не был вполне уверен. Но, долетев до границы поляны, Митя увидел рассеянный свет, излучаемый не то травой, не то трущимся о нее ветром, вспомнил, что с ним было до того, как он попал на поляну с гнилым пнем, и успокоился. Над ним опять понеслись арки согнутых стеблей, и чем дальше от поляны он улетал, тем меньше внизу оставалось спешащих к ней насекомых. Скоро они совсем исчезли, и тогда вокруг стали появляться цветы. Они казались посадочными площадками необычных цветов и форм, но испускали такой одуряющий запах, что Митя предпочитал любоваться ими на расстоянии, тем более что на некоторых цветах копошились ушедшие от мира пчелы, а их уединения Митя не рисковал нарушать.

В траве впереди мелькнул красный огонек, и Митя автоматически повернул к нему. Когда он оказался так близко, что на всем вокруг появился слабый красноватый отблеск, он полетел крадучись, подолгу зависая в тени и незаметно перелетая от одного растения к другому. После нескольких таких маневров он выглянул из-за своего стебля и увидел на соседнем, прямо перед собой, стебле двух очень странных, ни на кого не похожих красных жуков. На головах у них были большие желтые выросты, похожие на широкополые соломенные шляпы, а низ брюшка был, насколько Митя мог разглядеть, цвета хаки. Они тихо переговаривались, и Митя изо всех сил напряг слух.

— Мне сегодня снился очень странный сон, — сказал один. — Как будто нас с тобой увидел житель далекого и очень необычного мира.

— Неужели? — спросил второй.

— Да, — ответил первый. — Но он принял нас за две красные лампы на вершине горы, стоящей у моря.

— И что мы сделали в твоём сне? — спросил второй.

— Ну как что, — сказал первый. — Мы светились, пока не выключили электричество. Но самое интересное, что он прилетел сюда и прячется сейчас совсем рядом, думая, что мы его не видим.

Митя вжался в стебель, и тут ему на плечо легла чья-то рука и сильно его тряхнула. Повернув голову, он увидел согнувшегося над ним Диму. Вокруг была площадка на вершине горы, над которой поднималась мачта

с красными фонарями (сейчас они уже не горели). Рядом стояли две складных табуретки, а сам он лежал под кустом.

— Идем, — сказал Дима. — У нас мало времени.

Митя поднялся, помотал головой. пытаясь вспомнить только что снявшийся сон, но тот уже улетучился. Дима пошел по узкой тропинке, ведущей прочь от мачты с красными лампами. Тропинка нырнула в щель между скалами, прошла под низкой каменной аркой (тут у Мити мелькнуло неясное воспоминание, связанное со сном) и вывела в небольшую расщелину, заросшую темными кустами. Митя сорвал несколько холодных ягод терновника, кинул их в рот и сразу же выплюнул, увидев лежащий под кустом маленький узкий череп.

— Там находится колодец, — сказал Дима, показывая на кусты.

— Какой колодец?

— Колодец, в который ты должен заглянуть. Единственный вход и выход.

— Куда?

— Для того, чтобы на это ответить, — сказал Дима, — надо заглянуть в колодец. Сам все увидишь.

— А если я не пойду?

— Не пойти ты просто не можешь.

— Почему? — спросил Митя.

Дима посмотрел на его руки. Митя проследил за его взглядом, уставился на свои ладони и понял, что они больше не светятся в темноте.

— Именно поэтому, — сказал Дима. — Иначе у тебя есть все шансы стать жертвой первой же летучей мыши, которую ты себе выдумаешь.

Митя пожал плечами и шагнул в кусты. Они были густыми и колючими; закрывая ладонью лицо, он сделал несколько шагов и почувствовал, что склон уходит вниз. Луну закрыли листья, стало совсем темно, приходилось двигаться вслепую, нашаривая ногой следующий камень и на ощупь находя ветки, чтобы схватиться за них. Через несколько метров Мите показалось, что он повис в темной пустоте, держась за непонятно откуда взявшиеся в ней каменные выступы, и нет никакой гарантии, что впереди окажется хоть какая-то опора. Он замер на месте.

«А куда я иду? — подумал он. — И зачем?»

Он закрыл глаза и попытался прислушаться к своим мыслям, но их не было. Было просто темно, прохладно и тихо. Можно было продолжить спуск, а можно было вернуться туда, где остался Дима; казалось, что между этими двумя действиями нет никакой разницы. Митя попытался сделать еще один шаг. Из-под его подошвы вывернулся камень, несколько раз стукнулся о скалы, с шорохом врезался в листву, и опять стало тихо. Митя подался назад, потерял равновесие и, не успев даже испугаться, полетел следом.

Он падал спиной вперед, хватаясь руками за стены, падал очень долго, но никак не мог достичь дна. Время не то исчезло, не то растянулось — то, что он видел, менялось, не меняясь, каким-то образом все время оказываясь новым, а его пальцы все пытались уцепиться за выступ, который был под ними в самом начале падения. Он вдруг понял, что смотрит на нечто странное, такое, чего он не видел еще никогда в жизни и вместе с тем видел всегда. Когда он попытался понять, что именно он видит и найти в своей памяти какое-нибудь подобие, ему вспомнился обрывок фильма, где несколько человек в белых халатах были заняты очень странным делом — вырезали из картона круги с небольшими выступами и насаживали их на сверкающий металлический штырь, словно чеки в магазине; картонные круги становились все меньше и меньше, и в конце концов на штыре оказалась человеческая голова, состоящая из тонких слоев картона; ее обмазали синим пластилином, и на этом фильм кончился.

То, что видел Митя, больше всего напоминало эти картонные круги: последним, самым верхним кругом был испуг от падения в колодец, предпоследним — опасение, что колючая ветка куста хлестнет по глазам, до этого была досада, что так быстро исчез приснившийся мир, где на длинной травинке беседовали два красных жука; еще раньше — страх перед летучей мышью, озадаченность непонятным вопросом Димы, тоска от стука доминошных костей над пустой набережной (и от того, главным образом, что в собственной голове сразу стала видна компания внутренних до-

миношников) и так — ниже и ниже, за один миг — сквозь всю жизнь, сквозь все сплюсцившиеся и затвердевшие чувства, которые он когда-нибудь испытал.

Сначала Митя решил, что видит самого себя, но сразу же понял, что все, находящееся в колодце, на самом деле не имеет к нему никакого отношения. Он не был этим колодцем, он был тем, кто падал в него, одновременно оставаясь на месте. Может быть, он был пластилином, скрепляющим тончайшие слои наложенных друг на друга чувств. Но главным было другое. Пройдя сквозь бесчисленные снимки прошлого к точке рождения, оказавшись в ней и заглянув еще глубже, чтобы увидеть начало, он понял, что смотрит в бесконечность. У колодца не было дна. Никакого начала никогда не было.

И тут же Митя увидел еще одно — все, что находилось в колодце под точкой, с которой он привык начинать свой личный отсчет, вовсе не было пугающим, таинственным или неизвестным. Оно всегда было рядом, даже ближе, чем рядом, а не помнил он про это потому, что оно и было тем, что помнило.

— Эй, — услышал он далекий голос. — Вылезай!

Он почувствовал, что его тянут за руку, потом по лицу прошлась ветка с острыми шипами, у глаз мелькнули черные листья, и он увидел перед собой Диму.

— Что это было? — спросил Митя. — А, ну да. Колодец. А я в него не упаду опять?

Дима тихо рассмеялся.

— Мы не можем упасть в колодец, в котором и так находились целую вечность, — сказал он. — Мы можем только выходить из него. А чтобы из него выйти, надо в него упасть. Жизнь очень странная.

Он повернулся и пошел вверх по тропинке. Митя пошел следом, и через минуту или две они вышли на плоскую площадку между скалами, один край которой обрывался в пустоту. С площадки было видно море с широкой лунной дорогой — даже не дорогой, а целой взлетно-посадочной полосой — и еще были видны дрожащие огни на берегу.

— Странно, — сказал Митя. — Как будто все то, к чему мы с таким трудом пытаемся всю жизнь вернуться, на самом деле никуда и не исчезало. Как будто кто-то завязывает нам глаза, и мы перестаем видеть и понимать, что с нами происходит.

— Хочешь узнать, кто этот кто-то?

— Хочу, — сказал Митя.

— Это хорошо, что ты хочешь, — сказал Дима, — потому что в любом случае придется.

Митя вздрогнул.

— Почему придется?

— А потому, — сказал Дима, — что ты только что растревожил одно очень могущественное существо. Ему все это ужасно не понравилось. И сейчас оно за тобой явится.

— А какое ему до меня дело? — спросил Митя.

— Оно считает, что ты находишься в его полной власти. Принадлежишь ему. А то, что ты пытаешься делать, этой власти угрожает. И это существо нападет на тебя с минуты на минуту.

— Кто это?

— Оно может принимать разные формы, — сказал Дима. — Например, летучей мыши. Но если называть вещи своими именами, то это труп.

— Чей труп?

— Твой, — сказал Дима, — чей же еще.

— Ты хочешь сказать, что я умру?

— Все зависит от того, что ты называешь словом «я». Это, наверное, самое загадочное слово в мире. Когда я говорю «труп», я имею в виду того, кто сейчас живет вместо тебя. Если он умрет, то начнешь жить ты. Ты, конечно, не умрешь, но повод сказать «я умру» у тебя есть.

— Чего? — ошарашенно спросил Митя. — Что значит труп живет вместо меня? И как он может умереть, если он уже труп? Какая-то бессмыслица получается.

— Хорошо, — сказал Дима, — не живет, а мертвеет. Это просто слова. Труп живет в колодце, и сейчас он оттуда вылезет, хотя он совершенно

мертвый. Это, конечно, полная бессмыслица, потому что на самом деле нет ни колодца, ни трупа, но тем не менее каждый, кто рискует заглянуть в колодец, немедленно сталкивается со своим трупом, который этот колодец сторожит. Вот так.

Над площадкой пронесся резкий порыв ветра.

— Ага, — сказал Дима, — он уже здесь.

— Где? — озираясь, спросил Митя.

Дима засмеялся и не ответил. Он подошел к краю площадки, почти к самому обрыву в море, и отвернулся, словно не желая иметь никакого отношения к тому, что происходит за его спиной.

Митя огляделся по сторонам. Вокруг были скалы самых разных форм; на некоторых из них росли пучки травы, которую шевелил ветер, из-за чего казалось, что шевелятся сами камни. Митя посмотрел на Диму. Его застывшая фигура казалась со спины темным каменным выступом — словно он превратился в одну из скал.

Больше на площадке никого не было.

«Что же это такое со мной происходит? — подумал Митя. — Как вдруг оказалось, что я стою в полной темноте, в непонятном месте и дожидаясь встречи с собственным трупом? Это что, я к свету летел, а прилетел вот сюда? Ведь я же совсем другого искал. И совсем к другому хотел вернуться...»

Митя попытался вспомнить это другое, и перед ним, совсем как несколько минут назад, промелькнуло множество сменяющих друг друга отрывистых картин, вместе похожих на фильм, склеенный из разных слайдов. Другое было связано с очень простым, таким, о чем никому и не расскажешь. Это были моменты, когда жизнь неожиданно приобретала смысл, и становилось ясно, что она на самом деле никогда его не теряла, а терял его он сам. Но причина того, что этот смысл становился виден опять, была непонятна, а изображения на сменяющихся в его сознании слайдах были самыми обычными — например, проходящие по ночному потолку полосы света, похожие на лучи зенитных прожекторов, которые никак не могут поймать люстру, или вид из окна электрички на вечернее небо, уходящее в просеку, или — чаще всего — разворот какой-нибудь книги. Но странное и невыразимое знание, связанное со всем этим, давно исчезло, а то, что осталось в памяти, было больше всего похоже на фантики от конфет, съеденных каким-то существом, которое постоянно и незаметно присутствовало в любой его мысли (кажется, и само оно было мыслью, только сложной), но все время пряталось от взгляда.

А сейчас, сразу же понял Митя, это существо, всю жизнь выедавшее его изнутри, не успело отпрыгнуть. Это, наверное, и был труп — тогда слова Димы оказывались просто печальной метафорой, и со всем этим ничего нельзя было поделать, разве что подобрать камень побольше и ударить самого себя по голове. Размышляя, как это может так быть, что сложная неощутимая мысль все время присутствует в других мыслях, которые просты и очевидны, Митя подошел к своему спутнику, все так же стоящему на краю площадки.

— Я все понял, — сказал он. — Понял, о чем ты говорил. Эй.

Дима медленно обернулся. Это был никакой не Дима.

Митя увидел перед собой собственное лицо, только синее и усталое, с закрытыми глазами. А потом ему на плечо легла его собственная ладонь. То есть ладонь принадлежала тому, кто стоял перед ним, но одновременно он почувствовал, что сам взял кого-то рукой за плечо. И этот кто-то тоже был он сам. Митя завыл от ужаса, неловко ткнул кулаком в ничего не выражающее лицо и тотчас почувствовал косой удар по собственной скуле. Он схватил того, кто стоял перед ним, за горло и почувствовал, что его самого тоже кто-то душит. Он изо всех сил сжал пальцы и понял, что еще секунда — и он задохнется. Тогда он чуть ослабил хватку и сразу почувствовал, что может сделать вдох. Он убрал руки, и одновременно разжались пальцы на его горле.

«Понятно, — подумал Митя, — это как зеркало. А от зеркала можно только уйти». Он повернулся, поднял ногу, чтобы шагнуть прочь, и почувствовал ладонь на своем левом плече и плечо под своей правой ладонью. Труп опять стоял перед ним. Митя испытал мгновенный приступ ярости, ударил труп коленом в живот и сразу же согнулся, со свистом втягивая

воздух в непослушные легкие. Это было тяжело не только потому, что от удара перехватило дыхание, а еще и потому, что пальцы трупа опять с тупым усердием сомкнулись на его шее, и, чтобы сделать вдох, пришлось ослабить собственную хватку на холодном синем горле.

«Нет, — подумал Митя, — так не выйдет. А может, перекрестить его? На всякий случай? Хуже ведь не будет».

Труп высвободил одну руку, торопливо перекрестил Митю и опять схватил его за горло.

«Не помогает», — подумал Митя, и вдруг понял, что все то, что он думает, думает не он, а труп.

— Эй, — раздался голос сверху, — ты еще долго с ним обниматься будешь?

Митя поднял глаза. Дима, свесив ноги, сидел на высоком камне в нескольких метрах справа и глядел на вяло текущую внизу схватку.

— Дай ему по яйцам, — посоветовал он. — А потом, когда согнется, замком по шее.

— Он меня задушит, — просипел Митя. — Что с ним делать?

— Не знаю, — ответил Дима. — Это ведь не мой труп, а твой. Делай, что хочешь. Все в твоих руках.

Несколько минут Митя стоял напротив трупа, глядя ему в лицо. Ничего ужасного в этом лице не было — оно было спокойным и усталым, как будто труп держался руками не за его горло, а за поручень вагона метро, в котором возвращался домой с давно обрыдлой работы.

— Если бы это, не дай Бог, происходило со мной, — наконец сказал Дима со своего камня, — я бы перво-наперво как следует рассмотрел то, что передо мной стоит.

Митя еще раз поглядел на умное лицо трупа и заметил на нем почти неуловимую гримасу разочарования и опыта, тень бесчисленных несбывшихся надежд. Митя догадывался, каких именно надежд — его собственных. Вместо отвращения и страха он на секунду испытал к трупу что-то вроде понимания и жалости, и тут же его горло опять сжали усталые холодные пальцы. Перед Митиными глазами замелькали цветные пятна, и он понял, что вот-вот потеряет сознание, а труп, привычно задушив его, включит в своей могиле свет и станет дочитывать Марка Аврелия. Это было настолько обидно, что Митя вдруг понял, чем отличается от трупа он сам. А в следующую секунду он ощутил, что его пальцы сжимают уже не горло, а что-то мягкое и чуть влажное.

Перед ним на земле стоял большой навозный шар, и его руки уходили в него почти по локоть.

Он вытащил их, несколько раз брезгливо встряхнул и повернулся к Диме.

— Что это?

— А то ты сам не видишь, — сказал Дима. — Навозный шар. Самое безжалостное существо в мире.

Это было правдой. Митя знал, что это, и отлично знал, что с этим делать.

«Сколько ты у меня украл, — подумал он, с ненавистью глядя на шар, — ведь вообще все, что было когда-то, украл...»

Он поднял было ногу, собираясь пнуть его, но понял, что бить некого, и в этом было самое обидное. Осторожно, чтобы не увязли руки, он нажал на поверхность шара — тот стронулся с места неожиданно легко, — подкатил его к обрыву и толкнул вперед.

Шар прокатился несколько метров по крутому склону, оторвался от него и исчез из виду. А через несколько долгих мгновений снизу долетел громкий всплеск.

Митя повернулся, медленно вернулся в центр площадки и сел прямо на землю, прислонясь спиной к камню. Через минуту подошел Дима и сел напротив.

— Я от него навсегда избавился? — спросил Митя.

— Нет, — сказал Дима. — Что ты. Ты просто посмотрел на то, что находится прямо перед тобой.

— И что, он опять придет?

— Конечно. Куда он денется. Чтобы избавиться от него даже на несколько секунд, тебе опять придется на него смотреть.

— А можно избавиться от него навсегда? Так, чтобы он уже не появлялся?

— Можно, — сказал Дима.

— Как?

— Посмотреть на то, что смотрит, — сказал Дима. — Только не спрашивай, как. Этого тебе никто никогда не сможет сказать.

— А как это сделать?

Дима засмеялся.

— Просто посмотреть, и все, — сказал он. — Недавно ты упал вниз. В колодец. Помнишь? А теперь попробуй упасть вверх. Прямо сейчас, пока он не вернулся. Потом надо будет все начинать сначала.

Митя поднял глаза и вдруг увидел, что перед ним опять не Дима. Перед ним был кто-то другой или, скорее, что-то другое. И сидели они уже не среди каменных выступов на маленькой земляной площадке, а совсем в другом месте, и не сидели, а просто находились, потому что сидеть там было не на чем. Собственно, и не они — Мити уже не было, а был только тот, на кого он смотрел.

Это была фигура, лицо и руки которой были чистым светом, но на них можно было смотреть так же, как на любые другие руки или лицо. Он знал все про эту фигуру, точнее — она знала все про него, но это было одно и то же, потому что это и был он сам. Но не тот, каким он себя знал и помнил.

То, на что он смотрел, на самом деле не имело ни тела, ни какой-либо определенной формы. Но чтобы можно было смотреть на это, надо было придать ему какие-нибудь очертания, что, как Митя понял, он и сделал совершенно автоматически. Ясно было только одно — главное, тайное, что он всю жизнь охранял от других и самого себя, было кривым и тусклым отражением того, что он сейчас видел. Все лучшее в его жизни было просто каплями свободы и счастья, которые медленно, по одной просачивались к нему из неизвестного мира, где ничего, кроме свободы и счастья, не было. А сейчас вход в этот мир был открыт.

И Митя понял, что он всегда был просто тусклым отблеском этого существа, его бессильной и искаженной тенью.

И одновременно он понял, что всегда и был этим существом, потому что никем другим он просто не мог быть. То, что он считал собою раньше, оказалось чем-то вроде солнечного зайчика, луча света, который упал на неизвестную поверхность и образовал множество разноцветных пятен, так притянувших к себе его внимание, что то ли он стал думать, что он и есть эти разноцветные движущиеся пятна, то ли пятна стали думать, что они — это он.

Он был изображением на экране, и вдруг это изображение развернулось, посмотрело в точку, откуда падал свет, и увидело, что оно и есть этот свет. Но что тогда было изображением? Митя взгляделся в него и увидел, что это тоже он. Он подумал, что все дело в экране, но когда он перевел взгляд на него, оказалось, что это тоже он сам, после чего стало совершенно непонятно, как это он смог упасть сам на себя и образовать изображение, которое тоже он.

Митя попытался назвать собой хоть что-нибудь из всего этого и не смог. Он был всем этим и абсолютно ничем — просто игрой света и тени, на которую смотрело то, что было им на самом деле, хотя на самом деле не было ничего такого, что было бы им — Митей, сидящим на холодной каменной поверхности прекрасного и непостижимого мира, прислонясь спиной к неровному выступу скалы.

Он встал и огляделся. Димы нигде не было видно. Потом он заметил слабый дрожащий свет, мелькнувший в расщелине между двумя скалами, и решил, что Дима там. Дойдя до расщелины, он щелкнул зажигалкой, протянул ее вперед и шагнул через похожий на порог каменный выступ. Скалы смыкались над головой, образуя правильный полукруглый свод. Митя увидел впереди слабый огонек и крикнул:

— Дима! Где ты?

Тот не ответил.

— Кто ты такой? — крикнул Митя и пошел вперед.

Огонек тронулся ему навстречу, и через несколько шагов его вытянутая вперед рука с быстро нагревающейся зажигалкой уперлась в зеркало

в тяжелой полукруглой раме из темного дерева. Митя помотал головой, чтобы прийти в себя, отвернулся от зеркала и увидел перед собой занавешенное марлей окно — за ним дрожали отблески разноцветных огней расположенной неподалеку танцплощадки, над которой уже всю гремела музыка.

12. ТРИ ЧУВСТВА МОЛОДОЙ МАТЕРИ

Доедая последнюю мятую сливу, Марина совершенно не волновалась насчет будущего — она была уверена, что ночью найдет все необходимое на рынке. Но когда она решила узнать, не ночь ли на дворе, и сползла с кучи слежавшегося под ее тяжестью сена, она увидела, что выхода на рынок нет, и вспомнила, что Николай заделал его почти сразу после своего появления. Сделал он все настолько аккуратно и основательно, что не осталось никаких следов, и Марина даже не могла определить, где этот выход был. Она отчаянно огляделась: из черной дыры, перед которой лежал сплетенный Николаем половичок, тянуло ледяным ветром, а остальные три стены были совершенно одинаковыми — черными и сырыми. Начинать рыть ход заново нечего было и думать — не хватило бы сил: Марина, бесильно зарывав, упала на сено. В фильме, который она стала вспоминать, возможность такого поворота событий не предусматривалась, и Марина совершенно не представляла, что делать.

Наплакавшись, она несколько успокоилась — во-первых, ей не особенно хотелось есть, а во-вторых, еще оставались два тяжелых свертка, с которыми она вышла из театра. Решив перетащить их в камеру, Марина протиснулась в черную дыру и поползла по узкому кривому лазу, в который намело довольно много снега. Через несколько метров она ощутила, что ползти ей очень трудно — бока все время цеплялись за стены. Ощупав себя руками, она с ужасом поняла, что за те несколько дней, что она пролежала на сене, приходя в себя после гибели Николая, она невероятно растолстела; особенно раздалась талия и места, где раньше росли крылья — теперь там были настоящие мешки жира. В одном особенно узком участке коридора Марина застряла и решила даже, что теперь ей отсюда не выбраться, но все же после долгих усилий ей удалось доползти до выхода. Баян и свертки лежали на том же месте, где она их оставила, только были занесены снегом. Подумав, Марина решила не тащить с собой баян и взяла назад только свертки, а баяном изнутри подперла крышку, закрывавшую вход в нору.

Кое-как вернувшись на место, Марина устало поглядела на серую газетную бумагу свертка. Она догадывалась, что найдет внутри, и поэтому не очень спешила их разворачивать. На бумаге крупным псевдославянским шрифтом было напечатано: «Магаданский муравей», а сверху — подчеркнутый девиз «За наш магаданский муравейник!», набранный готическим курсивом. Ниже была фотография, но что именно на ней изображено, Марина не поняла из-за корки засохшей крови, которой был покрыт весь низ свертка; единственное, что она разобрала из подзаголовков, это что номер воскресный и посвящен в основном вопросам культуры. Марину томило незнакомое физическое ощущение, и, чтобы развеяться, она решила немного почитать. Осторожно отвернув начало листа, она увидела с другой его стороны столбцы текста.

Первой шла статья майора Бугаева «Материнство». Увидев это слово, Марина ощутила, как у нее екнуло в груди. Со всем вниманием, на которое была способна, она начала читать.

«Приходя в эту жизнь, — писал майор, — мы не задумываемся над тем, откуда мы взяли и кем мы были раньше. Мы не размышляем о том, почему это произошло — мы просто ползем себе по набережной, поглядывая по сторонам, и слушаем тихий плеск моря».

Марина вздохнула и подумала, что майор знает жизнь.

«Но наступает день, — читала она дальше, — когда мы узнаём, как устроен мир, и понимаем, что наша первая обязанность перед природой и обществом — дать жизнь новым поколениям муравьев, которые продолжат начатое нами великое дело и впишут новые славные страницы в нашу

многовековую историю. В этой связи считаю необходимым остановиться на чувствах молодой матери. Во-первых, ей свойственна глубокая и нежная забота о снесенных яйцах, которая находит выражение в постоянном попечении. Во-вторых, ее не оставляет легкая печаль, являющаяся следствием непрестанных размышлений о судьбе потомства, часто непредсказуемой в наше беспокойное время. И в-третьих, ее не покидает радостная гордость от сознания...»

Последнее слово упиралось в сохшуюся коричневую корку, и Марина, хмурясь от нахлынувших на нее незнакомых чувств, перевела взгляд на соседний столбец.

«Для коммунистической партии Латвии я оказался чем-то вроде Кассандры», — прочла она и отбросила газету.

— А ведь я беременна, — сказала она вслух.

Первое яйцо Марина снесла незаметно для себя, во сне. Ей снилось, что она опять стала молоденькой самочкой и строит снеговика во дворе Магаданского оперного театра. Сначала она слепила маленький снежок, потом стала катать его по снегу, и постепенно он становился все больше и больше, но почему-то был не круглым, а сильно вытянутым, и, как ни старалась Марина, она не могла придать ему круглую форму.

Когда она проснулась, то увидела, что во сне сбросила с себя штору и, разметавшись, лежит на сене, а на полу возле постели — в том месте, где раньше стояли сапоги Николая, — белеет предмет, точь-в-точь повторяющий странный снежный ком из ее сна. Марина пошевелилась — и на пол скатилось еще одно яйцо. Она испуганно вскочила, ее тело начало содрогаться в неудержимых, но практически безболезненных спазмах. На пол упало еще несколько яиц. Они были одинаковые, белые и холодные, покрытые мутной упругой кожурой, а по форме напоминали дыни средних размеров; всего их было семь.

«Что ж теперь делать?» — озабоченно подумала Марина, и тут же ей стало ясно, что надо было первым делом вырыть для яиц нишу.

Привычно откидывая совком землю, Марина прислушивалась к своим чувствам и с недоумением замечала, что совсем не испытывает радости материнства, так подробно описанной майором Бугаевым. Единственными ее ощущениями были озабоченность, что ниша выйдет слишком холодной, и легкое отвращение к снесенным яйцам.

Видно, роды отобрали у нее слишком много сил, и, закончив работу, она ощутила усталость и голод. Есть можно было только то, что было в свертке, и Марина решила.

— Я ведь это не для себя, — сказала она, обращаясь к кубу темного пространства, в центре которого она сидела на четвереньках, — я для детей.

В первом свертке оказалась ляжка Николая в заскорузлой от крови зеленой военной штанине. Своими острыми жвалами Марина распорол штанину вдоль красного лампаса и стянула ее, как колбасную шкурку. На ляжке у Николая была татуировка — веселые красные муравьи с картами в лапках сидели за столом, на котором стояла бутылка с длинным узким горлышком. Марина подумала, что ничего, в сущности, не успела узнать про своего мужа, и откусила от ляжки небольшой кусок.

На вкус Николай оказался таким же меланхолично-основательным, каким был при жизни, и Марина заплакала. Она вспомнила его сильные и упругие передние лапки, поросшие редкой рыжей щетиной; их прикосновения к ее телу, раньше вызывавшие только скуку и недоумение, теперь показались ей исполненными тепла и нежности. Чтобы прогнать тоску, Марина стала читать клочки газеты, лежавшие перед ней на полу.

«Для негодования уже не остается сил, — писал неизвестный автор, — можно только поражаться бесстыдству масонов из скандально знаменитой ложи П-4 («психоанализ-четыре»), уже много десятилетий измывающихся над международной общественностью и протерших свою изуверскую наглость до того, что в центре мировой научной полемики благодаря их усилиям оказались два самых гнусных ругательства древнекоптского языка, которым масоны пользуются для оплевывания чужих национальных святынь. Речь в данном случае идет о выражениях «sigmund freud» и «eric bepp», в переводе означающих соответственно, «вонючий козел» и «эректированный волчий пенис». Когда же магаданская наука, последняя из нор-

дических наук, стряхнет с себя многолетнее оцепенение и распрямит свою могучую спину?»

Марина не понимала, о чем идет речь, но догадывалась, что за газетным обрывком стоит неведомый ей мир науки и искусства, который она мимоходом видела на старом расписном щите возле моря: мир, населенный улыбающимися широкоплечими мужчинами с логарифмическими линейками и книгами в руках, детьми, мечтательно глядящими в неведомую взрослым даль, и небывалой красоты женщинами, замершими у весенних роялей и кульманов в тревожном ожидании счастья. Марине стало горько оттого, что она никогда уже не попадет на этот фанерный щит, но это еще могло произойти с ее детьми, и она ощутила беспокойство за лежащие в нише яйца. Она подползла к ним поближе и стала внимательно их изучать.

Мутная пелена на поверхности яиц успела рассосаться, стали видны зародыши. Они совершенно не походили на муравьев, а скорее напоминали толстых червячков, но следы их будущего строения были уже различимы. Пять из них были бесполоыми рабочими насекомыми, шестой и седьмой имели крылышки, и Марина с радостным испугом увидела, что один из них — мальчик, а другой — девочка. Она вернулась к кровати, надергала сена и тщательно обложила им яйца, потом накрыла их снятой с себя шторой и зарылась в остатки сена. Оно неприятно кололо голое тело, но Марина старалась не обращать внимания на это неудобство. Некоторое время она с нежностью глядела на получившееся гнездышко, а потом ее глаза закрылись, и ей начала сниться магаданская наука, распрямляющая спину под черным небом Ледовитого океана.

На следующее утро она заметила, что хоть уже долгое время ничего не ела, но растолстела до такой степени, что не только потеряла возможность вылезти в коридор, но и в самой камере помещается лишь потому, что лежит по диагонали, головой к кладке яиц. Ей трудно было представить, как она раньше протискивалась в крохотный квадратный лаз, отверстие которого чернело на стене. Из-за складок жира на шее она даже не могла толком повернуть голову, чтобы посмотреть, какой она стала, но чувствовала, что там, за шеей, течет по своим законам жизнь большого самодостаточного тела, которое уже не совсем Марина — Мариной оставалась только голова с немногими мыслями и пара еще подчиняющихся этой голове лапок (остальные были намертво придавлены брюхом к полу). В теле бродили соки, в его недрах раздавались странные заворачивающие звуки, и оно, совершенно не спрашивая у Марины ни разрешения, ни совета, иногда начинало медленно сокращаться или переваливалось с боку на бок. Марина думала, что дело тут в генах: за все время с тех пор, как она стала матерью, она съела только ляжку Николая, и то не потому, что сильно хотелось есть, а чтобы та не испортилась.

Шли дни. Однажды она проснулась с чувством голода, который не походил ни на что из испытанного ею раньше: сейчас голодна была не худенькая девушка из прошлого, а огромная масса живых клеток, каждая из которых пищала тоненьким голосом о том, как ей хочется есть. Решившись, Марина подтянула к себе второй сверток, развернула его и увидела бутылку шампанского. Сначала она обрадовалась, потому что так и не попробовала шампанского в театре и часто думала, какое оно на вкус, но потом поняла, что осталась совсем без еды. Тогда она протянула лапки к яичной кладке, выбрала яйцо, в котором медленно созревал бесполоый рабочий муравей, подтянула его и, не давая себе опомниться, вонзила жвала в хрустнувшую полупрозрачную оболочку. Яйцо оказалось вкусным и очень сытным, и Марина до того, как пришла в себя и вновь приобрела контроль над своими действиями, съела целых три.

«Ну и что, — подумала она, чувствуя, как к горлу подступает сытая отрыжка, — пусть хоть кто-то останется. А то все вместе...»

Сильно захотелось шампанского, и Марина стала открывать бутылку. Шампанское хлопнуло, не меньше трети содержимого белой пеной выплеснулось на пол. Марина расстроилась, но потом вспомнила, что точно так же было в фильме, и успокоилась. Шампанское ей не очень понравилось, потому что в рот из бутылки попадала только пузырящаяся пена, которую трудно было глотать, но все же она допила его до конца, отбросила пустую бутылку в угол и стала изучать газету, в которую та была упакована. Это тоже был номер «Магаданского муравья», но не такой ин-

тересный, как прошлый. Почти весь его объем занимал репортаж с магаданской конференции сексуальных меньшинств; это ей было скучно читать, но зато на большой групповой фотографии она нашла автора статьи о материнстве майора Бугаева — он был, как следовало из подписи, пятый сверху.

Отложив газету, Марина прислушалась к ощущениям от собственного тела. Не верилось, что все это толстое и огромное и есть она. Или, наоборот, этому огромному и толстому уже не верилось, что оно — это Марина.

«А вот начну с завтрашнего дня спортом заниматься, — чувствуя, как из живота к мозгу медленно поднимается пузырящаяся надежда, подумала Марина, — похудею, опять пророю ход на юг, к морю... И найду на пляже какого-нибудь парализованного генерала. Он на мне женится, и...»

Дальше Марина боялась даже думать. Но она ощутила, что еще молодая, еще полна сил, и, если не сдаваться обстоятельствам, вполне можно начать все сначала. Потом она задремала и спала очень долго, без сновидений.

Разбудили ее чавкающие звуки. Марина открыла глаза и обомлела. Из угла на нее смотрели два больших ничего не выражающих глаза. Сразу под глазами были острые сильные челюсти, которые быстро что-то перетирали, а ниже располагалось небольшое червеобразное тельце белого цвета, покрытое короткими и упругими чешуйками.

— Ты кто? — испуганно спросила Марина.

— Я твоя дочь Наташа, — ответило существо.

— А что это ты ешь? — спросила Марина.

— Яйцо. — невинно прошамкала Наташа.

— А...

Марина поглядела на нишу с яйцами, увидела, что та совершенно пуста, и подняла полные укора глаза на Наташу.

— А что делать, мам, — сквозь набитый рот ответила та, — жизнь такая. Если б Андрюшка быстрее вылупился, он бы сам меня слопал.

— Какой Андрюшка?

— Братишка, — ответила Наташа. — Он мне говорит, значит, давай маму разбудим. Прямо из яйца еще говорит. Я тогда говорю: а ты, если б первый кожуру прорвал, стал бы маму будить? Он молчит. Ну, я и...

— Ой, Наташа, ну разве так можно, — прошептала Марина, покачивая головой и разглядывая Наташу. Она уже не думала о яйцах — все остальные чувства отступили перед удивлением, что это странное существо, запросто двигающееся и разговаривающее — ее родная дочь. Марина вспомнила фанерный щит у видеобара, изображавший недостижимо прекрасную жизнь, и попыталась в своем воображении поместить на него Наташу. Наташа молча на нее глядела, потом спросила:

— Ты чего, мам?

— Так, — сказала Марина. — Знаешь что, Наташа, сползай-ка в коридор. Там баян стоит. Принеси его сюда, только осторожней, смотри, чтобы крышка вниз не упала. Снегу наметет.

Через несколько минут Наташа вернулась с источающей холод черной коробкой.

— Теперь послушай, Наташа, — сказала Марина. — У меня была тяжелая и страшная судьба. У твоего покойного папы тоже. И я хочу, чтобы с тобой все было иначе. А жизнь очень непростая вещь.

Марина задумалась, пытаясь в несколько слов сжать весь свой горький опыт, все посещавшие ее долгими магаданскими ночами мысли; чтобы передать Наташе главный итог своих раздумий.

— Жизнь, — сказала она, отчетливо вспомнив торжествующую улыбку на лице завернутой в лимонную штору сраной уродины, — это борьба. В этой борьбе побеждает сильнейший. И я хочу, Наташа, чтобы победила ты. С сегодняшнего дня ты будешь учиться играть на баяне твоего отца.

— Зачем? — спросила Наташа.

— Ты станешь работником искусства, — объяснила Марина, кивая на черную дыру в стене, — и пойдешь работать в магаданский военный оперный театр. Это прекрасная жизнь, чистая и радостная (Марина вспомнила виденного в театре седого генерала со сточенными жвалами), полная встреч с самыми удивительными людьми. Хочешь ты так жить? Поехать во Францию?

- Да, — тихо ответила Наташа.
 — Ну вот, — сказала Марина, — тогда начнем прямо сейчас.

Успехи Наташи были удивительными. За несколько дней она так здорово выучилась играть, что Марина про себя решила — все дело в отцовской наследственности. Единственной нотной записью, которую они с Наташей нашли в «Магаданском муравье», оказалась музыка песни «Стража на Зее», приведенная там в качестве примера истинно патриотического искусства. Наташа стала играть сразу же, прямо с листа, и Марина потрясенно вслушивалась в рев морских волн и завывание ветра, которые сливались в гимн непреклонной воле одолевшего все это муравья, и размышляла о том, какая судьба ждет ее дочь.

— Вот такие песни, — шептала она, глядя на быстро скачущие по клавишам пальцы Наташи.

Потом Марина подумала о мелодии из французского фильма и напела дочке то, что смогла. Наташа сразу же подхватила мотив, сыграла его несколько раз, а потом поразмышляла, сыграла его несколько иначе и Марина вспомнила, что именно так в фильме и было. После этого она окончательно поверила в свою дочь, и, когда Наташа засыпала рядом, Марина заботливо накрывала шторой беззащитную белую колбаску ее тельца, словно Наташа была еще яйцом.

Иногда по вечерам они начинали мечтать, как Наташа станет известной артисткой, и Марина придет к ней на концерт, сядет в первый ряд и даст наконец волю гордым материнским слезам. Наташа очень любила играть в такие концерты — она садилась перед матерью на фанерную коробку, прижимала баян к груди и исполняла то «Стражу на Зее», то «Подмосковные вечера»; Марина в самый неожиданный момент прерывала ее игру тоненьким криком «браво» и начинала истоиво бить друг о друга двумя последними действующими лапками. Тогда Наташа вставала и кланялась; выходило это у нее так, словно всю свою жизнь перед этим она ничего другого не делала, и Марине оставалось только клоком сена размазывать по лицу сладкие слезы. Она чувствовала, что живет уже не сама, а через Наташу, и все, что ей теперь нужно от жизни — это счастья для дочери.

Но шли дни, и Марина стала замечать в дочери странную вялость. Иногда Наташа замирала, баян в ее руках смолкал, и она надолго уставилась в стену.

— Что с тобой, девочка? — спрашивала Марина.

— Ничего, — отвечала Наташа и принималась играть вновь.

Иногда она бросала баян, уползала в ту часть камеры, которой Марина не могла видеть, и не отвечала на вопросы, занимаясь там непонятным. Иногда к ней приходили друзья и подружки, но Марина не видела их, а слышала только молодые самоуверенные голоса. Однажды Наташа спросила ее:

— Мама, а кто лучше живет — муравьи или мухи?

— Мухи-то лучше, — ответила Марина, — но до поры до времени.

— А после поры до времени?

— Ну как тебе сказать, — задумалась Марина. — Жизнь у них, конечно, неплохая, но очень неосновательная и, главное, без всякой уверенности в будущем.

— А у тебя она есть?

— У меня? Конечно. Куда я отсюда денусь.

Наташа задумалась.

— А в моем будущем у тебя уверенность есть? — спросила она.

— Есть, — ответила Марина, — не волнуйся, милая.

— А ты можешь так сделать, чтобы ее у тебя больше не было?

— Что? — не поняла Марина.

— Ну, можешь ты так сделать, чтобы не быть насчет меня ни в чем уверенной?

— А почему ты этого хочешь?

— Почему, почему. Да потому, что, пока у тебя будет уверенность в моем будущем, я отсюда тоже никуда не денусь.

— Ах ты дрянь неблагодарная! — рассердилась Марина. — Я тебе все отдала, всю жизнь тебе посвятила, а ты...

Она замахнулась на Наташу, но та быстро уползла в угол камеры, где Марина не могла ее даже видеть.

— Наташа, — через некоторое время позвала Марина, — слышишь, Наташа!

Но Наташа не отвечала. Марина решила, что дочь обиделась, и решила больше ее не трогать. Опустив голову, она задремала. Утром на следующий день она очень удивилась, не нащупав рядом упругого Наташиного тельца.

— Наташа! — позвала она.

Никто не отозвался.

— Наташа! — повторила Марина и беспокойно заерзала на месте.

Наташа не отвечала, и Марина испытала самую настоящую панику. Она попробовала повернуться, но огромное жирное тело совершенно ей не подчинялось. У Марины мелькнула мысль, что оно, может быть, еще в состоянии двигаться, но просто не понимает, чего Марина от него хочет, или не в состоянии расшифровать сигналы, идущие от мозга к его мышцам. Марина сделала колоссальное волевое усилие, но единственным ответом тела было раздавшееся в его недрах тихое урчание. Марина попыталась еще раз, и ее голова немного повернулась вбок. Стал виден другой угол камеры, и Марина, изо всех сил выворачивая глаз, рассмотрела висящий под потолком небольшой серебристый кокон, состоящий, как ей показалось, из множества рядов тонких шелковых нитей.

— Наташа, — опять позвала она.

— Ну что, мам? — долетел из кокона тихий-тихий голос.

— Ты что это? — спросила Марина.

— Известно что, — ответила Наташа. — Окуклилась. Пора уже.

— Окуклилась? — переспросила Марина и заплакала. — Что ж ты меня не позвала? Совсем уже взрослая стала, выходит?

— Выходит так, — ответила Наташа. — Своим умом теперь жить буду.

— И что ты делать хочешь, когда вылупишься? — спросила Марина.

— А в мухи пойду, — ответила Наташа из-под потолка.

— Шутишь?

— И ничего не шучу. Не хочу так, как ты, жить, понятно?

— Наташенька, — запричитала Марина, — цветик! Опомнись! В нашей семье такого позора отроду не было!

— Значит, будет, — спокойно ответила Наташа.

На следующее утро Марина проснулась от скрипа. Висящий под потолком кокон слегка покачивался, и Марина поняла, что Наташа готова вылупиться.

— Наташа, — стараясь говорить спокойно, начала Марина, — пойми. Чтобы пробиться к свободе и солнечному свету, надо всю жизнь старательно работать. Иначе это просто невозможно. То, что ты собираешься сделать, — это прямая дорога на дно жизни, откуда уже нет спасенья. Понимаешь?

Кокон треснул вдоль всей длины, и из появившегося в его верхней части отверстия высунулась голова — это была Наташа, но совсем не та девочка, с которой Марина долгими вечерами играла в магаданские концерты.

— А мы, по-твоему, где живем? На потолке, что ли? — грубо отозвалась она.

— Смотри, — с угрозой сказала Марина, еле удерживая взгляд на коконе, — вернешься вся ободранная, яиц в подоле принесешь — на порог тебя не пуц.

— Ну и не надо, — ответила Наташа.

Она уже разорвала стенку кокона, и вместо скромного муравьиного тельца с четырьмя длинными крыльями Марина увидела типичную молодую муху в блядском коротеньком платьице зеленого цвета с металлическими блестками. Наташа была, конечно, красива, но совсем не целомудренной и быстрорастворимой красотой муравьиной самки. Она выглядела крайне вульгарно, но в этой вульгарности было нечто завораживающее и притягательное, и Марина поняла, что мордастый мужик из французского фильма, случись ему выбирать между Мариной, какой она была в молодости, и Наташей, выбрал бы, несомненно, Наташу.

— Проститутка! — выпалила Марина, чувствуя, как к оскорбленным родительским чувствам примешивается темная женская ревность.

— Сама проститутка, — не оборачиваясь, отозвалась Наташа, занятая своей прической.

— Ты... Ах ты... — зашипела Марина, — на мать... Прочь из моего дома! Слышишь, прочь!

— Сейчас сама уйду, — сказала, заканчивая туалет, Наташа. — Больно надо.

— Немедленно! — закричала Марина. — Какими словами на маты! Прочь отсюда!

— И баян мне твой надоед, старая дура, — бросила Наташа. — Сама на нем играй, пока не подохнешь.

Марина уронила голову на сено и в голос зарыдала. Она ожидала, что через несколько минут Наташа опомнится и приползет извиняться, и даже решила не извинять ее сразу, а некоторое время помучить, но вдруг услышала у себя за спиной звяканье врезающегося в землю совка.

— Наташа, — закричала она, чудовищным усилием поворачивая голову, — что ж ты делаешь!

— Ничего, — ответила Наташа, — наружу выбираюсь.

— Так вон ведь выход! Ты что, хочешь все разрушить, что мы с отцом построили?

Наташа не ответила, она продолжала сосредоточенно копать, и какие бы материнские проклятия ни обрушивала на ее голову Марина, даже не оборачивалась. Тогда Марина, как могла, приблизила голову к черной дыре в стене и завопила:

— Помогите! Люди добрые! Милиция!

Но ответом ей было только далекое завывание ледяного ветра.

— Спасите! — опять заорала Марина.

— Да чего ты орешь, — тихо сказала из-под потолка Наташа, — во-первых, добрых людей там нет, а во-вторых, все равно никто не услышит.

Марина поняла, что дочь права, и впала в оцепенение. Под потолком мерно позвякивал совок, так продолжалось час или два, а потом в камеру упал солнечный луч и ворвался полный забытых запахов свежий воздух; Марина вдохнула его и неожиданно поняла, что тот мир, который она считала навсегда ушедшим в прошлое вместе с собственной юностью, на самом деле совсем рядом, и там началась осень, но еще долго будет тепло и сухо.

— Пока, мама, — сказала Наташа.

«Улетает», — поняла наконец Марина и закричала:

— Наташа! Сумку хоть возьми!

— Спасибо! — крикнула сверху Наташа. — Я взяла!

Она чем-то прикрыла прорытую наверх дыру, и в камере опять стало темно и холодно, но тех нескольких секунд, пока светило солнце, хватило Марине, чтобы вспомнить, как все было на самом деле в тот далекий полдень, когда она шла по набережной и жизнь тысячью тихих голосов, доносящихся от моря, из шуршащей листвы, с неба и из-за горизонта, обещала ей что-то чудесное.

Марина поглядела на стопку газет и с грустью поняла, что это все, что у нее осталось, точнее, все, что осталось для нее у жизни. Ее обида на дочь прошла, и единственное, чего она хотела — это чтобы Наташе повезло на набережной больше, чем ей. Марина знала, что дочь еще вернется, но знала и то, что теперь, как бы близко к ней ни оказалась Наташа, между ними всегда будет тонкая, но непрозрачная стена — словно то пространство, где они когда-то играли в магаданские концерты, вдруг разделила доходящая до потолка комнаты глухая желтая ширма.

ЭНТОМОПИЛОГ

— То есть я как хочу сделать, Паш, — тонким тенорком говорил Арнольду Сэм, — я туда поеду и возьму корыто, а назад своим ходом. Тут я корыто продам, а продам я его, Паша, круто. Они сейчас дорогие. И тогда у меня с прибабахом на два новых выйдут...

Они сидели на высоком деревянном заборе в начале набережной, свесив ноги к земле. Сэм походил на впавшего в транс медиума — его пальцы

были вжаты в пластмассовые бока чемоданчика с такой силой, что побелели ногти, а лицо, покрытое маленькими бусинками пота, было до крайности сосредоточено; глядел он в сторону моря, но явно видел на его месте что-то совсем другое.

— Но это, понятно, через баксы, — бессвязно бормотал Сэм, — а то их все продали, как курс вниз пошел, вот с рублями, козлы, и остались... Ты ведь понимаешь, Паш, не на голое место еду... А кстати, тебе охотничий билет нужен?

— Зачем это? — спросил Арнольд.

— А чтоб официально на стене висело. Если придут квартиру грабить — снимешь, и... Ты подумай только, Паш, какая сильная вещь! Я сейчас оформляю себе — четыре инстанции надо пройти, и везде взятки платишь. Выходит примерно два с половиной. И еще у меня одна мысль есть...

Снизу послышался скрип, и Арнольд увидел приближающийся к забору навозный шар, облепленный зелеными и желтыми листьями.

«Уже осень» — подумал он с грустью.

За шаром бежал маленький мальчик.

— Эй, — крикнул он, — вас зовут! Просили к столикам подойти.

— Кого зовут? — спросил Арнольд. — И кто?

— Не знаю, — ответил мальчик. — Просто просили передать, что с Наташей плохо. Вы не знаете, где тут пляж? А то в тумане не видно ничего.

— Прямо, — сказал Арнольд и неопределенно махнул рукой.

— Спасибо, — сказал мальчик и толкнул свой шар дальше.

Арнольд некоторое время глядел ему вслед, краем уха слушая темные речи Сэма.

— А если ты хочешь, Паш, поезжай со мной в Венгрию. Билет шестьдесят долларов, дорогой, но поехать стоит. И насчет ружья тоже подумай — вещь очень сильная...

Арнольд потряс его за плечо.

— Сэм, — сказал он, — очнитесь.

Сэм встрепенулся, помогая головой и поглядел по сторонам. Потом он раскрыл чемодан, поплевал красным в стеклянную баночку и спрятал ее назад.

— Это уже интересней, — своим обычным голосом сказал он, — здесь хоть какая-то перспектива просматривается. Что случилось?

— Не знаю, — сказал Арнольд. — С Наташей плохо.

— О Господи, — сказал Сэм, — вот оно. Начинается.

Он спрыгнул на газон и стал ждать; пока Арнольд завершит сложные эволюции со своим жирным телом.

— Если хотите знать мое мнение, — сказал Арнольд, грузно приземлившись в траву, — в таких ситуациях надо вести себя жестко с самого начала. Никакой неопределенности. Иначе обоим будет только хуже. Не давайте никаких надежд.

Сэм ничего не сказал. Они вышли на набережную и молча пошли в сторону летнего кафе.

У одного из его столиков собралась небольшая толпа, и уже при первом взгляде на нее было ясно, что произошло что-то нехорошее. Сэм поблел и побежал вперед. Растолкав зрителей, он протиснулся вперед и замер.

Со стола свисал, покачиваясь под ветром, узкий желтый лист липучки. К нему пристало несколько мелких листьев и бумажек, а в самом его центре, бессильно склонив голову, висела Наташа. Ее крылья были распластаны по поверхности листа и уже успели пропитаться ядовитой слизью; одно было отогнуто в сторону, а другое непристойно задрано вверх. Под ее закрытыми глазами чернели синяки в пол-лица, а зеленое платье, когда-то пленившее Сэма своим веселым блеском, теперь потускнело и покрылось бурыми пятнами.

— Наташа! — вскрикнул Сэм, кидаясь вперед, — Наташа!

Его удержали. Наташа открыла глаза и слабо улыбнулась.

— Сэм, — с усилием открывая рот, сказала она, — хорошо, что ты пришел. Видишь, а ты мне не верил. Вот тебе и права насекомых.

— Наташа, — прошептал Сэм, — прости.

— Представляешь, Сэм, — тихо проговорила Наташа, — я ведь перед зеркалом тренировалась. Плиз чиз энд пепперони. Думала, с тобой поеду. Волновалась, как я там... Помнишь, Сэм, как мы с тобой купаться ходили?

А мама из своей шторы мне новое платье сшила. Я и не знала даже, смотрю — на диване лежит. Все говорила — Наташенька, поиграй мне еще на баяне, а то ведь уедешь скоро насовсем... Только ей не говорите... Пусть лучше думает, что я не попрощавшись уехала...

Наташа опустила голову, и на ее длинных ресницах заблестели маленькие капельки слез.

— Осторожно, — раздался слева женский бас. — Пропустите-ка.

К столику подошла официантка с багровым лишаем на строгом, как у судьбы, лице. В ее руке была огромная алюминиевая кастрюля с красной надписью «III отряд». Она поставила ее на землю, вытряхнула туда остатки пищи из стоявших на столе тарелок, а потом одним движением сильной и жестокой ладони сорвала со стола лист липучки с Наташей, смяла его в маленький желтый комок и кинула следом. Сэма опять еле удержали на месте. Официантка прикрепилась к столу свежую липучку, подхватила кастрюлю и пошла к следующему столу. Граждане стали расходиться, а Сэм все стоял на месте и глядел на свисающую со стола липкую желтую полоску.

— Пойдемте, Сэм, — услышал он тихий голос Арнольда. — Ей уже все равно не помочь. Идемте. Вам выпить надо, вот что. Пойдемте к Артуру, он сейчас в домик к покойному Арчибальду переехал. Две цистерны поставил и факс. Там тихо, уютно. Не смотрите только на эту липучку, я вас умоляю... Сэм, дайте человеку пройти...

Сэм шагнул в сторону, и мимо него прошла странная фигура в чем-то вроде серебристого плаща, край которого волочился по земле — а может быть, так выглядели сложенные за спиной тяжелые длинные крылья.

Два крупных навозных шара необычного красноватого отлива, стоявших у столика с приклеенным листом липучки, раскатились в стороны, и навстречу поплыла бетонная полоса набережной. Далеко впереди стоял шезлонг, в котором полулежал еще один навозный шар, рыжевато-черный. Когда шезлонг оказался ближе, стало видно, что это толстый рыжий муравей в морской форме; на его бескозырке золотыми буквами было выведено «Иван Крилов», а на груди блестел такой огород орденовских планок, какой можно вырастить, только унавожив нагрудное сукно долгой и бессмысленной жизнью. Держа в руке открытую консервную банку, он слизывал рассол с американской гуманитарной сосиски, а на парашюте перед ним стоял переносной телевизор, к антенне которого был привязан треугольный белый флажок. На экране телевизора в лучах нескольких прожекторов пританцовывала стрекоза.

Налетел холодный ветер, и муравей, подняв ворот бушлата, наклонился вперед. Стрекоза на экране несколько раз подпрыгнула, расправила прозрачные крылья и запела:

— Только никому
Я не дам ответа
Тихо лишь тебе я прошепчу...

Рыжий затылок муравья, по которому хлестали болтающиеся на ветру черные ленточки с выцветшими якорями, стал быстро наливать темной кровью.

Дмитрий сунул руки в карманы и пошел дальше. С его крыла сорвалась чешуйка и, плавно качнувшись в воздухе, приземлилась на покрытый облетевшими листьями бетон. Она была размером примерно с ладонь, с одного края лиловая, расцепленная на несколько темнеющих к концу хвостов, а с другого — белая, плавно сходящаяся в сияющую точку.

...Завтра улечу
В солнечное лето
Будду делать всё, что за хочу.

Генрих Сапгир

НОВЫЙ ВЕС И ОБЪЕМ

ЭЛЕГИИ

Сон земли

На террасе в полдень не мог уснуть — подбиралось солнце к лицу —
на щеке —
и приснилось мне — то ли перстень был не на той руке и на сердце давил —
что стихам своим дал я новый вес и объем — в эту комнату можно войти —
и ведет эта дверь в распахнутый сад — где яблони пахнут дождем
Ничего на свете страшней тебя — и прекрасней тебя земля —
только глубже уснуть — почти не дышать — чтобы пчелы запутались
в волосах —
уши коконами заросли — и две бабочки сели на спящие веки —
закрываются — открываются удивленные крылья-глаза
В этот полдень я провалился в ночь — но глаза мне были даны —
бархатно-синие с черной каймой — глубоко-шоколадные с желтой каймой —
и розовые почти — покрытые серой пылью
И я вижу: свет на траве стоит — вижу как звук плывет —
и желтые запахи слышу я — синие голоса —
мохнатую шерсть полевых цветов — ноздреватое мясо их —
словно сладкие булки тычинки торчат пестик лаково гол —
рыжие челюсти пилы багры — и зеркальные купола —
О земля! — эти сны мотыльков и червей! — сам себя пожирающий рай —
о мертвец — поскорей в этих снах растворишь и себя этой прорве отдай

Петушиная голова

Брат положил на плаху петуха — примерился — и аккуратно
оттяпал голову — пустил его гулять без головы
И вот голова сама по себе — жемчужной пленкой затащило глаз —
бородка отливает синим перламутром — восковой клюв полуоткрыт —
кротко самоуглубленно — что мозга там в кости! —
но и ему открылась тайна — как сладко не существовать
И меж тем как голова размышляет о главном —
тело — фонтанируя брызгая кровью — не согласно! — взлетает и падает —
шпоры царапают землю — топчет курицу! — вслепую носится по кругу —
кричит и протестует сила жизни пока из черного горла не выхлещет вся!
Мне хотелось бежать — бежать куда-нибудь — и я глядел:
какие безумные алые брызги! — на дровах на земле на топоре
Я дремал высоко находлясь сберегая тепло своего тоще-
го тела (я снов не видел никогда) — но чужа холодок
перед рассветом я просыпался глупый злой и сонный —
и первый крик из горла выталкивал! — пронзительный и красный —

Генрих Вениаминович Сапгир родился в 1928 г. на Алтае. Начал печататься в 1959 г. Его стихи для детей и переводы собраны в десятках сборников издательств «Советский писатель», «Детская литература», «Советская Россия», «Художественная литература», «Малыш»; кроме того, им написан ряд киносценариев, в основном мультфильмов. Г. Сапгир — автор более двадцати пьес для детей, член Пен-клуба. Автор стихотворных книг «Московские мифы» (Москва, 1989) и «Сонеты на рубашках» (Омск, 1991). Живет в Москве.

И начиналось —
 Со всех сторон соперники!
 Кто кого перекукарекает!
 Сквозь щель солнце — ключ отмыкает веки — чистые голоса
 разносятся в утреннем воздухе — торжествует
 великая цельность — (и такая минута была будто там
 в вышине дрогнули и двинулись все колокола)
 Кто умирает? — Я умираю? — тело мое фонтанируя
 кровью бьется о стенки сарая — а голова ни жива ни
 мертва — ни грустна ни весела — глаза прикрыты
 плотной пленкой — в тайну сна посвящена
 Я вижу себя со стороны глазами десятилетнего мальчишки —
 я вижу голову и сталь с налипшим белым перышком
 так ясно и детально — что ясно понимаю: это
 сон — обманчивая логика событий — бессмысленный
 — без пробужденья — без надежды на пробуждение —
 сон реальней самой реальности — «А ну чеши отсюда!» — крикнул брат

О смерти

Оса искала следы какао — ползет — по липким доскам
 дачного стола — детсад — отклеивая лапки — разглядываю
 близко-близко — на жопке ядовито-желтые полоски —
 ужасно хочется потрогать
 И больше ничего не помню кроме большого страха в темном
 доме — когда проснулся ночью весь в слезах — и понял —
 это Я — и все что происходит — в самом деле — со мной
 — в трусах и майке — трет резинка — Я — а не другой
 умру — Меня не станет — МЕНЯ на самом деле — а не то-
 го о ком я думал — это я —
 Все дети спят — а ночь гудит от ветра — пахнет слежав-
 шимся матрасом — маленькое сердце: мама! мама! — и
 дерево наполненное бурей огромное ночное за окном
 Мать умерла от рака — сначала не обращала внимания —
 но клетки уже переродились одичали — рука была тверда и
 горяча — чужое мясо
 Как мучилась! —
 Говорила все о каких-то пустяках — кажется она не пони-
 мала — «открой окно» — что все на самом деле — «дай
 апельсинового сока» — с ней — ни с кем иным — лепета-
 ла как младенец
 Как мучилась! —
 И уходя в свое первоначало — в свое спасение от боли —
 просила передвинуть телевизор к ногам постели — потом
 уже не она кричала — другая женщина — родные опериро-
 вать хотели — которая желала чтоб кончилось все это поскорей
 Сегодня выйдя из метро — троллейбус липы ресторан
 СОФИЯ — улицу я знаю наизусть — впервые ощутил —
 (продажа мужских носков — отмеченные солнцем лица
 — скучающая продавщица) — что это ЕСТЬ — и только
 ЭТО — реальность из которой хода нет — улица устало
 клонилась к западу — недоуменье оставило — поток машин
 вливался в солнце что стояло над шпилем Белорусского
 вокзала — сияла каждая пылинка — и было счастье! —
 к вечеру слышнее пахли липы — сознание что вижу и дышу
 — на самом деле — и что умру Я а никто другой

Похмельная поэма

Георгию Баллу

Матрешка — чертова Матрена — деревянный в цветах и колосьях живот — (я — из него, он — из кого-то) — дурак рождает идиота — и тут внутри еще какой-нибудь балбес

Друг Жора мы с тобою влипли — поблескивает риза алтаря — хоть перекараситься в индейцы — мы тут — нам никуда не деться — мы любим купола церквей — и небо низкое — поля и перелески — проще говоря мы русские и — что ни говори — как русские и каждый раз с похмелья обречены решать свои треклятые вопросы

Правдоискатель князь Хворостинин
Лжеклассичный Ломоносов
Ученый русский дьяк О! Тредьяковский О!
Мурза самодержавный Державин
Пушкин — полурусский полубог
И Блок —
Кудрявый как цыган профессорский сынок
И Хлебников как хлеб и как венок
И ты и он и все —
Россия
Рок

Дождь зарядил — нас мучат мысли о бесплодии — уже не день не год слышать небытие — отяжелела зелень — мы чувствуем свою нелепость — сомнительно поблескивают крыши — свою огромность и свою ненужность — и небо кажется устало от дождя

И все равно нам — не двадцатилетним
Нам нынешним а не вчерашним
И все равно нам не взирая на!
Спокойно повествующим о страшном
Опохмелясь без лишнего веселья
(Мы любим жизнь — старуху)
Рыгнем похлопаем себя по брюху
Затем благословясь берем за перо

Дохлая кошка

В первые дни они еще сохраняли благолепие лица во сне — и при жизни присущее им выражение — слезы вопли растерянность — казалось что дрогнут ресницы — ни малейшего движения — лишь улыбка понимания оттянула угол сизых губ
Но после вскрытия на третий в гробу нам выносили труп — покорно сложенные руки — непримиримо сомкнутые губы — вместо милого лица злая маска мертвеца — и там внутри еще хихикает какой-то подлый нерв
Притихшие глядим: кадавр —
И общий ужас оглушая общим горем — спешим засунуть гроб в машину — не думать — думать о своем — сунуть в яму — какой ушел прекрасный человек! — и поскорее закидать землей — О Боже! уברי его от нас

На солнце отворена дверь — прядают бабочки в огороде — и меня занавески волнуясь из окна обдувают — засохшие цветы в стеклянной банке — и бездыханный мотылек — как же это бывает? — и как это будет со мной?

Я тоже умру — но умру понарошку — сквозь сомкнутые веки буду слушать как будут плакать человеки — уберите дохлую кошку — интересно там слякоть или солнце? — ну что же вы? очнитесь позовите — я воскресну
 Никто не зовет — грубо тащат — кладут на живот — обтянутые мясом кости обмывают как не мои — на щеку села муха — никто и не подозревает — не догадается смахнуть — переговариваясь тихо меня готовят в путь
 Все сразу примирились — поверили что я уже не я — друзья и близкие толкуют о каком-то человеке — и у меня к нему симпатия — красивый благородный всенародный — одели в старый пиджачок — а слезы катятся и катятся — жена — стереть бы со щеки — неодолимая апатия — и только улыбнуться я могу —
 но сладким духом тянет в ноздри — послушайте уберите дохлую кошку!..

Постойте куда меня несут? — не пук — не пикнуть — челюсть подвязана платком — ребята что вы в самом деле! — члены одеревенели — положили на помост — рука в резиновой перчатке — блеснуло что-то — лиловый холод проникает в мозг...
 Остановись! — оставь мне жизнь хотя бы идиота — хотя бы кошки краткий век — хотя б мыслишку воробья — смешно — друзья семейство родина — копаются во внутренностях гадина! — готово: сердце в банке — и ужаснувшись виду моему — беритесь за хвост! — на помойку дохлую кошку! — послешно прячут грустные останки

Встреча

Где косое солнце — падая в папоротники — синим дымом встает — не увидел скорей угадал — (так вообразишь белый гриб — вон там под елкой — прямую ножку молодецки накрыла шляпка — и вот он здесь каким-то чудом) — сначала дуновение — дыхание и теплый острый запах — затем трава примятая копытом — сухая — почему-то поле и движение игольчатых ресниц — слетела зазвенела муха — и вот он тут каким-то чудом конь

Не говоря о том, что я давно подметил — стрекозино крыла узор — изнанку сыроежки — ветвистое строение листа — ногу сплетенную из трав и сухожилий кузнечика — и треск его сухой как летний полдень — и свет такой высокий и реальный — что прозрачным в нем становилось все

Поле-призрак — серое былье — и конь белый — почти стертый — лишь пыльные космы гривы — и я серый — почти стертый — почти призрак — протянул руку — а воздух ощутим — погладил нервный храп — и дрожь — отпрянул заржав — тревога и симпатия касаний — волны предчувствий и прямых прикосновений из времени идущего на нас Сколько позади его осталось — неизжитым — свободно протекало сквозь меня — и все же было — подумать только! — все эти листья мысли люди встречи — которых не существовало — во времени — лишь потому что не было во мне — где высветлены дымными лучами — где папоротник длинными слоями — и где однажды в глубине леса —

Руслан Киреев

ИЗ ПОЗДНЕЙ ПРОЗЫ

*Мы идем, новобранцы,
вразброс и неслышно...*

Разумеется, это была не она: откуда взяться ей здесь, в суতোлке московского магазина, спустя двадцать пять — нет, больше! спустя тридцать лет, — коли уже тогда едва таскала от старости ноги? Да, едва ноги таскала, в глазах, однако, светилась мысль, да и то, как реагировала — вместе с другими старичками и старушками — на чтение стихов, свидетельствовало о ясности ума. Двадцатилетнего поэта — а К-ов тогда считался поэтом — удивляло, что Савельевна не узнает его.

Он-то узнал ее сразу — как и сейчас, в магазинной толчее, хотя сейчас, конечно, была не она, — узнал, ибо ничуть не изменилась за те несколько лет, что не видели друг друга. Не постарела... Не подряхла... Как было ей семьдесят, восемьдесят или сколько там лет, так и осталось. А он за это время вырос и возмужал, сделался поэтом и вот теперь явился с молодыми коллегами в дом престарелых, именуемый еще домом ветеранов труда, ветеранов войны да и просто жизни.

То была своего рода акция милосердия, на которые самодеятельные пииты, члены городского литобъединения, согласились без энтузиазма: ну зачем этим Божьим одуванчикам стихи! Что понимали они в изящной словесности! Не скажите... Обитатели скорбного дома тянулись и тянулись со скамеечками в руках в залитый утренним солнцем асфальтированный дворик, и реакция их оказалась, к приятному удивлению гостей, живой, быстрой и благодарной. Смелись, когда юный К-ов читал злободневные юмористические стишки, причем улавливали оттенки, которые подчас не замечали куда более молодые. Просто они, молодые, понял впоследствии К-ов, уже перешагнувший рубеж зрелости и медленно катящийся под гору (или, напротив, восходящий в гору?), — просто молодые были слишком замотаны делами и заботами, слишком оглушены гулом повседневности, а эти уже отдалились, уже тишина сомкнулась над их седыми головушками, и те редкие звуки, что еще проникали сюда, воспринимались ими остро, ясно и доверчиво.

В несколько рядов сидели они, смиренные, как школьники, и, как школьники, похожие друг на друга, похожие не внешне — хотя, конечно, и внешне тоже (на многих белели панамочки), — а внутренней своей собранностью, своей обособленностью от большого мира, в который они с любопытством всматривались издали.

К-ов, слегка пораженный этой неотличимостью друг от друга старых людей, Савельевну тем не менее признал сразу — быть может, потому, что на ней была не панамка, а рыжая меховая шапочка, знакомая ему еще по той, прежней жизни, когда они, босоногие разбойники, с истошным криком: «Йод с молоком! Йод с молоком!» — проносились, точно торпеды, под ее распахнутым, с белыми занавесочками, оконцем. Но это еще что! Сколько раз, подкараулив ее где-нибудь на улице, сообщали: «Бабушка, у вас дом горит!» — и она, простодушная, как ребенок, верила. Всполовившийся взгляд метался от лица к лицу с наивным, детским каким-то испугом. На ногах, запомнилось ему, были стоптанные фетровые ботики, еще довоенные. Торопливо семенила по мокрому после дождя щеербатому, в буграх и ранах, асфальту, тоже довоенному, в лужи плюхала, после

чего стучала ногами, стряхивая с ботишков воду, а маленькие дикари плясали вокруг, прыскавая и кривляясь.

Чему радовались они? Бог весть... Во всяком случае, не изобретательности своей, ибо нехитрый розыгрыш этот повторялся бесконечно. Или тому и радовались, что повторялся? Что горький опыт не шел ей впрок — в отличие от ее преследователей, которые впитывали все, как губка? Она же, откроется в свой час выросшему дворовому мальчику, была по горло сыта этим самым опытом — и горьким, и сладким, и принять в себя еще что-либо уже не могла. Вот разве что незатейливые рифмованные шуточки, которыми угощал под солнышком во дворе богадельни разбитый паренек, вдруг подсевший к ней после выступления и начавший вопрошать, помнит ли она такого-то.

Не помнила. Ни его, ни других ребят, товарищей по жестокосердным забавам, ни, слава Богу, самих забав. Не помнила, как спешила «на пожар» в залатанных и даже вроде бы разных — один больше, другой меньше — ботиках.

О, эти ботики! Эти белые занавесочки на узком невысоком окошке!.. И вот теперь, спустя тридцать лет, высушенное временем знакомое лицо мелькнуло в утренней толчее московского магазина, только что взятого штурмом обезумевшей очередью. За два часа до открытия скапливался народ перед стеклянными запертыми дверями, чтобы, ворвавшись, цапнуть два, три, четыре (сколько уместя!) пакета с молоком, расхватываемого из контейнеров на колесиках в считанные минуты.

Савельевне не досталось. Бродила между мгновенно опустошенных контейнеров, подымала, слишком легко, синие, из вошеного картона, длинные четырехгранные пакеты и ставила тихонько обратно. А легко потому, что молока не было в них, вытекло: ровные лужицы белели там и сям на выложенном плиткой полу. В бою ведь не бывает без потерь, а тут разыгрывались форменные бои, короткие, молчаливые — лишь сопели тяжело — и жестокие.

К-ов оказался среди победителей. С трофеями стоял в кассу — целых три пакета! — а она, побежденная, все подымала и подымала сухой коричневой лапкой невесомые, выпустившие белую свою кровь картонные трупики.

Сколько длилось это? Минуту? Полминуты?.. Когда он, стряхнув наваждение — при чем тут Савельевна, Савельевны давным-давно нет на свете! — стал протискиваться сквозь очередь, чтобы поделиться, отдать пакет, старуха исчезла. Растворилась в толпе, и, сколько ни кружил он по медленно пустеющему торговому залу, — напрасно все. Точно сквозь землю провалилась. Сквозь залитый молоком грязный пол.

Холодные, тяжелые (а теперь еще больше потяжелели, словно в них перетекло неведомым образом содержимое тех оставшихся на решетке мертвых пакетов), скользкие от влаги длинные четырехгранники не умещались в руках, а сумку, как назло, забыл дома. Расплатившись, наконец, вышел и, прижимая к груди позорную добычу, оглядел с высокого крыльца площадку перед магазином. По талому снегу рассыпанно двигались человеческие фигурки, тоже серые, серым был «Жигуленок», хозяин которого взвешивал на безмене картошку в авоське, и даже пожарная машина, небыстро и без sireны катящая по размытой дороге, казалась серой. «Бабушка, — вспомнил он, — у вас дом горит!»

Медленно, как во сне, спустился с крыльца. А впрочем, это уже и был сон, вот только привиделся он четыре, кажется, дня спустя, когда купленное семьянином К-овым молоко, три литра, подошло к концу и надо было снова отправляться на охоту. Привиделся уже под утро, он даже подумал, глянув на часы: еще десять минут и подъем, — как вдруг очутился у родного своего магазина. Так же сновали человеческие фигурки, так же стоял на площадке картофельный «Жигуленок», но теперь вокруг него змеилась очередь, даже не одна, поэтому находчивый продавец с безменом забрался на крышу автомобиля. Покупатели следили за ним, задрав головы, среди них была и Савельевна, К-ов знал это, хотя не видел ее, но потом увидел-таки, засек рыжую шапочку и легкой летучей какой-то походкой сошел (спланировал) с крыльца. Слишком медленно сошел, к тому же почему-то двигался к «Жигуленку» не прямоком, а по дуге, когда же приблизился, картошка кончилась. Мужик демонстрировал пу-

стой, не нужный больше безмен, и народ безмолвно расходился — безмолвно и как-то очень быстро. Испарялся... Савельевна тоже исчезла, исчез «Жигуленок» с мужиком, все исчезло — один он остался на пустыре, в длинном старом пальто и заячьей, тоже очень старой, с вылезшим мехом шапке.

И шапка, и пальто были реальными, в прихожей висели — К-ов облачался в них, когда шел по хозяйственным делам или прогуляться в лесок. Надел он их и теперь, еще не остывший с постели (двенадцать минут оставалось до открытия магазина), и, надевая, явственно ощутил холод зимнего серого пустыря, будто шапка и пальто, в каких он только что преследовал во сне давно мертвую старуху, не успели напиться домашним теплом.

Лифт не работал. Застегивая на ходу пуговицы, сбежал по темным пролетам, без усилия распахнул легкую, невесомую, как те протекшие пакеты, с выбитым стеклом дверь. На улице не было ни души, даже почему-то собак не выгуливали, тишина стояла, ничто не шевелилось вокруг, лишь в многоэтажной громаде АТС слабо мерцали в черных окнах голубые и желтые огоньки. Обогнув АТС (траектория движения точь-в-точь повторила дугу, по которой он скользил во сне к картофельному «Жигуленку»), вынырнул на площадку перед магазином. Сейчас «Жигуленка» не было — К-ов с облегчением убедился в этом, а взгляд уже прилип к темной бесформенной толпе у входа в магазин. Он прибавил шаг, поскользнулся, едва не упал, но удержал равновесие, и в этот момент толпа изменила очертания. Сжалась, распрямилась, снова сжалась, вытолкнула из себя густой, звериный какой-то рык, и вдруг что-то звонко, громко посыпалось. Потом все замерло — и звуки, и толпа, и беллетрист К-ов с вскинутыми, будто взлететь собирался, руками, но гулкая пауза эта длилась недолго, секунду или две, после чего все опять пришло в движение, посыпалось, только уже не стекло (К-ов понял, что выбили стекло), а голоса, вороний в низком небе крик, далекие автомобильные гудки. Стронулся и поехал, тяжело просев набок, автобус с желтыми чахоточными окнами — только что его не было.

Да, он не ошибся: в двери, увидел он еще издали, зияла огромная, в острых зубцах, дыра, и уж ее-то не залатать фанерой, как это сделали в их подъезде (фанера, впрочем, исчезла через день), — он подумал об этом мельком, стремительно приближаясь к толпе, что медленно втягивалась в магазин. Это несовпадение скоростей — неповоротливая, тяжелая толпа и он, такой быстрый, такой легкий, будто все еще во сне, — это несовпадение скоростей вселяло надежду, что поспеет к молоку, ухватит и, может быть, даже не два и не три пакета, больше (сумка на сей раз была в кармане), дабы поделиться после с какой-нибудь нерасторопной старушкой.

Увы, гуманист К-ов просчитался. Толпа, хоть и медленная, хоть и вязкая, опередила его, и, когда он, прохрустев ногами по стеклу, уже мелко истолченному и потому отзывающемуся не очень громко, протиснулся-таки в магазин, контейнеры были уже пусты. На каждом, впрочем, оставалось по два, по три, а на одном аж четыре пакета, но он знал, что это за пакеты, и, подымая — как три дня назад подымала их один за одним Савельевна, — не удивлялся их бумажной легкости.

Это вдруг уловленное им сходство с Савельевной было, конечно, поверхностным и неполным, однако, поймет он скоро (и даже очень, очень скоро — когда, облагодетельствованный, выйдет из магазина с подаренным ему тяжелым звонким пакетом молока), — однако неполнота эта временная, она убывает, истекает в пользу пусть еще далекого, но неизбежного тождества, впервые обнаруженного им в старых людях на том поэтическом утреннике в захолустной богадельне. Не в стариках и старухах, а именно в старых людях — без различия пола, без различия возраста (восемьдесят ли, сто — какая разница!), без различия в одежде и выражении глаз...

С некоторых пор К-ов стал замечать в себе интонации выросшей его покойной бабушки, ужимки ее и жесты. Ничего вроде бы удивительного: отзвуки детства, следы воспитания, отголоски бессознательно усвоенных уроков... Так полагал он в наивности и, конечно, ошибался. То другое было, совсем, совсем другое... Не в конкретную свою бабушку

исподволь превращался он, а в человека, на котором мало-помалу истлевала и рассыпалась в прах одежда бедной его индивидуальности. Мудрено ли, думал он, что старые люди почти не отличимы друг от друга — как не отличимы новорожденные, как не отличимы новобранцы. Вот-вот, новобранцы, которых призвали, и мы идем, дисциплинированные, тащимся на зов трубы, разве что не строем, а каждый сам по себе, вразброс и неслышно...

Один пакет оказался тяжелее прочих. Неужели? Не веря такому везению, осторожно наклонял прохладную емкость в одну сторону, в другую — определял по звуку, полна ли, как вдруг белая быстрая струйка сбегала мимо рук вниз, прямо на его войлочные сапожки. Отстранив дырявый пакет, стоял раскорякой в допотопном своем пальто, ногами постукивал, сбрасывая молоко с сапожек, дабы не промокли, — как опять-таки Савельевна в своих ботиках, когда, летя к «горящему» дому, наступала нечаянно в лужу.

О, эти ботики! Эти белые занавески на окне!

Кто-то бесцеремонно тронул его за локоть, даже не тронул, а толкнул легонько, и он, испугавшись, что облил кого-то, отдернул пакет. А ему, оказывается, другой протягивали, целехонький, — во всяком случае, не капало.

Это был не последний пакет, три других цепко и уверенно прижимались растопыренной пятерней к оранжевой, в бахrome, курточке — их-то, в первую очередь, и узрел К-ов, а уж после и благодетеля увидел, длинноволосого, лохматого, совсем юного: бритва, судя по всему, еще не касалась прыщавого бледного личика. В оттопыренном ухе блестела сережка... «Бери, дед, чего глядишь!»

И К-ов взял. Принял аккуратно, а тот, дырявый, все держал и держал на отлете немеющей рукой, пока какая-то толстуха не бросила зло: «Льется вон — ослеп, что ли!»

Теория красного смещения

На ходу подстерегло, подбило влет, хотя в первое мгновение не понял, что подбило, не почувствовал боли, да и жена не походила на охотника, пусть даже и караулила момент, чтобы сказать, выжидала, — он успел скинуть туфли, выложить газеты на журнальный столик и задать пустячный какой-то вопрос, на который она ответила, причем голос не выдал ее, только внимательно следили глаза. И вот произнесла. Он остановился посреди комнаты (влет! Именно влет!), не сразу уяснив, а что, собственно, такого, ушла и ушла, мало ли куда уходит молодая девчонка: в магазин, к подружке, на свидание, но через секунду догадался по тону, по отяжелевшему телу на тахте, что дочь не просто ушла, а ушла так, как никогда прежде не уходила. Не в магазин... Не к подружке... Жена не издала больше ни звука, только смотрела, и во взгляде ее, в глубине обреченных глаз, таилась надежда, будто он, еще не осознавший до конца происшедшего, то есть еще остающийся на тверди прежней жизни, которая для нее уже кончилась, — бедняжка барахталась и тонула, — способен каким-то чудом вытащить и ее. «Куда ушла?» — буркнул он и перевел взгляд на газеты. Поворошил, пошуршал — только б не видеть этой обращенной к нему надежды, женской этой веры в мужчину, которому якобы подвластно все. «К нему», — ответила жена с видимым усилием, но спокойно и тихо.

К-ов засопел, снова тронул газеты — искал какую-то, но искал зря, не попадалась, и тогда он оставил газеты, ушел к себе и начал переодеваться, погрузневший враз, постаревший (влет! Именно влет!), с вздымающимся глухо раздражением, которого он не подавлял, — нет, не подавлял, ибо чувствовал: пусть лучше раздражение, чем то, другое, что придет на смену ему.

Был август, сухая духота морила полуопустевший, без детей и собак — на дачи поувозили! — город, люди разгуливали по улицам в легкой комнатной одежде, а она, подумал отец... В чем она ушла? Праздный вопрос этот (а впрочем, не такой уж и праздный) вертелся в мозгу, разра-

стаясь, и он пестовал его, не отпускал, как не отпускал раздражения, но потом все-таки не вытерпел, проворчал, направляясь в ванную: в чем ушла? — и придержал в ожидании шаг. Жена, сидящая на тахте все в той же подстреленной позе, смотрела на него с усталым недоумением, но не могла он растолковывать сейчас, как это существенно: в чем ушла, много ли прихватила вещей и какие сказала на прощанье слова. Вот-вот, слова, это главное.

Слов жена не помнила. Да их и не было, никаких особенных слов, не было сцен и уж тем более истерик. Просто поскладывала вещички в большую спортивного покроя сумку с похожим на кота олимпийским медведем (спустя семь месяцев К-ов с этой же сумкой привезет ее на такси обратно), накинула ремень на хрупко прогнувшееся плечо, взяла в руку электрический прозрачный чайник, подарок сокурсниц к девятнадцатилетию («А чайник-то где?» — усмешливо спросит он в ночном, мчавшемся среди мартовских сугробов такси), подошла к матери, которая сидела обессиленно на тахте, поцеловала холодными губами, холодными и покрашенными, сильно покрашенными, следы помады розовели до вечера, пока К-ов не бросил с досадой: вытрись! — поцеловала и вышла, заперев за собой дверь.

Заперев! Точно тяжелобольную оставила в доме... Или даже не больную, а покойницу — да-да, покойницу, но этого супруг не сказал, лишь язвительно осведомился, зачем ключи взяла, они ведь ей теперь ни к чему. У нее нет больше дома, э т о г о дома, она предала его, мать предала, отца — ну, отца ладно, он не в претензии, но мать, мать — да как смела она, мерзавка, шлюха этакая, променявшая на кобеля самого близкого человека! Пусть немедленно, завтра же, вернет ключи. Слышишь, немедленно «Хорошо, — сказала жена. — Я скажу ей».

Эта тихая покорность обезоружила К-ова, но в то же время слова ее вселили надежду: раз есть возможность сказа т ь, значит, какая-то да осталась связь, — он поймал себя на этой мысли и раздосадовал еще больше, теперь уже на себя, на свою непоследовательность и беспринципность, на неумение обуздать обстоятельства, которые всегда — или почти всегда — оказывались сильнее его. Разве не чувствовал он, что добром это не кончится, что дочь на опасной дорожке: эти гулянья допоздна, эти нервные ожидания звонков, эти мужские голоса в трубке, то притворно-вежливые, то бесцеремонные, но в тех и в других сквозила одинаковая уверенность, что та, кого спрашивают они, подойдет, не откажет, будет кокетливо болтать, такая вдруг веселая (а только что ходила с хмурый лицом — не подступись!), такая щедрая на время, которого для родителей хронически не хватало. Неужто это то самое существо, которое двадцать лет назад появилось, нежданное, на свет? Нежданное, потому что на месяц раньше положенного срока произошло это, что вызвало переполох в доме, почти панику и породило опасливые, не произносимые вслух прогнозы.

В первые часы лета родилась она, в грозовой ливень, застигнувший молодого отца, который возвращался из больницы и еще не знал, что отец, на темной поселковой улице возле спящего барака, к бревенчатой стене которого он прижался изо всех сил мокрой спиной. Барак этот стоял с довоенных времен и был обречен на снос, как, поговаривали, и весь поселок, на который зубьями высотных зданий надвигалась столица. В Москву «Скорая» везти отказалась, там, сказала врачиха, из области не принимают, и старенький «ЗИМ» долго кружил по темным разбитым дорогам. К-ов пристроился возле носилок, но выпрямиться не мог и прямо-таки нависал над распростертой, с закрытыми глазами женщиной, какой-то вдруг пугающе чужой, непонятной, с полоской зубов, неровно белеющих при свете плафона, который зажигался, когда врачиха оборачивалась на стон.

Родильное отделение ютилось на третьем этаже кирпичного здания, освещенного снаружи яркой лампочкой под козырьком. Зато внутри ничего не горело, и по крутой каменной лестнице пробирались почти на ощупь. Раза два или три жену прихватывало, и она, скрючившись, пережидала боль, а врачиха уже барабанила наверху. Долго не отзывались, вот дверь наконец распахнулась и отчетливо потянуло жареной картошкой: у эскулапов, видимо, пришло время ужина. В этом кухонном

чаду и исчезла жена, куда-то делась врачиха, и пропала машина вниз, хотя шофер, отчетливо помнил К-ов, тащил вслед за ними ударяющиеся о перила пустые носилки.

Будущий отец задрал голову. Светились белые окошки, но попробуй-ка угадай, за каким из них роженица, и он побрел прочь, странно легкий, свободный, — легкий последней какой-то легкостью, свободный последней какой-то свободой, которую не омрачала ни близкая гроза, ни предстоящее возвращение домой. Как будет добираться, чем? — ни машин на улице, ни прохожих, не у кого спросить даже, в какую двигаться сторону. Не сходное ли чувство — вот только не последнюю легкость, а первую, и первую полную свободу — испытала дочь, выйдя из родительского дома с олимпийской сумкой на плече и раскачивающимся в руке стеклянным чайником.

Тот, к кому шла она, ждал ее (воровски!) за углом или, может быть, у станции метро, — этого К-ов так и не узнает. Он вообще мало что ведал о внезапном своем зяте, тридцатилетнем детине, которого застал однажды у себя дома сидящим на корточках перед магнитофоном. Хозяин поздоровался, и гость стал медленно вырастать, раздаваться, заполнять собой всю комнату — волосатый, с низким, как у питекантропа, лбом и маленькими глазками, а дочь уже щебетала: «Это Сережа, папа!» — и тревожно вглядывалась в отца, выхватывая первое — самое первое! — впечатление, которое он и сам-то не успел осознать, а она уже поняла все и запротестовала, отодвинула его, не нужного больше, опасного, отгородилась, прильнула к своему (хотя и не сдвинулась с места), закрыла его, бугая, тоненьким своим телом.

Когда-то, еще ребенком (К-ов не мог простить, что взрослая дочь отняла у него ту, маленькую), приволокла щенка с улицы, все заботы о котором легли, конечно же, на него — прогулки, прививки, — и вот теперь выпалил в сердцах, что это ее собака, а потому пусть думает, что делать с ней, едва таскающей ноги, в кровавых язвах на брюхе. Дочь слушала, опустив глаза, худющая, бледные веки подергивались, а когда на другой день пришел с работы, пса не было. «Где собака?» Она смотрела в книгу — именно смотрела, не читала, уж он-то знал свое чадо! С заколотившимся сердцем вернулся в прихожую — ни поводка, ни миски. «Я спрашиваю, где собака?» Так произнес, таким тоном, что теперь уже не могла не ответить. «Я отвела ее». Сама же продолжала глядеть в книгу. «Куда отвела?» В трех шагах находились друг от друга, но казалось, огромное пространство разделяет их, почти космическое. «В ветлечебницу». Почти космическое, а там, в космосе, вычитал он, галактики, согласно теории красного смещения, разбегаются. «И что?» — вымолвил он. «Ничего... Умертвили». Зазвонил телефон, но она не сорвалась с места, по своему обыкновению (как раздражало его это круглосуточное ожидание звонков, это нетерпеливое, жадное хватание трубки!), поднялась и, с потупленным взглядом обойдя отца, направилась к телефону... Пройдет много дней, но перед мысленным взором его будет вновь и вновь проплывать, как дочь ловит такси, с трудом втаскивает на сиденье тяжелого, скребущего лапами — пытается помочь ей! — пса, как ветеринар бросает беглый взгляд на язвы и произносит короткий, не оставляющий надежды приговор, как дочь, закусив губу, торопливо гладит собаку — в последний раз! — и та доверчиво заглядывает в глаза, ничегошеньки не чувствуя, верит хозяйке, никогда не обманывавшей ее, никогда не предававшей, — гладит быстро, не оглядываясь, выходит, как за тщательно прикрытой дверью раздаются короткий, детский какой-то писк... А ведь на ее месте должен был быть он — мужчина, отец, еще недавно готовый взять на себя любую ношу, лишь бы ей полегчало. Готовый умереть ради нее, точнее вместо нее. Он молил об этом, как о благодати, только б несуществующий Бог, в которого он почти верил в те страшные минуты, пощадил его ребенка. Столько людей вокруг сваливал грипп, и ничего, подымались, она тоже почти выздоровела, в школу собралась, и вдруг... «Надежда есть», — сказал врач — успокаивала, а он почувствовал, что летит в пропасть. Всю ночь промыкался в полутемном больничном холле, среди тараканов, которые, обнаглев, ползали по его затекшим ногам. По-женски брезгливый, не отгонял их — пусть ползают, пусть, словно бы эта глупая жертва могла непостижимым образом облегчить участь дочери. Ужасала несправедливость: он

жив, ему ничто не угрожает, кроме усатых тварей, даже неядовитых, к сожалению, а у его дитя — всего-навсего есть надежда. Это была дикость, попрание закона, который (поймет впоследствии К-ов) он безотчетно пытался соблюсти, то есть умереть первым, и под властью которого он пребывал с той июньской грозовой ночи.

До поселка его подбросил тогда шалый мотоциклист, которого будущий отец даже не останавливал, сам притормозил, похожий в маске и шлеме на посланца иного какого-то мира, кивнул на заднее сиденье, и К-ов, не раздумывая, взгромоздился. Легонько обхватил холодное, негнущееся, точно неживое туловище, и они с оглушительным треском помчались сквозь ночь. На перекрестке пассажира ссадили, тот прокричал слова благодарности, но они потонули в раскате грома.

Дождь настиг возле барака, ливанул как из ведра, и произошло это в тот самый момент, когда жена неожиданно быстро и без особых мук разрешилась от бремени. Яркие вспышки озаряли безглазые — хоть бы одно окошко светилось! — дома и белые вишни, а неподалеку томились в ожидании тещь с тещей — у них-то как раз свет горел. Каким неудобным и чужим казалось им опустевшее жилище! К-ов поймет это, когда уйдет — с чайником и спортивной сумкой на плече — его собственная дочь. Замолкнет наконец телефон («Хоть отдохнем без звонков!»), не будет на час утром и час вечером запирается изнутри ванна, что всегда так злило его, прекратятся поздние, за полночь, возвращения, когда он лежал, вслушиваясь в гудение лифта и безошибочно угадывая, на каком этаже остановилась кабина, исчезнут, словом, все раздражители, но покоя не наступит, и он, ходя вокруг да около, станет исподволь выпытывать у жены, как там она (имя преступницы будет под запретом в доме), и понимать по уклончивым ответам: плохо... Плохо! А ведь он предупреждал! Он знал, что ничего путного не выйдет из этого скоропалительного брака.

Тогда же ему привиделся сон, совсем вроде бы не страшный, даже безмятежный: взявшись за руки, бегут к нему дочери, старшая и младшая, в платьях, освещенные солнцем, смеются беззвучно, — совсем, совсем не страшный, но проснулся в холодном поту. Почему? И вдруг понял: так снятся те, кого больше нет с нами, ушли, и ушли навсегда. (Слово «умерли» не смел произнести даже мысленно.)

Знал: дочь регулярно звонит, иногда даже на него напарывалась, но он, услышав ее голос, без единого слова передавал трубку жене. И вдруг вылетело: как ты там?

Долгая недоверчивая пауза протянулась на том конце провода. Что-то залепетала в ответ, невразумительно и напряженно, со страхом, с надеждой, и тогда он сказал: «Домой не думаешь возвращаться?» И снова — пауза, а потом, чуть слышно: «Когда?» — «Сейчас, — сказал он твердо. — Ты где? Я еду за тобой», — и не прошло получаса, как мчался в такси по вечерним пустынным, как в ту грозовую ночь, улицам, — к грешной дочери грешный отец.

Она ждала, как условились, на троллейбусной остановке, в белой шубенке, с сумкой через плечо. На заднее сиденье села, он сунул ей ириску (откуда-то ириска взялась), спросил весело: «А чайник-то где?» — совсем, как встарь, по-домашнему, и она ответила простуженным голосом, что он продал чайник. После чего зашелестела, сладкоежка, фантиком. Все, как встарь, но отец знал, что она — другая, чужая, и что впереди — новый уход, теперь уже окончательный.

Несостоявшаяся любовь в студенческом городе Барнауле

Умирает Роза Абалуева. Уже не встает, вздулся живот, но сознание ясное (больше нет, и потому наркотики не колят), и она, грустно поведая К-ову навещающие ее редакционные женщины, все отлично понимает. «Немного уже осталось», — говорит со слабой детской улыбкой, которую

К-ов, не видевший Розу года два или три, если не больше, хорошо представляет себе.

Болезнь, рассказали опять-таки сердобольные женщины, изменила ее страшно, — и вот этого-то уже он представить не в состоянии. Перед мысленным взором его те же удивленно распахнутые Розины глаза с длинными (неестественно длинными — точно у куколки) ресницами, тот же алый рот, такой вдруг большой, когда она поет или улыбается (а улыбалась она, серьезный человек, редко), те же светлые кудряшки, опять же кукольные. Да и вся она, миниатюрная, стройная, всегда с каким-нибудь бантиком на собственноручно свитой блузке, напоминала ожившую вдруг куколку, которая и сама-то поражена этим своим волшебным превращением и теперь понятия не имеет, что с собой делать.

После разговора с женщинами К-ов думает о Розе не то что постоянно, нет, — закручивают собственные дела и собственные заботы, но мысль о ней всплывает вдруг ни с того ни с сего и в местах при этом самых неожиданных. Например, в автобусе, куда он едва втиснулся и стоит, сжатый, с нелепо, неудобно вывернутой рукой, которую, однако, никак не высвободить. И вдруг: Роза! Роза умирает...

Сколько было ей, когда появилась в редакции? Двадцать три? Двадцать пять? Во всяком случае, молоденькая и оставалась таковой всегда: не старела, не дурнела, вот разве что туалеты менялись — то веселый какой-нибудь сарафанчик, то длинная, с множеством оборок, юбка (фасоны сама сочиняла), — туалеты менялись, а сама — нет, и теперь уже, думает в каком-то странном смятении К-ов, не изменится для него, умрет, какой он ее запомнил.

В Москву Роза приехала из своего приволжского захолустья с большим, старомодным, обшарпанным чемоданом, которого стеснялась и потому оставила внизу, в вестибюле, без всякого присмотра, только немного рисунков захватила, и вся редакция сбежалась смотреть эти наивные, яркие, с забавными человеческими фигурками картинки, под которыми были выведены детским почерком недлинные и не шибко грамотные, но порой очень смешные подписи. Она оказалась чрезвычайно остроумна, провинциальная татарская девочка, но остроумна лишь в придумках своих, в жизни же, напоминает теперь К-ов, хоть бы раз пошутила! Напротив, все воспринимала как-то очень серьезно, очень доверчиво — не эта ли как раз доверчивость, не эта ли серьезность, с какими большеглазая гостья смотрела на мир, и позволяли так ясно видеть его, мира нашего, несуразности?

Для журнала ее полудетские рисуночки, разумеется, не годились, но, может, осведомился кто-то, есть еще что-нибудь? Помедлив, она вскинула длиннющие свои ресницы и призналась: есть, только не тут. Все решили — дома, но оказалось, в чемодане, о котором она невзначай проговорила, и чемодан, вопреки ее испуганным протестам — «Нет-нет, не надо, ну, пожалуйста!» — был тотчас торжественно доставлен снизу. На подоконник взгромоздили, девочка Роза, медленно оглядев всех — и в движениях ее, и в речи была хрупкая какая-то размеренность, — принялась покорно открывать, но ржавенький замок не поддавался. И так нажимала, и этак — ни в какую. Тогда к ней шагнул кто-то из редакционных молодцев, протянул небрежно руку, пальцем коснулся или даже не пальцем — ноготком, самую малость, и крышка с звоном отпрыгнула.

Что предстало взору тех, кто не успел деликатно отвернуться? Разноцветные, аккуратно сложенные женские тряпицы, а поверх, рядом с папочкой для рисунков, лежал небольшой, с фиолетовым отливом мишка, безухий, одноглазый, такой же, как чемодан, старенький, если даже не еще старее.

Думая о Розе, которая умирала сейчас со своим вздувшимся животом и седыми, выпадающими от бесполезного лечения волосами, К-ов недоумевает, как же исхитрился он за какой-то буквально миг (Роза тотчас прихлопнула крышку) так подробно разглядеть медведя? И что без уха... И что глаз один... Потом вспоминает: да ведь вовсе не тогда разглядел, не в первый раз, а позже, когда его командировали вместе с Розой в Барнаул, чтобы они там выпустили на подшефном комбинате новогодний номер многотиражки. Как талисман возила с собой мишку...

К тому времени стала своим человеком в редакции, не очень часто, но печатались ее рисуночки, совсем крохотные, а еще придумывала сюжеты для рисунков больших, которые делали маститые художники, за что ей тоже подбрасывали денюжат. Кроме того, зарабатывала шитьем — руки-то у нее были золотые, а фантазия неистощимая. Как обхаживали ее редакционные женщины! Оглядев обновку, в какой являлась перед ней то одна, то другая, советовала медленным своим голоском: там оборочку прибавить, здесь руликом отделать или волан пустить, а вот от защипа, пожалуй, лучше отказаться... «Может, — улыбаясь, — сделаешь, Розочка?» И разве могла отказать она? Отказывать Роза не умела.

Кто-то проведал, что она немного поет, и на редакционной вечеринке принялись усаживать бедняжку за пианино. «Нет-нет, не надо, ну, пожалуйста!» О, эта ее знаменитая фразочка! К-ов по собственному опыту знал, в каких интимных, в каких отчаянных ситуациях повторяла ее Роза, но кто же воспринимал ее всерьез! Срывали, не слушая, ажурную кофточку, юбочку срывали — с Розой, утверждала молва, спали все кому не лень, и К-ову, когда собирался в Барнаул, предрекали, двусмысленно подмигивая, существование отнюдь не монашеское.

Что пела она на той редакционной вечеринке? Этого он вспомнить не мог, в голову другое лезло: как жили они в холодной барнаульской гостинице, где их поселили рядышком, через стенку, и они весело перестукивались, а под конец Роза изобрела способ переговариваться, используя в качестве микрофона (или телефона?) электрическую розетку в стене. «С днем рождения!» — раздался однажды утром, уже накануне отлета, ее голосок, и он, отстранив от лица жужжащую бритву, растерянно оглядел номер. Она засмеялась — точно не только слышала через розетку, но и видела.

Это и впрямь был его день, вот только как пронюхала она? И словом ведь не обмолвился, собираясь в командировку, даже предвкушал не без некоторого приятного смирения, как впервые в жизни отметит свое появление на свет в гордом одиночестве. Не тут-то было! Роза не ограничилась поздравлением, вечером преподнесла еще и цветочек, алию, с бантиком на бугристом стебельке гвоздику — это на исходе-то декабря, когда даже в Москве в отличие от нынешних времен живые цветы зимою были редкостью! А тут — Барнаул, сибирский угрюмый город, где в двух шагах от центра с помпезными зданиями жались вдоль замерзшей Оби на высоких глиняных склонах деревянные хибарки, бродили куры, и баба в синем ватнике (картина эта и сейчас стоит перед глазами) несла на коромысле жестяные, льдисто отсвечивающие ведра. «А у нас, — вспоминает он слова Розы, — не так носят...»

У нас — это на Волге, в маленьком городишке, где она выросла, где начала рисовать и где ей, надо полагать, все уши прожужжали о необыкновенном ее таланте, который могут оценить разве что в Москве. Вот и махнула, уложив вещички, завоевывать столицу, а столица-то завоеванию не шибко поддается — здесь таких, как ты, прорва, и все отпихивают тебя, все теснят и толкаются, а если и протягивают руку, то не затем, чтобы поддержать, а чтобы схватить за грудь, маленькую детскую грудь, которую ты пытаешься защитить — «Нет-нет, не надо, ну, пожалуйста!» — но кто же слушает тебя, большеглазую куколку!

Сперва у родственницы жила — есть у нее в Москве родственница, она-то, поведали К-ову редакционные женщины, и ухаживает сейчас за умирающей Розой, — потом снимала где-то у черта на куличках комнату и работала, работала с утра до вечера, рисовала и шила, шила и рисовала: копила деньги на кооперативную квартиру. Теперь эта квартира, если опять-таки верить женщинам, отойдет той самой родственнице, с сынком которой, беспробудным пьянчужой, состояла Роза — ради прописки! — в фиктивном браке. Без прописки кто же примет в кооператив!

К-ов раза два или три видел этого муженька, в редакцию являлся, опухший весь, с синячицами под глазами, отзывал Розу в сторону и требовал денег. Торопливо совала она, что было, но было иногда очень мало, не хватало на бутылку, и тогда она бежала заниматься. «Бикше, что ли?» — спрашивали насмешливо, и она, закусив губку (а в огромных глазах — слезы!), быстро, виновато кивала.

До сих пор понятия не имеет К-ов, то ли фамилия была такая у ее мужа — Бикша, то ли прозвище и куда потом этот самый Бикша сгинул. Одно известно ему доподлинно: с законным супругом Роза не спала, она сама сказала об этом К-ову, и таким голосом сказала, с таким сказала ужасом и с таким омерзением, что К-ов поверил: не врет. Да и зачем врать ей!

Вазы для цветов в номере не было, в графин сунул гвоздику с бантиком, а сам спустился в буфет, купил бутылку рома — бог весть, откуда взялся на Алтае кубинский ром! — набрал закуски, которую ему завернули в толстую серую оберточную бумагу, приволок все в номер и, приблизив губы к розетке, послал сквозь стену официальное приглашение.

Роза не заставила себя упрашивать. И четверти часа не прошло, как стояла в проеме распахнутой им двери — торжественная, сияющая, в черном длинном, с блестками на груди вечернем платье. Бедный сочинитель! Никогда не забыть ему, как пытался застегнуть пиджак, которого не было на нем, висел на стуле, и он, стащив этот куцый пиджачишко, принялся, с извинениями и комплиментами, вталкивать в него руки.

Закуска так и лежала на оберточной бумаге — из посуды в номере имелся лишь стакан, один-единственный, второй он попросил, выкрикивая в розетку свое приглашение, захватить с собой. Но она без стакана пришла. Не по забывчивости, понимает он теперь, умудренный опытом (да и Роза никогда ничего не забывала!), а подчиняясь врожденному чувству формы. В таком-то платье, в туфлях на высоких каблуках и вдруг — пошлая посуда в руке!

Он спохватился, что нет хлеба. Ни хлеба, ни воды, а ром она, оказывается, не пила, вообще ничего спиртного, — и он, накинув пальто, умчался с бьющимся сердцем в магазин. Будет, понимал он, все будет у них нынче, все-все... На радостях купил торт, большую белую коробку, перевязать которую было нечем, на растопыренной пятерне нес, высоко подымая, чтобы согреть пальцы дыханием, а бутылки с водой рассовал по карманам. Постучал ногой, но ему открыли не сразу, а когда открыли, молвив: «Прошу!» — и отошли с грациозным приседанием в сторону, запыхавшийся именьник увидел на месте жратвы в оберточной бумаге роскошно сервированный стол. Роль тарелок выполняли вырезанные из тетрадных листков ажурные салфеточки, вазочка стояла, тоже бумажная, чернели неровные острые кусочки шоколада, а из шоколадной фольги сотворила рюмочки. К-ов зажмурился. Будет, все будет! — а Роза тем временем сняла с оконенной ладони торт и поставила на середину стола, ничегошеньки при этом не сдвинув, будто знала уже, что торт явится, и загодя приготовила местечко.

Куда делся этот сиренево-белый, с пирамидами и цветочками, торт-ще? Не могли же они слопать его вдвоем!.. Глупенький вопрос этот неотступно вертится в башке — точь-в-точь, как вертится и не уходит навязчивое желание вспомнить, что пела тогда потерянная татарская девочка на редакционной вечеринке. Уж не заслоняется ли он, мелькает в голове, этими необязательными, этими несуразными, этими оскорбительными для умирающего человека вопросиками от чего-то важного, что он может — да, да, может! — но не хочет понять? Чепуха! Совесть его чиста перед Розой, чиста совершенно, ибо так ведь ничего и не было у них в барнаульской гостинице. Хотя пытался... Обнял, захмелев (ладонь до сих пор помнит шершавость обсыпанного блестками платья), но она сжалась, как воробушек, и так жалобно, так проникновенно взмолилась: «Нет-нет, не надо, ну, пожалуйста», что он, идиот, лишь осторожно поцеловал ее в висок (в висок! О Господи!) и отнял руки...

Идиот, сентиментальный идиот, размазня, сочинитель — так поедом ел себя после беллетрист, и в самолете ел, когда на другой день летели обратно, и в Москве, где они время от времени встречались в редакции, и она сняла на него восторженными глазами, а алые губы ласково складывались, будто собирались произнести что-то очень тихое.

Не произнесли... Так и не произнесли, и он мало-помалу успокоился, а теперь, когда она умирает в своей кооперативной, с такими муками заработанной квартире, даже рад, что все обошлось тогда. Рад! От неожиданности К-ов замедляет шаг, потом совсем останавливается под ярким весенним солнышком (капель, воробьи чирикают) и вдруг сознает, психо-

лог, что эта-то потаенная радость — радость его все-таки непричастности к обреченной, со вздувшимся животом Розе — и есть то самое чувство, от которого он малодушно отгораживается дурацкими вопросиками.

Стрижка черной собаки на лугу с желтыми одуванчиками

Во-первых, собака у Лилии Анатольевны была не черной, а белой, шпиц, по-видимому (К-ов не разобрался в этом), во-вторых, ее никогда не стригли в его присутствии (если вообще стригли), а в-третьих, не в лесу выгуливали — на московском бульваре. Так почему же, спрашивал себя беллетрист, имеющий вроде бы репутацию недурственного психолога, — почему же картина, которую он наблюдал с невысокого, поросшего кустарником холма: зеленый, яркий, в ярких одуванчиках луг, посередине велосипед стоит, опираясь неизвестно на что, а неподалеку девушка в голубом сарафане стрижет и расчесывает, и любуется, и снова стрижет черного, послушно замершего пса, — почему картина эта воскресила в памяти именно Лилию Анатольевну?

Если не считать жены и ее родителей, а также, разумеется, дочерей, внучки, зятя, — словом, если не считать с е м ь и, то Лилия Анатольевна была в Москве самым близким К-ову человеком. С восемнадцати лет знал ее, со времени своей первой столичной командировки.

Была зима — а московская зима, тревожно предупреждала бабушка, — не то, что наша, поэтому и теплое белье заставила надеть, и шерстяные носки, и конечно, б у ш л а т — его-то в первую очередь.

Бушлат на самом деле был никаким не бушлатом, а потертым, в латках и пятнах, полушубком, который бабушка купила на толкучке у приличного, говорила она, человека, без ноги, правда (книжечку К-ову вспомнился, разумеется, Сильвер из «Острова сокровищ»), и никак, кроме как «бушлат», звать не желала. Уж не полагала ли в наивности, что это плотное, это звучное словцо делает одеяние и теплее, и красивее?

Являясь в то или иное столичное присутствие, посланец юга пытался всякий раз сбавить бушлат на вешалку, но вешалки не всюду были, а если и были, то гардеробщики откровенно брезговали такими обносками. «Вы к кому, молодой человек?» — вопрошали подозрительно. Вот и норовил оставить украдкой в холле — то на подоконнике, то на облезлом каком-нибудь кресле, но случалось, не было ни подоконника, ни кресла или в холле кто-нибудь торчал. Тогда он просто расстегивался, распахивался, что делало верхнюю одежду, надеялся он, менее заметной, и лишь после этого, набравшись духу, открывал дверь. В тот же миг взоры сидящих устремлялись на его несчастный полушубок.

Только один человек во всей Москве не увидел в этой пиратской робе ничего особенного. Взял, как берут приличное дорогое пальто, и повесил в стенной шкаф, причем повесил не на какой-то там гвоздик, а на деревянные плечики, бережно распрямив воротник.

Человеком этим была Лилия Анатольевна. Прибывший в столицу южанин позвонил ей прямо с вокзала, сразу, как сошел с поезда, хотя сделать это, конечно, полагалось раньше, еще из дому, — или позвонить, или написать. Во всяком случае, предупредить заранее, а не сваливаться как снег на голову. Да и кто он, собственно, этой женщине? Никто... Даже в отдаленном родстве не состояли, просто семьи их, эвакуированные в 41-м в маленький среднеазиатский городок, нашли приют под одним кровом.

К-ов времени этого не помнил. Зато его хорошо помнила бабушка. С упоением рассказывала, как пивали чай со сладким — слаще меда! — кишмишем, как ели сладкую — слаще меда! — дыню и как Л и л ь к а раскачивала в штанах верхом на ослике.

В штанах! Тогда-то, поди, и в Москве женщины не носили брюк, мода на них придет еще не скоро, а эта пигалица, восхищенно ужасалась бабушка, эта вертихвостка натянула и хоть бы хны!

Назвав себя и прибавив на всякий случай: внук такой-то, вам большой привет и письмо (письмо, видел он, маленькое), незваный гость вежливо умолк. «Ты откуда?» — раздалось наконец в трубке. «Из Москвы! — тотчас с гордостью отозвался он. — Я здесь уже... В Москве». И, помнит он, огляделся, дабы убедиться в счастливой, в невероятной правоте собственных слов.

Вокруг была действительно Москва: высоченные дома, с крыши снег скидывают, чего на юге у них не делали никогда, машины в несколько рядов... Лилия Анатольевна издала негромкий звук — тогда еще он не знал, что это у нее означает смех. «Москва большая... — И приказала: — Слушай меня внимательно! Слушай и запоминай».

Через час он нажимал кнопку звонка у ее двери. Открыла женщина в брюках (он, естественно, сразу вспомнил бабушкины рассказы про Среднюю Азию), худенькая, невысокая, с голубыми волосами. Голубыми! Воспитанный человек, он не выказал удивления, а она, в свою очередь, не заметила бушлата, который он в целях конспирации расстегнул еще на лестничной площадке. Быстренько разоблачившись, поискал глазами, куда бы тряпье это сунуть (взгляд, само собой, шарил понизу), но она взяла бушлат своей сухонькой ручкой и, распрямив воротник, повесила на плечиках в стеной шкафа.

Всего шкафов было три — по числу семей. И три, стало быть, комнаты. К Лилии Анатольевне вела стеклянная разрисованная подсолнухами дверь, за которой кто-то возился, словно пытаясь выбраться, чтобы тоже приветствовать гостя. «Как ты ведешь себя?» — укоризненно сказала Лилия Анатольевна, а гость тем временем глазел на лаковые яркие лепестки подсолнухов.

Не они ли, эти праздничные подсолнухи, и ожили в памяти при виде одуванчиков, потянув за собой все остальное? Ну, хорошо, не черной была собака — белой, именно она и возилась за дверью, а когда дверь, наконец, открыли, с ликованием бросилась к новому человеку, — не черной, а белой, но все-таки была собака, была, и девочка была тоже, дочь Юнна, тощая, плоскогрудая, в очках с сильными линзами, вечный подросток, да и сама Лилия Анатольевна походила своим сложением на подростка, так что внешний ассоциативный ряд проступал отчетливо. Но здесь, на лугу с желтыми одуванчиками, было, чувствовал он, не внешнее, не просто внешнее и уж тем более не просто воспоминание. Меланхолик по натуре, он любил предаваться воспоминаниям, он погружался в них с удовольствием и надолго, сейчас, однако, что-то в нем протестовало, ему не хотелось думать о Лилии Анатольевне, не хотелось сопоставлять и сравнивать.

Кого сравнивать? Кого и с кем? Ее с собою? Но что общего между тяжелым, неповоротливым, мнительным провинциалом, который пуще всего боялся показаться смешным, и легкой, с легкой усмешечкой (о, этот короткий звук!) столичной жительницей, так бесстрашно лелеющей свою индивидуальность! Даже говорила по-своему, немного растягивая слова, точно смаковала их — как смаковала каждый час, каждую минуту своего бытия.

А смаковать-то особенно было нечего... Набегавшись по Москве, восемнадцатилетний паломник спал на своей раскладушке как убитый, но иногда все же приоткрывал глаза и всякий раз видел склонившуюся над вязаньем голубую аккуратную головку. Кажется, так и сидела ночи напролет — от заказов на кофточки собственного ее фасона не было отбою, — а утром, сделав зарядку по системе йогов (пес внимательно наблюдал за стоящей на голове хозяйкой) и выпив душистого кофе, отправлялась в свой то ли геологический, то ли нефтяной институт, где отсиживала на кафедре положенные часы.

Не просто отсиживала, нет, не просто заполняла какие-то ведомости и вела какие-то журналы, но была, судя по рассказам ее, центром, душой, средоточием кафедральной жизни. И студенты, и профессора не могли якобы и дня прожить без ее советов, чему К-ов, в общем-то, склонен был верить: он и сам, заделавшись москвичом, частенько навещался к ней со своими проблемами. Хотя, может быть, проблемы были только поводом удрать из постылого общежития и провести часок-другой в домашней

обстановке. Ах, какой картошкой угощали его здесь — золотистой, ломкой, с соленой корочкой!

Лилия Анатольевна внимательно слушала гостя. У нее-то самой проблем не было — во всяком случае, никогда не говорила о них. Ни на что не жаловалась и ни о чем не жалела. Легко и молодо шагала по жизни — как девочка.

Дочь звала ее по имени: Лилей. В разговорах она обычно не участвовала, молча рисовала себе что-нибудь, а на бледном большелобом лице блуждала вокруг пунцовых губ улыбка.

Кто был ее отец? Художник — вот все, что знал К-ов, хороший художник и хороший человек, так аттестовала его бывшая жена. «Но мы, к сожалению, не смогли ужиться. — Прикусила уголок губы острыми зубками и прибавила, опустив глаза: — Хорошие люди часто не уживаются, так ведь?»

Больше не говорили на эту тему. Вообще не любила вспоминать: вся здесь была, в сегодняшнем дне — прошлое интересовало ее мало. О Средней Азии завел как-то речь беллетрист, о городке, где началась его жизнь и где русская девушка разъезжала на ослике в лимонного цвета брюках, но хозяйка лишь издавала свой негромкий звук. «Лимонного?.. Надо же, а я не помню». — И больше ни слова.

Иногда его приглашали в воскресенье на обед, после которого мать усаживалась за свое вязанье, а дочь с гостем отправлялись выгуливать собаку. Однажды Юнна захватила этюдник. Разложив его, присела на скамейку, он же с газетой устроился напротив. Пес обнюхивал местность — белый хвост мелькал там и сям меж кряжистых стволов. Сквозь густые кроны пробивались кое-где лучи солнца, пели птицы, и шумела листва — как и теперь, было лето, но одуванчики не попадались на глаза — нет, не попадались! — зато хорошо видел в обрамлении черных распушенных волос незнакомое лицо. Красивое... Очень красивое! — он, слепец, и не замечал прежде. И вот лицо это вдруг поворачивается к нему — замороженный, он не успевает отдернуть взгляда, — и они мгновение или два смотрят в глаза друг другу.

К-ов заволновался. Он точно помнит, как заволновался тогда, а может быть, даже почувствовал нечто вроде страха — не с тех ли пор и стал бывать в комнате с подсолнухами все реже и реже? И по два, и по три месяца не казал носу, но — удивительное дело! — его не упрекали тут, не допытывались, куда это он пропал, а лишь поглядывали с усмешливой пытливостью и все понимали.

Все понимали, все... На ноги, понимали, встает человек, вращает в столичную круговерть, обживает... Обкатывается — вот-вот, обкатывается! — как обкатывается камушек в прибойной волне, делаясь не отличимым от сотен и тысяч ему подобных.

«А куда делась твоя курточка?» — спросила раз Лилия Анатольевна. Без всякой иронии, ласково и немного грустно — прибахливший провинциал, на которого теперь не таращили глаза, когда являлся в присутственное место, слегка даже растерялся. «Курточка? — не понял. — Какая курточка?»

«Та, — ответили ему, — в которой ты был, когда, помнишь, первый раз в Москву приехал... Мне она очень понравилась».

Бушлат... Бушлат понравился! Кажется, то был единственный случай, когда она заговорила о прошлом, и бедняга К-ов, точно пойманный с поличным, залепетал что-то, оправдываясь. Не в чем было оправдываться — решительно не в чем! — но он все-таки оправдывался, бывать же у матери с дочкой стал с тех пор еще реже. А потом и вовсе прекратил — растворился в московской толчее, исчез; лишь по праздникам давал о себе знать то телефонным звонком, то открыткой, но скоро оборвалась и эта ниточка. Исчез, растворился — подобно бушлату, что так, оказывается, полюбился взыскательной рукодельнице.

Куда, в самом деле, подевалось наследие одноногого пирата? Никогда прежде не думал об этом, но сейчас, глядя из своего листовного укрытия на девочку в сарафане, которая закончила, наконец, стрижку и теперь убирала ножницы, а полгчавшая собака носилась черным вихрем в желтом спокойном море, — сейчас почему-то задал себе этот вопрос.

Ответа, разумеется, не было, какой ответ! Сгинул полушубок Сильвера, сгнил, распался, разве что какая-нибудь пуговка-долгожительница все еще странствует по свету, пришитая к потрепанному пальто или перелицованному детскому плащiku. Странствует и — кто знает! — быть может, где-нибудь да встретится ненароком с сотворенной руками Лилии Анатольевны шерстяной, необыкновенного фасона, кофточкой.

Они-то встретятся, а вот К-ов Лилии Анатольевны не видел давно. Ни Лилии Анатольевны, ни дочери ее Юнны, которая, знал он, вышла было замуж, да неудачно... А может, и удачно, может, и хороший попался человек, но хорошие люди, помнил он, уживаются не всегда. Чаще даже — не уживаются... Лет десять, наверное, не видел К-ов матери с дочкой, больше, чем десять, если не считать, что однажды узрел Лилию Анатольевну на телевизионном экране. То ли митинг показывали, то ли демонстрацию, и вдруг — женщина с вдохновенным мальчишеским лицом и голубыми волосами. Резко выделялась в безликой толпе и не боялась этого, не пряталась; оператор долго удерживал ее в кадре — колоритная особа! — а К-ов так весь и подался вперед.

Но может быть, он ошибся. Может, то была не она... Но там хотя бы сходство было, а здесь-то, на лугу, — ничего общего. Девочка в сарафане (ни Юнны, ни матери он в сарафане, насколько помнит, не видывал), черный, а не белый пес и россыпь желтых одуванчиков. При чем же тут Лилия Анатольевна? При чем тут художница Юнна и ее бледная красота? Надо бы, конечно, позвонить им, надо бы написать, а может, даже и съездить, но он понимал, унылый реалист, что не позвонит и не напишет. А еще понимал, еще предчувствовал с тревогой, что картина, которую он видит сейчас (девочка села на велосипед и поехала, давя одуванчики, а пес впереди мчался, длинно подпрыгивая в высокой траве, будто плыл по волнам), — картина эта, предчувствовал он, навсегда отпечатается в его смятенном сознании. Но тогда еще он не знал, печальный реалист, что отпечатается с небольшим добавлением.

Мужская, почти растворившаяся в листе фигурка на невысоком холме — вот это добавление. Но раз так, раз он тоже здесь, на живом полотне, — собственной персоной, то кто в таком случае видит все это? Кто, зоркоглазый, смотрит сверху и запечатлеват все? Уж не бледнолицая ли девочка в очках, мастерица по части картин и этюдов?

Сбор земляничного листа за кольцевой дорогой

Сейчас уже не мог сказать с достоверностью, когда появилась она в стенах института, но одно знал точно: на защите диплома присутствовала. Стояла возле двери с маленьким школьным фотоаппаратиком, который время от времени подносила к глазам и щелкала, старательно, по-детски как-то зажмуриваясь. К-ов еще подумал: ну что может получиться при таком освещении — без вспышки-то! — подумал и забыл, а спустя четверть века (да, минуло ровно двадцать пять лет, тютелька-в-тютельку), убедился, что получилось. Не очень, конечно, хорошо, все было как бы в дымке (дымке времени?), но все-таки узнал и себя, такого еще молоденького, с густыми волосами, и восседающих за длинным столом профессоров, и сам стол, который и поныне пребывал все на том же месте и, подозревал К-ов, был покрыт той же, что тогда, зеленой, в чернильных пятнах, скатертью. По четвергам (неизменный четверг, день защиты!) располагался неспешно за этим вечным столом вместе с другими членами государственной комиссии (государственной! Словечко это, правду говоря, льстило ему) и благосклонно внимал когда витиеватым, когда скупым и смущенным речам молодых выпускников, а у двери все так же дежурила девочка с аппаратом, совсем, кажется, не повзрослевшая за эти годы, лишь слегка как бы выцветшая, как бы потускневшая, спрятавшаяся за ту самую дымку, какой были подернуты ее наивные фотографии.

Работала Манечка (все — и преподаватели, и студенты — звали ее Манечкой) вахтером. Дежурили вахтеры по двенадцать часов, потом то ли

двое, то ли трое суток дома, но Манечка, создавалось впечатление, вообще не покидала института. Жила в нем... Если нет ее в стеклянной камерке у лестницы, — значит, на кафедре где-нибудь, надписывает, склонив набок стриженую головку, папочки. Или — в приемной комиссии, разбирается с бумагами абитуриентов; а то, случалось, и в ректорской приемной, вместо захворавшей секретарши, с обязанностями которой справлялась очень даже недурно. Вежливо отвечала глуховатым своим голосом на звонки, давала номера телефонов, причем ни в какие шпаргалки не заглядывала, и даже могла сказать, когда у того или иного профессора лекция.

Некоторые лекции Манечка посещала. Пристроится где-нибудь сзади, но не у окна — привилегированные места возле окон занимали студенты, — и внимательно, с неподвижным лицом слушает.

Понимала ли, однако, хоть что-то из того, что вещал преподаватель? Мнения на этот счет были разные, но считалось: раз Манечка удостоила вниманием — лекция стоящая. Профессора даже хвастались — вроде бы полшутя: а меня нынче Манечка навестила! — но глаза при этом (или очки) гордо поблескивали.

К-ов не был в институте много лет и, когда, приглашенный вести семинар, впервые в новом качестве переступил порог альма-матер, то первым человеком, которого увидел, была она, тихая привратница за стеклянной перегородкой. Ничуть не изменившаяся! С той же короткой стрижкой... Подняв глаза от книги (и прежде читала во время дежурства), смотрела на него с серьезным вниманием. Он радостно поздоровался: «Здравствуй, Манечка!» — но она не выразила в ответ ни малейшего воодушевления.

«Здравствуйте», — проговорила флегматично, и у него не повернулся язык выяснить, узнала ли она бывшего студента. Уверен был: не узнала, и хорошо, и слава Богу! — такое, во всяком случае, мелькнуло чувство, — мелькнуло и пропало, не только не распознанное им, но даже не особенно замеченное.

Его удивило, конечно, что время, которое не щадило других, в том числе и его, грешного, ее почти не тронуло: как была девочкой, так и осталась. Но вскоре разглядел: детские черты ее были на самом деле проявлением недоразвитости, симптомом (или следствием) тяжелого недуга, явно хронического и уже неизлечимого, да и переставшего, собственно, быть недугом, болезнью, ибо болезнь — это процесс, а здесь все давно остановилось, застыло, и произошло это, по всей видимости, давным-давно, в детстве. Но феноменальная память! Но этот пусть не жадный, пусть приторможенный, но все-таки устойчивый, на протяжении стольких лет, интерес к книгам и лекциям.

Однажды он допоздна засиделся на кафедре — дочитывал рукопись, как вдруг в тишине, которую нарушал только шелест переворачиваемых страниц, закрипела дверь и в щель просунулась стриженная головка. «А, это вы, — проговорила негромко Манечка и назвала его по имени. Просто по имени, без отчества, что в стенах этих К-ову приводилось слышать не часто. — А я вижу — свет, думаю, погасить забыли». И тихонько прикрыла дверь.

Растревоженный, он так и не смог больше собраться с мыслями. Кичливости не было в нем — по имени так по имени! — но его поразило, что она, оказываясь, не только помнит его, но, судя по всему, воспринимает таким, каким был он четверть века назад. Отчего же ничем не выдавала себя? Отчего за весь год — а он проработал в институте уже год — не воспользовалась ни разу правом старой знакомой? Остановить, заговорить, напомнить о прошлом... Он тоже не воспользовался (если не считать того первого раза, когда жизнерадостно и фамильярно поздоровался с ней), но он-то думал — он просто уверен был! — что затерялся в ее памяти среди других студентов. Мудрено не затеряться — столько прошло их за эти годы перед быстрым ее взором!

Получалось, он как бы прятался от нее. Прятался или пренебрегал — во всяком случае, она могла подумать так... Решительно закрыл рукопись, сунул в портфель, оделся и вышел, погасив за собой свет.

В коридоре горел один-единственный плафон, да и то в самом конце, возле туалета, и, может быть, поэтому коридор казался непривычно длинным и мрачным. От толстых стен с облупившейся штукатуркой веяло си-

ростью, поскрипывали половицы, а в единственном окне, на холодном крашеном подоконнике которого он столько раз сживал студентом, отражался — далеко! — все тот же неяркий плафон и его, преподавателя К-ова, широкая от растянутого плаща, зыбкая, как призрак, фигура. Институт помещался в особняке восемнадцатого века, разные знаменитости жилали тут, но об этом нынешние хозяева вспоминали редко, лишь на торжествах по случаю начала учебного года — это официально, вслух, а про себя — когда видели во дворе экскурсионные группки. И вот теперь преподаватель К-ов вспомнил об этом тоже, но вспомнил не с гордостью, не с лестным сознанием своей пусть нечаянной, пусть временной, но все же причастности к великим теням, а с чувством нехорошим, неуютным, переместившим акцент со слова «великие» на слово «тени». О Манечке подумал, безответной привратнице, — как не страшно ей здесь ночью, одной! — подумал, а затем, приблизившись к стеклянной каморке, и вслух произнес.

Манечка читала. Отраженный от стола рассеянный свет озарял склоненное над книгой детское личико, на котором хоть бы мускул дрогнул, — неужто не слышала приближающихся шагов? — и лишь когда прозвучал, как-то очень длинно, его голос, подняла неторопливо голову. «Не страшно», — ответила. В полумраке он не различал ее глаз, но ровный, глухой, монотонный голос передавал их безжизненное выражение. Словно и она тоже была тенью, вот разве что тенью не отшумевшей жизни, а, наоборот, жизни несостоявшейся. Не оттого ли, подумал он, и прижилась в этих стенах, среди своих, так сказать. Но позже, когда между ними установятся особые, доверительные отношения, К-ов мысль эту отвергнет. Тени, присутствие которых он столь отчетливо ощутил в тот осенний вечер, не являлись ее воображению — не являлись хотя бы потому, что воображения-то как такового не было у Манечки, она жила в мире, адекватном самому себе, то есть была в этом отношении полной противоположностью сочинителю книг, который воспринимал реальность лишь как повод, как импульс, как материал — вот именно материал! — для пробуждающегося бытия, что он самозабвенно и кропотливо лепил в своем безысходном уединении. Антиподы, выходит? Наверное, антиподы, но в то же время, угадывал К-ов, было между ними нечто общее, и Манечка, по-видимому, угадывала это тоже, потому что стала выказывать к нему после того непродолжительного общения в по-ночному вымершем особняке знаки внимания. Принесла снимок, на котором была запечатлена защита диплома, снимок, не очень качественный, но он, конечно же, тотчас узнал себя, торжественно и нетерпеливо застывшего на пороге новой жизни.

Ах, как рвался он в эту неизведанную жизнь! Как предвкушал победы и праздники! И праздники были — были праздники, были! — ему на судьбу жаловаться грех. Услышать по телефону: книга вышла, вот только что прислали из типографии сигнальный экземпляр, — и, бросив все, лететь в издательство, но лететь душой, физически же перемещаться без спешки, с таким чинным смирением (не только ведь беда требует смирения, но — и даже, может быть, в большей степени — удача тоже), войти неторопливо, вежливо назвать себя и, наконец, благоговейно взять в руки свежее испеченный томик, плод многолетних трудов, соединительное звено между миром, в котором он плачет и радуется, отгородившись от всех, и миром, в котором плачут и радуются другие... Не эти ли счастливые мгновения и предвкушал пышноволосый юнец на старой фотографии? «Экий, — усмехнулся К-ов, — драгун!»

Манечка посмотрела на него, но недолго, сразу же отвела взгляд. «Почему драгун?»

К-ов растерялся. Автор иронических текстов, он бывал, случалось, и толкователем их, о Sterne писал и писал о Свифте, но здесь растерялся — перед собственной то незамысловатой шуточкой! — и не нашел ничего лучшего, как осведомиться: «Ты знаешь, кто такой драгун?»

Вопрос, разумеется, был обидным (разве повернулся б язык, будь другая на ее месте!), он сообразил это мгновенно, но исправить дело можно было опять же только шуткой, а шутка она не понимала. Мазнув по нему взглядом, ответила тем же ровным, глуховатым, без малейшего упрека, голосом: «Знаю. — И добавила: — Вы, наверное, конным спортом занимаетесь?»

Тут уж он не сумел сдержать улыбки — представил себя верхом на лошади! — а его собеседница оставалась серьезной и вдумчивой, внимательно ответа ждала.

К-ов знал, что живет она с матерью и незамужней сестрой на окраине Москвы, у кольцевой дороги, за которую ходят все трое собирать земляничный лист — зимой им, высушенным, заваривает чай едва ли не весь институт (лист оживает в кипятке, зеленеет, наливается плотью и запахом), — знал и без труда рисовал себе эту женскую обитель, где наверняка преобладали серые унылые тона. (Они преобладали и в Манечкиной одежде, отнюдь не нищенской и очень даже, если присмотреться, опрятной, но именно серой, именно унылой.) Интерес его к Манечке не был интересом литературным, беллетрист не собирался ее описывать, просто ему нужно было понять ее, а через нее непостижимым каким-то образом понять и себя, коль скоро между ними и впрямь существует что-то общее. Она тоже думала о нем (конечно, думала! А иначе разве стала бы разыскивать допотопный снимок!), но думала иначе, нежели он, по-своему, не умея дополнить воображением то, что видели ее глаза. Видели глаза, слышали уши, улавливало обоняние — дальше же (за своего рода кольцевой!) мрак начинался, небытие. Именно так: небытие, вот разве что в поле ее зрения попали каким-то чудом и написанные им книги.

Оказывается, Манечка была его усердной читательницей. Он с удивлением узнал об этом все в тот же осенний вечер, когда она без смущения назвала его по имени, на что у нее, сообразит он впоследствии, было право, и право не только памяти, сохранившей в неприкосновенности студенческий его облик, но право постоянного, из года в год, общения с ним, ибо читала едва ли не все, что выходило из-под его пера.

Потрясенный К-ов осведомился, не удержавшись, о последней своей повести. Месяца три назад вышла, но он еще не слышал о ней ни слова, не слышал и не надеялся услышать, ибо никто ничего не читал, не до изящной словесности было оглушенным, усталым, мающимся по очередям, затурканным людям, — никто, кроме Манечки. Манечка читала... В том числе — и эту злополучную повесть.

«И как?» — спросил он небрежно, а у самого аж перехватило дыхание. Да, перехватило дыхание, хотя не литературный эксперт был перед ним. не посвященный в тайны ремесла коллега, а вахтер Манечка, всего-навсего, но раз никому в мире нет больше дела до того, что составляет суть его жизни, ее плоть и душу — вне письменного стола К-ов превращался в собственную бледную тень, — если одна только Манечка и осталась у него, то он хочет знать ее мнение. «Что — как?» — не поняла она.

К лицу его прилила кровь, но в вестибюле, к счастью, стоял полумрак — лишь раскрытую книгу освещала настольная лампа, — поэтому Манечка вряд ли что-нибудь заметила. «Понравилось?» — произнес он еще небрежной, почти разнузданно, давая понять тоном, что шутит, — забыл от волнения, что Манечка шуток не понимает. Да и слово «понравилось» не умела, по-видимому, соотнести с тем, что не имеет ни вкуса, ни запаха... Надолго задумалась — он ждал! — потом молвила: «Это седьмой номер», — и назвала журнал.

Наверное, могла бы назвать и страницы — с такой-то памятью! — но К-ов не донимал ее больше дурацкими вопросами. Осведомился, не холодно ли здесь — ночами ведь уже заморозки! — и она объяснила, показывая глазами куда-то вниз, что у нее рефлектор. «Тогда — счастливо оставаться!» Кивнул, улыбнулся («До свидания», — ответила она, а на улыбку не ответила) и, толкнув тяжелую дверь, вышел во мрак небытия.

Благодарю за белизну костей
 благодарю за розовые снасти
 благодарю бессмертную постель
 благодарю бессмысленные страсти.
 Благодарю за серые глаза
 благодарю любовницу и рюмку
 благодарю за то, что образа
 баюкали твою любую юбку.
 Благодарю оранжевый живот

...своей судьбы и хлеб ночного
 бреда.
 Благодарю... всех тех, кто
 не живет
 и тех кто под землю будет предаван.
 Благодарю потерянных друзей
 и хруст звезды, и неповиновенье
 ...благодарю свой будущий музей
 благодарю последнее мгновение!

Бандероль священо любимому

Александр Галичу

Молись гусар пока крылечко алое,
 сверкай и пой на кляче вороной
 пока тебя седые девки балуют
 и пьяный нож обходит стороной.
 Молись гусар отныне... или присно
 на табакерке сердца выводи
 и пусть тебя похлопает отчизна
 святым прикладом по святой груди.
 Молись гусар, ...за бочками,
 бачками
 на веер карт намечены дуэли
 да облака давно на вас начхали
 пока вы там дымили и дурели.
 Молись гусар! Я расскажу вам
 сказку
 когда курок на спесь не дарит
 спуску
 ведь ваша честь — разорванная
 маска,
 где вместо глаз сверкает гной
 и мускул.
 Молись гусар! Уже кареты поданы.
 Молись гусар! Уже устали
 чваниться,

гарцуют кони и на бабах проданных
 любовь твоя загубленная кается.
 Молись гусар! Во имя прошлых
 девок
 во имя Слова, что тобой оставлено,
 и может быть твое шальное тело
 в каких-нибудь губерниях
 состарится.
 Молись гусар, пока сады не поняли,
 молись гусар, пока стрельцы
 не лаются
 ведь где-нибудь подкрасит губы
 молния,
 чтобы тебе при случае
 понравиться.
 И только тень, и только пепел...
 пепел
 паленый пень... и лишь грачи
 судачат...
 и только вздрогнет грязно-медный
 гребень
 А снявши голову, по волосам
 не плачут!!

Любимой вместо оправдания

Еще и губ не выносили,
 но кашляли в платок тайком.
 Мы пол-России изнасили
 колоколами отпоем.
 На наши тихие молебны
 ареста сладкий перезвон,
 как мальчики смеются нервы
 и крутят желтый горизонт.
 Креститесь долгими руками
 пока подраненные злят,
 пока вам весело на камне
 с тревожным именем — Земля.
 Туда, где сад отпустит ногти
 всех роз своих... уйдешь и ты,
 у каждой родины в блокноте
 разлук кровавые бинты.
 О, позолоченная память
 над позвоночником коня.

Я у собора под глазами,
 ты под глазами у меня.
 Наверное я Богом спрошен
 с той парты, где хрустелен взгляд.
 Мы на любимых руки крошим,
 а сами принимаем яд.
 Но что нам делать до обедни,
 когда и парус не распят
 ...когда, как дольки, отдельно
 по жутким слободам казнят?
 У бабушки моей зимы
 нашлись зеленые погоны,
 по горло мне любовь страны,
 до лампочки ее погода.
 Меня прошло совсем немного.
 Ах, все равно я выйду ...за
 там начинают звезды трогать
 там начинаются г л а з а !!

Акварель сердцам невинным

Души безумной рваные коленки.
 Что Фауст приземлится ли слезам
 чтоб запечатать теплые конверты,
 где дышит молоком моя Рязань?
 Какой бы смертью нас ни занесло
 в такие отдаленные селенья
 мы души собираем, что шальнее
 и обучаем нашим ремеслом.
 Какой испуг страную нынче правит?
 Кто князь, кто оскандалил

в облаках
 закушенные губы наших правил,
 и пьяную надменность в кабаках?
 Кто там решил, что я от сладкой
 жизни
 на ветреной петле уже женат?
 Что стал я непригожим или лишним
 на той земле, где видел стыд
 и блат?

А на Руси такая благодать —
 Царь-пушка на Царь-колокол
 глазеет

метель мою любимую лелеет
 к Антихристу в трамвае едет блядь,
 и сердце бьется глупеньким трофеем
 уставшим вопрошать и бастовать...

А на Руси такая благодать!
 А мы смеемся — старые игрушки
 и кружится Москва, как та

пластинка,
 где колокол плевать хотел на пушки,
 а на царя ему и так простится.

Мы кажем зубы Рождеством
 с крестами,
 но замечаем с болью, может

юношеской —
 что люди и молиться перестали,
 где был собор, там новые конюшни.
 Да, что там говорить,

и конь уж редок там...
 железные животные колдуют,
 и в бойню превратили лучший храм,
 в бассейн там превратили лучший
 храм,

и дети сатаны всю ликуют.
 За выбитые зубы просят хлеб,
 уроды хлеб шакалят за уродство,

а каждый смерд и нищ и наг и слеп,
 глазок тюремный превратили
 в солнце.

Они уже на небо не глядят,
 для них и небу негде ставить пробу,
 О, где же ты, который был распят?!
 по-моему твой час настал и пробил.
 Но шмон идет по всем твоим краям,
 они еще успеют, да успеют
 всех лучших потерять как якоря
 в сырую землю. в самый час

успенья.
 Подпольные правительства — тоски
 и основоположники — печали
 откроют правду ржавыми ключами,
 где гении шумят как колоски
 ижимают робкими плечами.
 Вот так страна, какого ж я рожна,
 ...чужой женою с четвертинкой

водки,
 спешит напиться, а когда волна —
 упасть на дно моей безумной лодки.

И требовать ромашек, да венков...
 клятв... будто пирамид в пустыне,
 но до любви, конечно, далеко...
 хозяева угрюмых псов спустили.

Цветы не пляшут на моем лугу
 и навестив потусторонни земли
 она уйдет другие трогать семьи
 и черной кровью кашлять на бегу.

Подайте офицерского вина,
 подайте виноградную обиду...
 давайте выпьем за кусок отбитый
 от колокола с именем — финал.
 Пусть нас в лукавых землях

проклянут,
 испепелят, но лишь глаза
 проклянут,
 я в книгу Жизни робко

загляну
 и подмигнув, победоносно сплуну.
 Теперь мне хоть корону, хоть
 колпак
 ...едино — что смешно, что

гениально...
 я лишь хотел на каждый свой кабак
 обзавестись доской мемориальной!!!

Первая клятва

И буду я работать, пока горб
 не наживу да и не почернею.
 И буду я работать, пока горд,
 что ничего на свете не имею.

Ни пухлой той подушки мерзкой
 лжи,
 ни жадности плясать у вас на теле,

ни доброты похваливать режим,
 где хорошо лишь одному злодею.

Ни подлости друзей оклеветать,
 ни трусости лишь одному

разбиться,
 ни сладости по-бабьи лопотать,
 когда приказ стреляться и молиться.

Я надену маску пастуха и принца,
в лимузине старом буду пить какао,
двойнику замечу: «Лучше удавиться,
на века остаться символом кокарды».

Черновик ли брезгует с бардаком знакомиться,
или все холодное в плен отдала водке?
Голова ли кружится сельскою околицей
там, где перевернуты и слова, и лодки?

Ладно, я умею в переулках теплиться,
золотою свечкой жить на подоконнике.
В шоколадном платье голубая девица
соберет свидания в молодые сборники.

Я бы дал названия каждому, каждому.
Что-нибудь придумал — легкое-легкое,
пусть свиданьеведы по подвалам кашляют —
первый сборник — «Патлы», второй сборник — «Локоны»

В день рожденья совести опрокину рюмку
робкого совета, пьяного начала.
А потом родившейся на святую юбку
я пришью загадки с ржавыми ключами.

Будет пахнуть клевером, резедой, укропом
и другими разными травами, цветами.
Третий Рим в насмешках, Третий Рим в сугробах
и с губной помадой вымерли свиданья.

Мы давным-давно сожгли шпаргалки смерти.
Строчат мемуары лживые напарники.
Бросьте мне за пазуху бронзы или меди
я коплю на памятник у души на паперти!

* * *

Что ангел мой родной мне пишет?
Что Бог к моим страданиям шьет?
Я чувствую тебя все ближе,
холодной грусти переплет.

От этой истины, ручаюсь,
с людскою ложью водку пью.
На славу царскую венчаюсь
и славы царской не люблю.

А забинтованной женою
идет Россия по холмам
церквей, засыпанных золою,
где кости с кровью пополам.

Мое чело чеканит стужа.
Мое перо таскает враг.
Я навожу приятный ужас
лишь стопкою своих бумаг.

Вас ждет Антихрист, ждет Антихрист
и чавкающим стадом — ад.

Я умоляю вас — окститесь,
очнитесь, и сестра, и брат!

Кто может здесь еще молиться —
пусть молится. Иначе — плен.
И от зари и до зарницы
вы не подниметесь с колен.

И зверь иконой будет вашей
по всей земле, по всей земле.
И будут гарцевать по пашням
немые всадники
во мгле.

И вашим мясом, вашим мясом
откормят трехголовых псов,
и кровью вашей, словно квасом,
зальют тюремный ваш засов.

Глаза мои бы не глядели
на вашу землю в эти дни...
Но вот мы с ангелом летели
и плакали, что мы — одни!

Из «Зеркальных осколков»

О, родина, любимых не казни.
Уже давно зловецкий список жирен.
Святой водою ты на них плесни,
ведь только для тебя они и жили.

А я за всех удавленничков наших,
за всех любимых, на снегу
расстрелянных,
отверженные песни вам выкашливаю
и с музой музицирую раздетой.

Я — колокол озябшего пророчества
и, господа, отвечу на прощанье,

что от меня беременна псаломщица,
которая антихристом страдает.

В меня же влюблена седая ключница,
любовница тирана и начетчица.
Пока вся эта грязь с улыбкой
крутится,
со смехом мой топор старинный
точится.

И, тяпнув два стакана жуткой
водочки,
увидю я, что продано и куплено.
Ах, не шарфы на этой сытой сволочи,
а знак, что голова была отрублена!

* * *

Скупцы, зловецкие подонки,
кого вы ставите на полки:
какая ложь, какая грязь!
Раб после выстрела — есть князь.

Что мне в нелепой канители,
как вы постройте свой храм.
Пришедший Хам на самом деле
давно подыгрывает вам.

Какие карты будут биты,
какие развлекают молитвы,
не нам об этом тосковать.
Карета подана, бандиты,
верх поднят, наши губы квиты,
и ливню нечего скрывать.

Я — яд на вашем белом блюде.
Я — тень зловецких революций,
где к стенке ставили блядей,
где красные чулочки рвутся,
где речи ангельские льются
на похороненных детей.

Где все теперешнее сладко,
а будущее — горький щавель.
Где пахнет царская палатка
самоубийства теплым счастьем.

И в загорелую толпу,
как пьяный и веселый шулер,
я имя черное толкну,
которое над всеми шутит!

* * *

Ни с того,
ни с сего
чай забыт,
дом забит.
Ни с того,
ни с сего

слякоть волчьих молитв.
На ограбленных — ветер.
На загубленных — ад.
Кто там врет, что в нас свет?
Да не свет в нас, а блат!

* * *

Над питейным домом
дым стоит лопатой.
Пахнет пятым томом
и солдатским матом,

и зимой сосновой
в кабаках хрустальных,
и бессмертным словом:
«Как же мы устали!»

* * *

Природа плачет по тебе,
как может плакать лишь природа.
Я потерял тебя теперь,
когда лечу по небосводу

своей поэзии, где врать
уже нельзя, как солнце выкупать,
где звезды камнем не сорвать
и пючерк топором не вырубить.

Природа плачет по тебе,
а я-то плачу по народу,
который режет лебедей
и в казнях не находит брода.

Который ходит не дыша,
как бы дышать не запретили,

которым ни к чему душа,
как мне мои же запятые.

Природа плачет по тебе.
Дай мне забыть тебя, иначе —
О, сколько б смеха ни терпел —
и я с природою заплачу!

* * *

Задыхаюсь рыдающим небом,
бью поклоны на облаке лобном.
Пахнет черным с кислинкою хлебом.
Пахнет белым с искринкою гробом.

По садам ли гуляют по вишенным
палачи мои с острым топориком?
По сердцам ли шныряют
по выжженным
две невесты мои, как две горлинки?

Молодятся молитвы на паперти
согрешившей души и отверженной.
Ах, с ума вы сегодня не спятите.
Спите, будете крепко утешены.

Я не верю ни черту, ни дьяволу,
и в крапиве за древней избушкой,
как невеста, зацветшая яблоня
кое-что мне шепнула на ушко.

Я поднялся к ней пьяно-оборванный,
как ромашка, от ветра покачиваясь.
И как будто держали за горло,
я прослушал все то, что назначено.

И сказала она удивительно,
кротко, просто, а значит искусно:
то, что стал я писать ослепительно,
то, что стал я так пить, это
грустно.

То, что стал я хулой темных
всадников,
то, что стал я хвалой падших
ангелов,
что пьют водку и в светле,
и затемно,
и шабят «Беломор» в мокрых
валенках.

И на плечи дала мне огромного
ослепительно-вещего ворона.
Он в глаза посмотрел мне холодные,
а потом повернулся в ту сторону,

где стояла босая и белая,
майским градом еще не убитая
и весна, и любовь моя первая
со своими немymi молитвами.

Вся в слезах и как будто
в наручниках —
кости рук у нее перевязаны,
со своими подругами лучшими,
со своими лучистыми сказками.

Нет, они от меня не шарахались,
а стояли в молчании скорбном,
как невесты царя, что с шалавами,
с шалопаями встретятся скоро.

На плечах моих ворон не каркнет,
на устах моих слово не вздрогнет,
и летит голова моя камнем
к их стопам, где слезами намокнет.

Сохрани и помилуй мя, Боже!
Сокруши сатану в моем сердце.
Неужели удел мне положен
там, у печки, с антихристом
греться?

Сохрани и помилуй мя, Дева
и Пречистая Богоматерь!
Пока губится брненное тело,
пусть души моей смерть
не захватит.

Сохрани и помилуй в восторгах
меня, грешного нынче и грязного,
под холодной звездой Востока
и с глазами еще не завязанными.

Мы повержены, но не повешены.
Мы придушены, но не потушены.
И словами мы светимся теми же,
что на белых хоругвях разбужены.

Помяни нас в Свое Воскресение,
где разбитой звездой восклицания,
где и пьяный-то замер Есенин,
все свиданья со мной отрица.

Пусть хоть был он и мотом, и вором,
все равно мы покрепче той свары.
Все равно мы повыше той своры.
Все равно мы позвонче той славы.

Соловьев на знаменах не надо
вышивать. Выживать нам придется,

как обрубленным яблоням сада,
как загубленным ядом колодцам.

И пока не погасло светило
наших дней, обогранных скандалом,
ничего нас с тобой не смутило,
ничего нас с тобой не судило,
да и слово сиять не устало.

Разлучить нас с тобою нелепо,
муза, муза! В малиновом платье
ты — Мария Стюарт, и на этом
все же вышьем мы царскою гладью,

что концы наши в наших истоках
и что нет отречения и страха.

Каждый стих наш — преступной
листовкой,
за которой костер или плаха!

Пусть бывает нам больно и плохо,
не впервой нам такие браслеты.
И зимой собираем по крохам
нашей юности знойное лето.

Что же скажет угрюмый мой ворон?!
Ничего. Просто гость и не больше.
Ничего. Просто дикая фора
слова, жившего дальше и дольше.

Вот и все, да и тайн больше нету.
Музы, музы, покатым на дачу.
Задыхаясь рыдающим небом,
о себе я уже не заплачу!

* * *

Я с тем еще здоровьем
в Христе немного пьяный
я — тень его дороги,
но юный или рьяный.

Опальными устами
прошу посторониться
тем буквам, что устали
из-за меня давиться.

Я — стон крещеных дудок
и щеки благовеста...
и знойной злостью блуда
меня хранят невесты.

Не весть ли этот листик
что все известно грусти

акростих, словно крестик
гулять меня отпустит.

И только черный узел
бежит к молочной шее...
печаль, как водка с гуся
с меня снимает шелест.

С меня снимают маску
звенит разлуки мускул.
Прости меня за ласку
прости за то, что русский.

Россия иль Расея
алмаз или агат...
Прости, что не расстрелян
и до сих пор не гад!

Новогодняя открытка

И туча остановится
и облако состарится
кто крестится и молится
в душе моей прославится!
На бусы гляну ветхие
возьму лицо... пожалуйюсь
и не увидеть ввек ее
пока грустит с пожарами.
Попросят руки белые
вспугнуть разлуки клавиши
пока за солью бегая
и сахару не кланяюсь.
Пока с дождями мирятся
пока вожжами меряются
...и мир похож на мыльницу
в любой пузырь нам верится.
На шоколадных кладбищах
не подают, так падают
пузырь... пузырь играй еще

как шар земной — взаправду ли?

Земля не остановится
могила не останется
...и только пена помнится
и только пена — скалится.
Летят шары бильярдные
танцуют кони в кузницах,
несут кресты приятные,
часы на кровь любятояся.
Играй мой шар... ведь
лопнешь же
и ничего не сбудется,
и Мандельштам в Воронеже
ворует же на улицах.
Сверкай свирелью сверстника,
плыви за лодкой розовой,
ведь надо только свеситься,
чтобы увидеть ложное!

Накануне

Я помолился голубейшим ликам
о том, что скоро побелеет локон,
и смерти испугается свеча,
узнав, как тают по священным
книгам

ученики любимейшие Бога,
И в тюрьмах сыновья его мычат
и в небесах непоправимо пьяных
и в небесах непоправимо пленных
я таинство последнее узнал —
о том, как люди поздно, или рано
начнут, вскрывая ангельские вены
выпрашивать прощение у зла.
Заплачет камень, затвердеет

полдень,
и шар земной похожий на золу...
заставит повторить великий подвиг
того, кого в стихах не назову.
И род людской, себя продавший
трижды,

освобожденный только в облаках
благословит виновника сей тризны
и собственную кровь нальет в бокал.
Сощуриль глаз оранжевый заря
скользнет по ледяющим скользким
спискам
и на ремне последнего Царя
к нам приведут слепого василиска.
По всей земле предчувствую
костры,

в заборах человеческие кости,
и на церквях не русские кресты,
а свастику отчаянья и злости.
И паусной икрой толпа лежит...
и по сигналу можно только
хлопать,

миллионы их, но ни одной души
и проповедь свою читает робот.

* * *

Когда румяный мой ребенок
хрустальной ночью плачет зря
в глазах любимо-утомленных
читаю рукопись царя.
Когда коробит лепрозорий
перчатки Пушкина в аду,
я вдохновенье как мозоли
на сердце сладостное жду.
Ликуй заснеженная память
сверкай изнеженная плеть...
я покажу, как разум плавить,
я докажу, как душу греть.
Печальники, упрямыцы, ...чьи мы?
кто нас хранить заставил Свет?
Когда и вечность вышла чином
и звезды — выслугою лет.
От этой роли замираю,
суфлер убит, а плакать лень.
У свечки тихо занимаю
Шекспира сгорбленную тень.
Меня пугает эта Слава
и черный локон запятой,
прости, железная держава,
что притворилась — золотой.
Побольше бы твоих пророков
расстреливали на снегу,
вы запретили веру в Бога
надеждою на пять секунд.
Любовь вы к рельсам приковали,
поэтов в тундру увели
зевая, опубликовали —
...какие розы отцвели.
Потом узнали сколько стоит
берез пытаемая кровь,
улышались как гений стонет
(любимая, не прекословь).

Как гордость нации моей
петлю и пулю принимает
слезами всех семи морей
Россия это понимает!
Схватились за голову вы
но было поздно поздно
поздно...
оставьте плакальщицам выть
...как хороши-то были розы!
Да, после смерти можно брать
любое легкое творенье...
но правды вам не миновать,
не скрыть от мира преступленье.
Не важно, кто пророк, кто
праведник,
чьи губы до сих пор в крови,
вы маскируете под памятник
убийства гнусные свои.
Вас не спасет доска из мрамора
мемориальная тоска,
лишь потому, что вы из мрака
из сатанинского куска!
Все нами пройдено и понято
мораль сей басни такова —
пока тебя ласкает родина
ты можешь петь и токовать.
Но лишь придет пора охоты
лети... и крыльев не жалей —
плюс кровь... объявлена погода
в капканах плачет соловей.
И трусов суховой в Поволжье,
и град убийств в моем Полесье
...но даже смерть идет порожня
от сердца, где царит поэзия.
Она поражена, положим,
она попутала, ошиблась.

...на погоревшую похожа
 молила хлеба и божилась
 не приходить ко мне до времени
 моих исполненных желаний,
 плевать на давку и давления,
 предчувствия... переживания.
 Плевать на 80 пыток,
 плевать на 800 костров,
 на 8000 всех убитых
 и в 80 тыщ—острог.
 Плевать на милое блаженство,
 когда скандалит Божество.

Жизнь — родственница с грустью
 женской,
 но братьев все же большинство.
 Из них любимейшими понят
 как самый младший из троих
 не забывай, заметит Подвиг
 Талант добавит, лишь — Твори!

Но если вас измучит тайна
 и любопытство грудь прожжет,
 скажу одно — за дальней далью
 меня четвертый тайный ждет!!!

* * *

Мне бы только лист и свет,
 мне бы только свет и лист,
 неба на семнадцать лет,
 хлеба на полночный вист.
 Редких обмороков рвань,
 с рифмой роковую связь,
 чтоб она, лесная лань,
 всех наказов слушалась.
 Ножницы, чтоб розы стричь,
 финку, чтобы в душу лезть,
 и ресниц опальных — бич,
 и в чернильных пятнах — мечь.
 Марку на слепой конверт,
 синий ящик в переулке,
 где колотятся ко мне
 письма пухлые, как булки.
 Смехом выпрошенный йод
 и под правым глазом — шрам...
 Остальное заживет,
 пошевеливайся сам.
 А еще хочу снежок
 неизвестной дамы в спину,
 а еще хочу флажок
 красный лишь наполовину.
 Больше нечего желать.
 Я — домашнее заданье,

обо мне переживать —
 в августе брести садами.
 Не вошел еще горнист
 молодых моих ошибок.
 Ты не горбись, а гордись,
 что злодейского пошива.
 Но зеваает чья-то тень,
 и за пазухой ее
 нашей славы лютый день
 динамитом накален.
 Непонятым не понять.
 Неустроенным — устроить.
 А по ком в Москве звонят,
 это — памятник, пустое.
 Мне бы только лист и свет.
 Мне бы только свет и лист.
 Это мой насыщенный хлеб.
 Это мой насыщенный риск.
 На растерянной земле,
 там, где певчим жить прохладно,
 буду в бронзовой семье,
 а поклонницы — охраной.
 Ты за плечи грусть возьми.
 Не заплечных дел ведь мастер,
 я вернулся в мир казнить
 всех, кто был фальшивой масти!

Шалаи настроения

Все будет у меня — и хлеб, и дом,
 и дождик, что стучит уже отчаянно,
 как будто некрещеных миллион
 к крещеным возвращается печально.

Заплаканных не будет глаз одних,
 проклятья миру этому не будет.
 Благословляю вечный свой родник
 и голову свою на черном блюде.
 И плащ, познавший ангела крыло,
 и смерть, что в нищете со мною
 мается,

простое и железное перо,
 которое над всеми улыбается.

А славе, беззащитной, как свеча,
 зажженной на границе тьмы и тленья,
 оставляю, умирая, невзначай
 бессмертные свои стихотворенья.

Все будет у меня — и хлеб, и дом,
 и Божий страх, и ангельские числа.
 Но только умоляю: будь потом,
 душа, отцеловавшая отчизну!

Публикация Натальи Шмельковой

О ЛИНИЯХ ЖИЗНИ И ПЕЧЕНИ

РАССКАЗ

Гангстер Матута подъехал к базару, вышел из своего «мерседеса» и оглянулся в поисках уларок. Дело в том, что цыганки на базаре подразделены на турих и уларок, то есть на гадалок и торговок. Подобно тому как, по свидетельству охотников, у туров в горах есть постоянные спутники — горные индейки-улары, которые предупреждают стадо о приближающейся опасности, за что имеют возможность питаться турьим пометом, так и на базаре торговые цыганки целый день носились туда-сюда, знали где и что происходит, вовремя предупреждали гадалок, спокойно стоявших на однажды выбранных местах, о появлении органов, а за эти услуги получали возможность пихать клиентам, пришедшим спросить судьбу, сигареты, дональды и парфюмерию. Желающих погадать в тревожные эти дни становилось все больше и больше, тогда как курс демократизации постоянно лихорадил цыганский рынок. А мистика у нас всегда строже каралась, чем торговля.

Не найдя цыганок — ни турих, ни уларок — у ворот базара и около остановки, Матута понял, что недавно была очередная облава и органы отогнали цыганок к бакалейному ряду. Горсовет время от времени приказывал органам отогнать цыганок подальше от глаз иностранных туристов, прервав их путешествие к краю земли под предводительством барона Саструно Мануша. И это тоже действовало Матуте на нервы, как и все, что он видел в Черноморье по возвращении из Магадана. Так и не найдя цыганок, которых эти органы отогнали по приказу этого горсовета, как будто горсовет, дел где марел три года, обеспечил город сигаретами, Матута был вынужден ступить ботинками на пыльную мостовую базара и пройти к бакалейному ряду.

А вот что было дальше.

Вдруг Матута заметил, что в его подсознании нарастает Смутная Тревога, выражаясь слогом, которому гангстер научился на Магадане. Там ему попалась книжка без обложки, которую он прочитал и усвоил, хоть и не смог выяснить ни ее названия, ни кто ее сочинил. Но зато он научился замечать Мысль, как только она появлялась в Подсознании и Методом Фиксации вытаскивать на Поверхность Сознания. Это постоянно спасало Матуту в трудные минуты. И сейчас гангстер тотчас почувствовал хищным нутром Смутную Тревогу. Она все нарастала. На мгновение ему показалось, что это продолжается его обычное раздражение на советскую власть, но вскоре Матута осознал, что Смутная Тревога сродни тому чувству, которое наверняка знакомо читателю, если ему приходилось, отмычкой одолев замок, войти в хату, вдруг ясно почувствовать, что хороший товар там есть, только не обойтись без мокрухи. Но, век свободы не видать, что-то другое, более торжественное проклеивалось в Смутной Тревоге, охватившей сердце, точнее душу Матуты. Потому что у Матуты не было сердца. Какое может быть сердце у человека, который пятнадцать лет чалился на Севере, где за это сердце вместе с сердцем съедят в первый же день, если уже не съели на этапах. Смутная Тревога такого типа была вообще незнакома ему. Она очень насторожила гангстера. Матута весь подобрался, голова заработала, как мотор, он уже готов был ко всему, хотя еще не заметил стоявшую напротив, по его же выражению, Чертовски Симпатичную Цы-

ганку. Нечто обобщенно-цыганское он уже видел, но не счел нужным вглядеться. В голове у него была простая задача — купить сигареты «Космос» сухумской фабрики, потому что фирменные он не курил, а в сердце, точнее в душе — Смутная Тревога, которую Матута никак не связывал с цыганским миром.

Цыганка засекала его еще раньше, но тоже, в свою очередь, увидела не гангстера, а клиента мужского пола, к органам непричастного, с которого надо стянуть пару десятков рублей. Она относилась к высшей касте — касте турих — и была сейчас на рабочем месте. А к высшей касте относилась она не потому, что была дочерью покойного барона СаSTRUО Мануша, который разработал правила обычного цыганского права применительно к Сухумскому старому поселку. У барона от семи жен было огромное количество сыновей и дочерей, и никто из них не пользовался особыми привилегиями, если лично этого не заслужил. Просто дар прорицательницы цыганке был дан от природы, иначе она была бы, как ее сестры, обычной уларкой. В свои тринадцать лет она успела снискать себе имя, гадая и на картах, и по руке, и по зеркалу, так что покойный барон любил ее не только как дочь, но и как знатока своего дела, хотя не баловал ее, как не баловал никого, потому что это вообще не принято в цыганском мире.

Увидев Матуту, цыганка шагнула к нему, но глядела на него не более чем обобщенным взглядом. Барон не велел цыганкам смотреть на мужчин, а тем более на гаджио, выше подбородка и ниже пояса, исключая, конечно, право глядеть во время работы в глаза и на ладони, о чем подробнее будет сказано ниже. Барон учил, что опытной турихе, чтобы изловить гаджио, достаточно общим взглядом выше пояса, но не выше подбородка, определить его пол; органы он, или не органы; и сколько может выложить за гадание. И только после того, как он был изловлен на гадание, ей разрешалось заглянуть ему в глаза для гипноза, а потом посмотреть на его ладонь. Причем эти два взгляда в запретные области должны быть прицельно точными, но ни в коем случае не скользящими, а тем более — соединенными друг с другом. В те доли секунды, когда взгляд, переключаясь от глаз к ладони, проходит запрещенные области тела гаджио, туриха обязана была его отключить. Для исполнения этого пункта старшие турихи наблюдали за младшими и наставляли их. Слежка была поручена и уларкам, хотя они мало в этом смыслили. Далее. При гадании цыганкам было дано право помимо гипноза насылать на клиента женские флюиды. Но это делалось только в случаях крайней необходимости, и делалось таким образом: беря руку гаджио в свою, туриха по этому живому контакту посылала ему токи, чтобы он от волнения раскошелился еще больше. Но при этом строго запрещалось принимать обратное движение токов от клиента, чтобы исключить в работе Эмоциональное Включение, как сказал бы автор Матутиной книги. И это цыганкам легко удавалось при помощи цыганской порядочности, вложенной в них. Покойный барон разрешал также турихам в крайних случаях пользоваться своим внешним видом. Но это позволялось турихам только после замужества. Тут помимо согласия барона требовалось разрешение мужа. Если муж давал на это разрешение, это означало: он был убежден, что в работе жены исключено Эмоциональное Включение. Всеобщая взаимная слежка гарантировала точное соблюдение турихами инструкций барона, но конечным пунктом, по которому определялась чистота работы цыганок, был результат, выражающийся в сумме заработанных денег. Пятая часть заработанного уходила в цыганский общак.

Чертовски Симпатичная Цыганка в свои тринадцать лет не была замужем. Так что об использовании ею в работе своей внешности не могло быть и речи. Но она прекрасно обходилась без этого, отлично владея гипнозом и знанием смысла каждой линии подкожного рисунка руки, а самое главное — тончайшей интуицией. Послушная дочь отца, она вообще была готова скрывать на рабочем месте свою необыкновенную красоту, если ее необыкновенную красоту возможно было спрятать. Цыганочка плохо одевалась, причислялась нарочито небрежно, даже золотые фиксы себе не вставляла, а ходила при родных беленьких зубках. Она как могла старалась вогнать вовнутрь свою внешность, оставляя снаружи лишь ее остов.

Но вернемся к гангстеру Матуте и Смутной Тревоге в его душе. Потому что сколько бы мы ни отвлекались, она не исчезнет и не уменьшится. Рассеянно гангстер поравнялся с турихой. Совсем близко от этого места

уларки посверживали пачками сигарет. Если бы не Смутная Тревога, ему бы пойти чуть левее, в сторону комиссионки «Адонис», и Матута подошел бы непосредственно к уларкам, купил бы себе сигарет и вернулся к машине, а не поравнялся бы вслепую с Чертовски Симпатичной Цыганкой. Туриха тоже в свою очередь видела в нем лишь обобщенного клиента, отмечая про себя самое необходимое для работы: он мужчина, он совсем не органы, он платежеспособен и, возможно, щедр.

Гангстер поравнялся с ней и, неведомо для себя и для нее, успел передать ей часть Смутной Тревоги. Но Смутная Тревога тут же продемонстрировала свое известное свойство не убывать, а удваиваться от передачи другому лицу, подобно знанию.

— А погадай тебе, парены! — почему-то помедлив, воскликнула туриха. — Не отказывайся, а то заболеешь раком!

И тут же почувствовала странную дрожь в своем рабоче-тароватом голосе.

Наметанным глазом домовника Матута дал ей Оценку. Она, Оценка, появилась лишь на поверхности сознания и надо было ей еще нырнуть в Подсознание, чтобы случилось то, чего не случиться не могло. Пока же Оценка кинулась к входу в Подсознание и нашла свое место занятым Смутной Тревогой. Смутная Тревога не только переполняла своды Подсознания, но и, не вмещааясь в них, выливалась наружу. Матута же бессознательно протянул руку турихе, трепеща в фокусе ее взгляда.

Он протянул руку, все стараясь унять Смутную Тревогу, которая могла бы еще пригодиться, если бы он шел на дело, но ни к чему была сейчас, рядом с базаром, посреди бела дня, когда, как ему казалось, ничего не угрожало гангстеру. Он протянул руку не глядя, как просто цыганке без конкретности, и тут же Смутная Тревога вылетела из души и вспорхнула ему на ладонь. Но и от этого она не утихла, а усилилась, подобно тому, как не скудеет рука дающего. Его ладонь тыльной стороной опустилась в теплую, узкую, дрожащую от бега крови долину девичьей руки. И Матута почувствовал, как на дно его души капнула печаль, отчего неподвижно-напряженная заводь его Смутной Тревоги встрепенулась и разошлась кругами. Вслед за этим он ощутил нежное покалывание тысяч серебряных игл, словно он впрыснул в вены опиухи.

Но гангстер пытался держаться.

— Элла-мондо, косуля! — сказал он бодро, хотя перед ним, как в тумане, стояла не косуля, а самая что ни на есть туриха.

Пронзенный серебряными иглами Смутной Тревоги, давно мечтаая схватить ее, эту стерву, и вытащить на Поверхность Подсознания, гангстер флиртовал бессознательно. Сейчас он взглянул на цыганку затуманенным взором, щелкнул ее по носу и спросил:

— Хочешь, устрой в кооператив?

Она, кажется, даже не услышала его предложения.

— Дай мне руку, парены! — сказала она твердо, и гипноз так и брызнул из ее глаз.

— Не хочешь, или барон не разрешит? — сами сказали губы Матуты.

А Смутная Тревога, войдя в неведомую связь с гипнозом ее плутовских глаз, закипела и поднялась в нем, как молоко.

— Давай полтинку, парень, чтобы правда была, — добивала она его.

Полтинник был слишком большой взяткой даже при тогдашних ценах, но руки бывшего преступника сейчас слушались не его, а Цыганку. Получив хрустящий полтинник, она пошептала над ним, плюнула на бумажку и протянула ее гаджио. Он, конечно, отказался брать. Получив деньги, она со вздохом отправила их под кофточку, где у нее был пришит внутренний карманчик, потому что ее девичьи грудки пока не могли служить естественным кошелем.

Туриха окинула привычным взглядом кисть гангстерской руки со смешанно-лопатовидными пальцами. Отметила развитый большой палец — свидетельство большой воли, сильно выраженные запястья физической силы и запястья духовности, менее развитые запястья интеллекта, затем схватила общим взглядом его характерную ладонь, вдруг замерла, вздрогнула и едва успела подавить крик. Цыганка совершенно неожиданно для себя нарушила главную заповедь турих: она поддалась Эмоциональному Включению. Мощные токи, исходившие от гаджио, хлынули ей на ладонь и че-

рез руку растеклись по всему тельцу, не встретив ни ома сопротивления. Оба гипнотических конуса ее взгляда опустились долу, на мостовую, залитую пивной пеной. Последними усилиями воли ей удалось убрать румянец, мгновенно покрывший ее от корней волос до босых пят, но у нее кончились силы и румянец все-таки местами остался, напоминающая аллергические пятна. А потом в глазах ее потемнело, характерная ладонь гангстера исчезла, и она, лишившись чувств, стала падать на мостовую бакалейного ряда и скандально была поддержана за талию знаменитым гангстером Матутой.

— Совуло, совуло с нашей милой Дарико? — заволновались глупые уларки.

Сейчас объясню, что случилось, только вы не галдите и не привлекайте лишних глаз и ушей, уларки!

Резко вычерченная от Меркурия, делая неожиданный изгиб у Марсова холма и страстно захватывая кольцо Венеры, от линии печени к линии сердца уверенной бороздой тянулась багровая линия судьбы этого гаджио, и эта Линия Судьбы была сплошь исполосована неподвластными Воле хозяина разветвлениями Жизненных Дорог, полна опасностей, страстей и томлений в казенном доме. А поближе к Юпитеру, с сильно выраженным Честолюбием и Жаждой Славы, у чувственного и прозрачного Бугра Венеры гадалка, оглушенная собственным сердцебиением, увидела то, в чем уже не могло быть сомнения. Здесь явственно были: во-первых, треугольник, во-вторых, звезда, в-третьих, круг и, наконец, стрела, безнадежно направленная на линию жизни. Туриха заметила то, чего не замечала ни до, ни после нее ни одна туриха, туриха заметила роковое скрещение судьбы этого гаджио с ее, с ее, с ее собственной судьбой!..

Ей бы бежать, несчастной дочери отца, но она все стояла и стояла, читая на его ладони, что ей невозможно бежать, видя на ней себя, как раз гадающую посланнику Рока на самом скрещении своей и его Судеб. И у цыганки помутнело в глазах.

Раздраженный, что ему приходится идти за сигаретами вдоль базара, где еще эта замухрышка в обмороке падает ему на руки, гангстер Матута, придерживая цыганочку, злобно оглянулся, ища кому спихнуть груз. Но рукам его становилось все приятнее и приятнее удерживать тело, трепетной струей норовившее стекать с рук. А Смутную Тревогу ему так и не удалось вывести из карцера Подсознания, оформив в какую-нибудь путевую мысль.

— Очнись, дура! — возмутился он и дважды шлепнул ее по смуглому личику. Но много бы дали когда-то урки Магадана, чтобы Матута бил их так небожно.

— О, бара-дэвла! — прошептала цыганка, приходя в себя.

Уларки испуганно галдели. Поспешно вынув Дарико из лап гаджио, они осторожно усадили ее на подобие кресла, которое тут же смастерили из двух мешков. А гангстер сделал то, чего не сделал в свое время, иначе не чалился, может быть, всю молодость с юностью в придачу. Будучи вором старой школы, Матута неоднократно уходил от органов на машинах, но считал ниже своего достоинства чухать на своих двоих, за что и поплатился длинным сроком, когда забрался в дом полковника Коявы-старшего, чтобы унести клавиш. Сейчас же он поспешно удалялся от бакалейного ряда; хотя удалялся — еще слабо сказано. Можно сказать даже: постыдно удалялся. Можно сказать даже — убегал. Хотя при этом его сильное тело сопротивлялось побегу и старалось нести с достоинством, насколько это возможно, но эта нарочито-степенная поступь еще больше изобличала его побег, потому что походку подделать сложнее всего.

Туриха Дарико отрешенно откинулась на спинку импровизированного кресла рядом с недавно закрывшимся пивларьком, как бы давая возможность наконец описать себя. Ее ножки, закрытые юбками по щиколотку, опустились в тающую пивную пену, как у Афродиты, вышедшей из пены моря. А колени ее... И не знаешь, как подбирать слова, когда перед глазами маячат то свирепый Матута, то ее братья. Хоть описывай ниже подборка и выше пояса. Придется вам поверить мне на слово: все было при ней. На ее личике словно застыла мольба, обращенная к суровым братьям, — выдать, выдать ее скорее замуж, от греха подальше. А потом шли ее глаза и прочее.

Очнулась она, окруженная глазами, юбками и звоном металла уларок. И тут же почувствовала полтину, спрятанную под кофтой. Она не могла ее не вспомнить, потому что бумажка жгла ей кожу. Теперь, когда с ней случилось Эмоциональное Включение, деньги, полученные от виновника происшествия, были подобны плате за любовь. Рука цыганочки нырнула в межгрудье и, выловив полтинник среди прочих денег, извлекла его. С минуту ее рука рассеянно искала, куда бы деть деньги. Уларки услужливо предложили избавиться ее от лишнего груза. Но туриха не стала их беспокоить, а убрала полтинник в наружный карман юбок.

Утерев с лица брызги воды, при помощи которой ее приводили в чувство, цыганка сладостно зажмурилась. И вдруг запела песню.

...У машины Матута обернулся. И хотя взгляд Цыганки был рассеян, как это бывает у поющих турих, он встретился с ней глазами. Она находилась где-то в гуще соплеменниц, но взгляд его случайно нашел ее взгляд. В таких случаях ошибки быть не может.

В тот же миг от скрещения их взглядов брызнули искры, так что собственными глазами ни он, ни она ничего толком не увидели. Матута нахмурился и стал отворять дверь машины. А цыганка продолжала петь.

Оставляя внизу галдеж уларок, грязь и наглые запахи базара, песня поднималась все выше и выше в вечернее сухумское небо, откуда открывалась необычная картина: не только «Жигули» и «Москвичи», но и грузовые, и автобусы, и даже черные «Волги» с антеннами шарахались в стороны от обезумевшего «мерседеса», который вдруг выехал против течения. Бессознательно руля, он доехал до двора любовницы и остановился под ее окнами. Раньше он себе никогда этого не позволял. Обычно он звонил Мариэтте или подсылал мальчишку, а сам ждал в машине поодаль. Появление знакомого всем «мерседеса» вызвало во дворе переполох. Взрослые оставили свое домино, дети волейбол. Во всех четырех домах двора любопытные подбежали к окнам. Подтверждались слухи о том, что Мариэтта изменяла мужу с гангстером Матутой. Хотя Матута не подал никаких сигналов, Мариэтта почуяла его приход, прокралась в лоджию и выглянула в щель между шторами. Увидав возлюбленного, она сказала себе, что Матута совсем обалдел, порадовалась, что хоть мужа дома не было, но решила не открывать, чтобы вконец не засветиться. Однако до этого не дошло. Очевидно опомнившись, Матута тотчас уехал.

Ехал он медленно. Смутной Тревоги уже не было. Вместо Смутной Тревоги он ощущал могучее волнение души и тела. Такого рода волнение гангстер испытывал всего несколько раз в жизни. Первый случай Матута втайне считал своим единственным грехом: однажды в лагере в Коми АССР он потребовал гитару и спел, прожывая глазами клин улетающих журавлей. Второй раз он сильно разволновался, когда, вернувшись домой на волю, застал в родном городе и повсюду беспредел и беззаконие. Тогда Матута ворвался в Черноморье как чума. На первой же сходке он семь душ оставил не ворами. Раз и навсегда Матута сломал установившиеся в его отсутствие правила. А то воры здесь совершенно деградировали, сидя в доле у коммерсантов и проводя время в безделье и роскоши. И вот сейчас, как ни странно, эта замухрышка-чавела смогла вызвать в его душе бурю. Матуте вдруг стало жаль себя. Он вспомнил, что он бездомный. И решил поручить ребятам подыскать ему подходящий дом.

Но все это были лишь обрывки мыслей. Первая ясная мысль оформилась в его мозгу, когда он, уже выйдя из машины и открыв калитку, шагал по двору к большому, но обшарпанному дому в цыганской слободе Старого Поселка.

«Сastrуно Мануш путевый был, а сын его — чистый фуцан. Но тем не менее с ним и придется говорить», — такова была эта мысль.

Свирепый пес хозяина кинулся было на него, но тут же попятился назад, сдутый мощными флюидами Матуты. Поджав хвост, пес ушел за дом, где заскулил, чувствуя, что как раз именно с этим незванным гостем он должен был проявить характер.

Матута шагнул на крыльцо.

— Вообще иду я от вас к Дусеньке! — услышал он за дверью.

Вслед за этим появился цыган. Он хлопнул за собой дверью что было сил и быстро пошел, чуть не столкнувшись лбом с Матутой. Матута хмуро

остановился. Цыган смутился и обошел гангстера, прихрамывая на одну ногу.

Матута был сейчас в таком настроении, что ему дела не было ни до этого цыгана, ни до правосудия, которое свершилось в гостиной барона. И до мальчика, который был в зале, только что очистил лезвие финки от крови и положил за голенище сапожка. Барон СаSTRUНО-младший сидел в кресле у камина. Он только что свершил третейский суд. Если вкратце, то дело было такое. К нему с жалобой явились этот мальчик и отец, который как раз вышел, хлопнув дверью. Отец требовал от сына часть его дневной выручки, на что сын однажды ответил отказом. Тогда отец в гневе проколол сыну бедро серпом. Жалобщик-сын настаивал на своем, говоря, что ему уже восемь лет, женитьба не за горами, так что надо собирать деньги на самостоятельную жизнь, к тому же он и теперь помогает матери — скромной уларке, отец же женился на русской, на стерже Дусе из Маяка, пропадает у нее, пьет и ничего не делает. Барон постановил, что мальчик может получить удовлетворение, что тут же и было исполнено, — мальчик пырнул в бедро ножом непутевого батьку.

Увидев Матуту, барон издал радостное восклицание, встал и направился навстречу, успев цинкануть пацану, чтобы тот убирался. Цыганок положил свой подарок — серебряную медаль, выдаваемую отличникам по окончании средней школы — и вылетел из комнаты. Барон пошел с распростертыми объятиями, как всегда при встрече с гангстером, собираясь в последний момент сузить эти объятия до сердечного пожатия руки своими двумя руками. Но по дороге он оценил обстановку, тут же догадался, что гангстер к нему не с требованием, а с некоей просьбой, и потому, подойдя к нему, решительно обнял и прижал гостя к груди. Сухо, но терпеливо Матута позволил барону эту фамильярность.

Покончив с обычными расспросами про жительство-бытие и выслушав жалобы барона, что цыганы таперича как бы не цыганы вовсе, Матута уселся у камина и спросил:

— Где твоя сестра?

— Которая сестра? — насторожился барон.

«Чертовски Симпатичная Цыганочка, чей взгляд пьянит».

«Чертовски Симпатичная Туриха, виновница моей Смутной Тревоги».

«О, мне нужна дева, чьей косой возможно стреножить жеребца, чьи глаза темнее налитого винограда, чье тело матово, чьи плечи покаты, а шея как росток, чей стан гибок, а бедра упруги».

«О, спеши, я хочу взглянуть на деву, которой суждено иметь надо мною власть».

Нечто вроде этого заклокотало в Матуте, но вслух он произнес:

— А которая на базаре гадает.

— Дарико? — нахмурился барон.

На его лице, как мыльная пена, когда в бане вдруг кончается вода, все еще оставалось дружелюбное выражение. Он имел дело с Матутой и желал иметь дело и дальше как с паханом преступного мира, но когда речь заходила о семье, тем более о самой ценной сестре, тут же Матута превращался в глазах барона в презренного гаджо, одного из тех, от которых тысячи лет цыганство отгораживается, не желая с ними смешиваться, и избрело для этого самый лучший способ — жить таким образом, чтобы у самих гаджо не появлялось желания смешиваться с цыганами. Тем не менее он произнес с мягкостью, чтобы сразу не идти на конфликт:

— Она ребенок еще, Матута.

— Хорош! У тебя жены есть помладше!

— Оставим этот разговор, а?

— Будет лучше, если поговорим по-деловому, — предложил Матута с известным в городе спокойствием.

Он тоже не хотел идти на конфликт, но проявить жесткость надо было. С презрением гангстер проследил за рукой барона, нащупавшей оружие за поясом. Барон стал приподниматься.

— Короче, сядь! — приказал Матута голосом, от которого барон покорно сел, но руку продолжал держать за пазухой, что, впрочем, не оказывало на Матуту никакого воздействия.

Барон вздохнул. Матута заговорил спокойным и деловым тоном. Он делает дело, чтобы сухумская табачная фабрика закрылась на ремонт,

пока цыгане не реализуют свои запасы «Космоса» и «Примы». Это первое. В ближайшее время бывшие комсомольцы привезут партию «Мальборо» и он даст барону возможность взять оптом полмиллиона пачек лишь за три рубля сверху. Это второе. Третье: отныне в двух главных точках — на базаре и проспекте Мира, кроме главпочтамта — рэкет не станет беспокоить цыган. Четвертое: на этих объектах долю будет брать сам Матута, причем снизив налог до десяти процентов. И пятое: он сделает дело у верховного прокурора, за 100 тысяч, а также выпишет адвоката, который обойдется барону в 40 тысяч, чтобы брат барона, сидящий за убийство, пошел не по 104, а по 105 статье, где он получит только шесть лет, сидеть будет в Гегуте, где зону кнокает чернота, и выйдет на волю за два года.

И, наконец, шестое: пацанка нужна Матуте не как бика, а почти как жена, и она будет жить в доме Матуты и рожать ему детей.

Барон заволновался. Барон просто обалдел. У него глаза на лоб повывлезли от предложенного. От радости Саструно-младший чуть не нажал на курок пистолета за пазухой. Он встал и заходил по комнате.

— В натуре, Матута? — Барон поправил серьгу в ухе и застенчиво заглянул в глаза Матуте, тоном вопроса выражая свое безусловное согласие.

Он знал, что с Дарико на базаре случилось Эмоциональное Включение. Об этом ему успели доложить уларки, которые час назад шумно влетели к нему во двор, ведя отрешенно улыбающуюся Дарико. Но барон не подозревал, что причиной этому был всемогущий Матута. Он почесал за серьгой. Саструно-младший знал, что Дарико — необыкновенная чавела, и собирався продавать ее недешево, но предложенные Матутой условия превзошли все мыслимые для барона пределы. Он тут же прикинул выгоды, которые сулили покровительство Матуты и его конкретные предложения, и пожалел про себя, что деньги так стремительно портились.

— Но, Матута.. — пробормотал барон.

— Веди ее сюда! — приказал гангстер.

Барон решительно выхватил из-за пояса никелированный браунинг калибра 7.65.

— Матута, это я дарю тебе! — сказал он и протянул браунинг будущему сродственнику.

Матута принял оружие без эмоций, как ритуальный дар.

Барон хлопнул в ладоши. Жена его тут же зашла: она, безусловно, стояла за дверью. На яростно-мелодичном наречии цыган барон стал давать ей распоряжения. Матута, тогда еще не понимавший этого языка, только и разобрал «Дарико» и «юбка». Было ясно, что барон приказывает вести Дарико, нарядив в лучшие юбки табора. Звеня настоящими драгоценностями, жена послушно удалилась.

Цыганку привели. Она появилась в дверях, и рассеянный взгляд ее скользнул по Матуте. Десятки любопытных голов выглядывали из-за ее спины. Матута остолбенел. Она не узнала его! Лишь в первую секунду, но не узнала! Да и как она могла узнать гаджию, когда его в действительности не видела! Она видела его ладонь и глаза — и больше ничего, если не считать того, что при первой встрече на базаре окинула его обобщенным взглядом.

Но получилось так, что смущенная цыганочка и тут не уследила за своим взглядом. Глаза ее встретились с глазами гостя. И она узнала в Матуте того самого гаджию по искрам, посыпавшимся от скрещения их взглядов.

Барон что-то сказал сестре по-цыгански властным тоном. Потом, обратившись к Матуте, добавил демократично:

— Поговори с ней сам, — и удалился за ширму.

Дарико побежала к брату.

— Ступай к нему! — приказал барон из-за ширмы.

Цыганка вернулась и направилась к Матуте. Походка ее была угловатой от растерянности и смущения. А когда подошла к нему, она проделала то, на что сам Матута в эту минуту не дерзнул бы. Приподнявшись на цыпочках, она обняла ручонками его шею. И заглянула в глаза. Взгляд ее не излучал ни плутовства, ни гипнотического конуса. Казалось, он был от стыдливости повернут вовнутрь. И движения ее были какие-то неестественные, словно она старалась добросовестно повторить задание, как юная студийка.

Однако природа тут же вступила в силу. Хрупкая, дрожащая, она прильнула к нему. Матута замешкался. Обнять девчонку он мог, в этом не было проблем. Но дело было в том, что, сухой я буду, Матута никогда в жизни не целовался. Жиган суровых нравов, он считал, что это запаadlo. Никогда он этого не делал ни с одной из своих женщин. Даже в лагере, когда он шпидил петушков, воображая Любку Орлову из кино «Волга-Волга». он не воображал себя целующимся с ней. Еще недавно он катком бы пере-ехал любого, кто смел предположить, что Матута способен на это. Но так бы его и послушалась сейчас природа, властно завладевшая его волей. Подчиняясь ей, он позорно отворил свою пасть навстречу ее губам. Поцелуй оказался головокружительным, как утренний чефир с сахариним. А потом Дарику, не отрываясь от жениха, приникла головой к его груди, вместо желанного покоя найда внутри нее гудение сердца, точнее. души.

— О, бара-дэвла! — прошептала она еле слышно.

...Когда на улице, где Матута не помнил, как очутился, пес снова оскалится было на него, гангстер даже не успел шлепнуть его по морде флюидами. Весь табор, собранный во дворе барона слухом о сватовстве, накинулся на пса, громко кляня его за то, что рычит на родственника. Было решено, что детали обговорят назавтра, и Матута уехал домой. Точнее не домой, — дома у Матуты не было, — а на свою квартиру, где он жил с матерью. Отперев дверь ключом, Матута на цыпочках прокрался в лоджию, чтобы не разбудить маму. Единственное, чего ему хотелось после целого дня волнений, — Этого Самого. Конечно, стоило ему позвонить, как ему все принесли бы немедленно. Но телефон был в комнате, где спала мама. Матута уселся на кушетку, уставившись в полку книг напротив. Он отлично помнил, что как-то закладывал в книгу один пакет. Но попробуй найди нужную книгу. А книг у Матуты было много: и тех, что были собраны мамой, и тех, что он брал в книготорге на принцип.

От внезапного одиночества состояние у него было прескверное. Надо было непременно выловить нужную книгу из рядов на полке и найти пакет Этого Самого.

Почему-то Матута поднял ноги на кушетку и скрестил их под задницей. Потом он выправил осанку, вытянул руки, поставил их ладонями на колени и так и сел. Закрыв глаза и расслабился, как последний идиот. Дышал медленно и размеренно. Так он просидел очень долго, сосредоточась на чем-то бесформенном, бессодержательном и бессмысленном. И мгновенное озарение посетило его.

Он встал, уверенно подошел к нужной полке и вытащил искомую книгу. Пакет аккуратненько лежал между обложкой и титульным листом. Но в следующий миг его больше заинтересовала сама книга. Это была она. Он и не знал, что эта книга есть в его собственной библиотеке. Это была та книга, которую он штудировал на Магадане, не зная ее названия и автора. «З. ФРЕЙД. ТОТЕМ И ТАБУ», — прочитал он.

Восемь состояний составляли сущность Матуты: Порядочность, Справедливость, Решительность, Честь, Зловещее Обаяние, Обостренное Чутье, Радостное Предчувствие и Смутная Тревога — как восемь лучей Звезды Жигана.

Перевел с абхазского автор.

Марина Темкина

С ОКАЗИЕЙ...

На ферме

Глава VII

Коровы бредут, словно в начале письменности
знаки. Бараны гуртом подходят близко;
на их телах альбиносовой масти,
как после бритъя, царапины после стрижки;
посадка черномордых голов надменна;
по именам различаю: Авраам, Исаак, Иаков,
Исав, Иосиф и его братья, оправляться любят
именно там, где я загораю. Гоню пугливое племя.
Погружение в вязкую медоточивость.
Солнце дремлет, закатив ясновидящий зрак;
повсюду его присутствие: пушок, реснички.
Цикады замерли на одной ноте. Внутри,
как будто ты полый, гулко. Собственная рука,
как фрагмент утраченный богинь безруких,
лежит поодаль. Кружит и кружит ястреб,
словно напоминая: есть и не только то,
что видишь глазами. Хищность и вечность —
все станет их пищей. Сено в круглых бобинах,
как бы сказал знаток производственного искусства,
«переключается» с ракетобразной постройкой
силосной башни. Ее космический серебристый
купол сообщает о двадцать первом, считая
в обе стороны от Рождества Христова, веке;
включая будущее лоснящегося чернотелого
двухмесячного бычка с хмурым взглядом
из-под кустика светлых ресниц (назовем Антином),
с молоком на морде. Занимают также
ежедневные встречи с благодушным меховым
зверьком, живущим в норе под камнем;
как он называется, мне неизвестно, но сын
утверждает, что суслик; надо справиться
в словаре по возвращении в город.
И еще узнать, ласточка ли живет под крышей,
гнездо из соломы и глины, птица с телом,
раскладывающимся в полете, словно оно на пружине.
Между двумя близлежащими покатосями холмов
спит, свернувшись, облака белая кошка,
как на просиженном старом диване
в круглых подушках, которые приверженцами
домашних словечек прошлого века назывались
«думка». Чего здесь только не вспомнишь!
Даже то, что совершенно, кажется, не занимало:

Родилась в Ленинграде в 1948 году, окончила исторический факультет Ленинградского университета, была принята в молодежную секцию критиков и искусствоведов Союза художников. Эмигрировала в 1978 году. Печаталась в русскоязычных периодических изданиях США, Франции, Германии, Югославии...

Парижское издательство «Синтаксис» выпустило две книги стихотворений Марины Темкиной: «Части часть» — в 1985 году и «В обратном направлении» — в 1989. Живет в Нью-Йорке.

эти, например, подушки; не говоря уж, что их название «произнесь» здесь не страшно.

Глава VIII

Зверобой собираю и тысячелистник для сушки, мяту и ромашку дикую у обочин дорог, чтобы было средство на зиму от болячек. У края пологого поля растет малина. Отправляясь вглубь за красным комочком, под навесом куста обнажаешь зубец сердцевины, он цвета такого, каким бывает только живое. Руку отдергиваешь, смутясь осязаньем, темную от загара и от коричневой тени, еще молодую, не праздную — что хорошо, мою — вот что странно. Сходишь с горы с корзиной богинь плодородия (Флора, Коломбаина — бубенчик), с охапкой цветов полевых, для вхождения в образ стараясь держать осанку, и тут замечаешь с другой стороны малинника, в лощине, семейство сохатых: пять человек оленей. Внизу встречается кошка, вышла охотиться у дороги, и мне еще неизвестно, что в октябре увижу ее мертвой. И если я не зову сюда гостя, то не потому, что это развлечением было бы лишним; не потому, что, как в детстве, что ни попросишь, на все получаешь «нет»; но потому, что здесь ты как будто не связан ни с обстоятельством, ни с другим человеком. Если бы люди были ангелами, их бы и звали иначе. Ангел еще и тем привлекателен, что человек и на человека-то бывает похож редко. Это так, к слову, мысль гуманиста.

Роксбери, 1987.

* * *

Вот как станешь рассказывать о длине дня, о длине ночи, о продольном ветре, шатавшемся по канавам сточным, и о том, как ему поперек небо идет и идет по небу, полосой проходя в ноябрь, как прокат газетный.

Так к зиме подкопишь червонцев, подбивая выручку днями, продвигаясь к концу, к неизвестно чего началу, то ль войны опасаясь, то ль мира ждешь улучшения с погодой в беспокойстве животном о только своем ребенке.

Пошептать нет нужды: сама остановится кровь леденя в страхе обернуться и тень увидеть иль столб, иль стая
опять малолетним

и вернуться к профессиональным нищим, откуда весты словно в зал из нетопленного заносятся коридора. Существой, прохожий, для вывесок, уводящих строчки за угол из квартала в квартал, залетай, голубок, в перспективу, несъедобный товар двуногий, соломинка для спасенья и бульонный кубик в памяти, как в музее скульптуры. Как припомнишь на ощупь воцеленной бумаги рулон, оберточной, папиросной, отколуп протёртой клеёнки, латунную ступку, пружины дивана, где осанке конец, и шероховатый гранит в тепло или в холод, так увидишь Время, опершись стоит с базарной кошелкой.

(канун войны в Персидском заливе) 1990

Последнее

Памяти С. Довлатова

Нет других, у меня, кроме как у природы, желаний:
что живое, то смертно; скажи же спасибо сама,
что позволено видеть, что разума крупка живая
так же хочет, как ты, чтобы жить продолжали слова.

С нитяным волокном шелковичным, заправленным в кокон,
я согласна со всем, что растет, что сырье и смола,
и с пчелиной святою возней, наполняющей соты,
и с раскрытой землею, куда зарывают тела.

Нет ни слабых ни сильных, где действует Смерть или Эрос
и где речь подчиняется надобе каждого рта,
где первична материя вод и огня, чтоб согрелись
те, чьих дней за свои трудовые накоплена впрок череда.

Сочетание бьющихся, прочных — тех качеств не вечных
пересортицы лавок, пьянящих стеблей дурноты,
человек производное есть самого человека,
сводит клетки природа, остальное доделаешь ты.

Что-то очень неясное — в переводную картинку,
как бы не навредить отпечатком, куда там помочь!
Время — это другая страна... детство неизлечимо...
так о многом поймешь из стиха, что писаться начнет.

август — сентябрь 1990

Сараево

То ли ключ провернулся в амбарном замке, то ли лезвием узким
язычок отодвинулся вбок и задвижку откнул,
то ль по ложечке чайной, умелый провизор как будто,
свет потёк, то ли кровь, то ль муки распечатанный куль.

То ли крупка, сыпучка, пшеничка, вспахал да возделал,
лесом рук потянулся к съестному, костями удобрял,
узнавал свое время народ, кто в штатском, кто в форме военной,
кто по острой нехватке для умерших в ночь одеял.

Каша, хлеб, оловянных солдатиков шлют на раздачу,
то ли сахарный тает в колодце песочек ночной,
ждет прохожего снайпер, кто сонный выходит, случайный,
толокна порционную миску кто замертво первый начнет.

То ли молотобоец кувалдою по золотому, расплющил сеченье,
ткнулся корпус масленки конической, смыл часовой механизм,
то ль скоба, наконецник, паяльная лампа — есть звенья
цепи той же, что нитка с иголкой, мешок чтобы с телом зашить.

То ли бог-геометр, бог-кузнец, бог-литейщик, Бог просто,
хочешь верь в Иегову, хоть в Будду, в Аллаха, в Иисуса Христа,
то ли умо-нашло-помраченье, бог-пахарь, бог-разум, бог-логос,
убивают друг друга, и вся тут тебе красота.

1992. Нью-Йорк

Евгений Шкловский

СУТРА ПЯТОГО ПАТРИАРХА

РАССКАЗ

Однажды приснилось, что Учитель сидит, скрестив ноги, в черном своем кимоно, на берегу широкой, поблескивающей подобно расплавленному свинцу реки, из-за густого стелющегося над рекой тумана совсем не видно другого берега, — спокойное, отрешенное скуластое лицо, непроницаемый взгляд чуть раскосых карих глаз... Что он видел?

Свинцовая гладь реки, тяжелый всплеск

На самом деле никогда никакой реки не было, то есть, может, и была, но я ее никогда не видел, и Учителя на берегу в черном кимоно, которое он надел всего лишь один раз, зато было серое душное полуподвальное помещение, плотно занавешенные окна, выходящие во двор и расположенные как раз на уровне тротуара, бетонные серые стены с темными влажными пятнами кое-где и сухожилиями труб центрального отопления под потолком, цементный пол... Не исключено, что мы, занимаясь в этом душном сыром помещении, в этом замкнутом пространстве, призрачно освещенном люминесцентным возбужденным светом, что мы портили себе легкие и вообще здоровье. Но ничего лучшего мы бы все равно не нашли, так что приходилось довольствоваться этим помещением, не очень-то радующим, и иногда лишь большим усилием воли удавалось заставить себя идти вечером, в дождь и слякоть, на занятия, ступать босыми ногами по холодному цементу, покрываться потом от напряжения, от многочисленных упражнений, -- и все-таки никто не отсеялся, никто не ушел, несмотря на трудности. Учитель никого не держал насильно, но кто приходил, тот оставался. Чем жестче условия, тем лучше. Мы все должны были быть готовы...

Три сильных, два послабее, медленно отворяющаяся тяжелая стальная дверь, у которой всегда кто-нибудь дежурил, запах пота, сложенная на скамейке одежда, сумка, обувь, глухие звуки голосов

Никто не знал, где он

Достаточно было следовать его наставлениям и указаниям и все прочее незаметно отодвигалось, теряло значение. Пустота, Великая Пустота, а ты — как зеркало, отражающее — все — во — всем — великая — пустота — великое — единство. Невыразимое словами. Сознание — пустота, а ты спокоен и внутренне невозмутим. Спонтанность и точность движения. Из тебя рождается, но тебя как будто нет, ты прозрачен, как чисто вымытое стекло.

— пустота и покой —

Даже Павел не знал

Конечно, все держалось на Учителе. Трудно было сказать, какого он возраста, вероятно, где-то между тридцатью и сорока, хотя вовсе не исклю-

чено, что и старше, даже намного. Он говорил, что его школа — путь к бессмертию, так что неопределенность его собственного возраста тоже могла послужить свидетельством. И его скуластое, смуглое лицо с узким разрезом глаз, явно восточного типа, хотя и не очень ярко выраженное, тоже подтверждало. Мы верили, что только Восток способен постигнуть всю глубину и все таинство. И наставник Учителя был китаец, выходец из Китая, который потом туда снова вернулся, и самому Учителю, по его словам, было до него далеко. Нам-то, в таком случае, тем более. Каждый из нас мог прийти только до определенного предела (у каждого свой), но для большинства и этого было достаточно, пусть немногого.

Бессмертие? Мы все просто хотели выжить

Та осень была почему-то особенно темной (фонари горели тускло, через один-два, разбитые или испортившиеся, или лампочек не хватало). Что-то витало, растворено было в воздухе, ощущение опасности — за каждым углом, каждым деревом, за дверью подъезда, в любой арке и подворотне, особенно — в идущем навстречу или позади человеке. Действительно витало: люди неожиданно взрывались, почти без всякого повода, начинали тыкать друг друга кулаками или сразу вцеплялись друг другу в горло, двое-трое на одного, часто прямо днем, совершенно открыто, на улице, в автобусе или в метро. Иногда и волосино просверкивало лезвие. Похоже на эпидемию, на общий психоз. Как взведенная пружина — вот-вот сорвется, в любую секунду.

Все всем мешали и друг друга ненавидели

А может, другая осень, тоже темная и дождливая, на мне уже черная кожаная куртка, купленная в комиссионке, порядочно потертая, но привычная как собственная кожа, любимая, черная

Черный металлический блеск

Куртка была куплена после того раза, единственного, когда Учитель появился на занятии в черном кимоно, а не в обычном синем спортивном костюме. Как всегда, спустившись в наш подвал, искал его привычно глазами... и вдруг увидел. Что-то новое, неведомое возникло, в нем, в Учителе, в его широкоскулости, вкрадчивости и всякий раз неожиданной, мощной стремительности. Ускользание. В черном цвете его кимоно, плотной, слегка полинявшей от стирки, прочной материи, — исчезание. Никогда черный цвет меня не привлекал, никогда не нравился — мрачностью и даже траурностью, а тут вдруг почти родное. Он как бы скрывал, прятал, даже при достаточно ярком освещении. Он был — как пещера, образовавшаяся в пространстве, как узкая щель, куда ты проскользываешь. Словно сумрак тебя окутывает, скрадывает контуры, превращает в тень. Вроде есть ты — и тебя нет.

Черный цветок на сером цементе

Всех нас тянуло к нему, глаза непроизвольно начинали рыскать по залу, по нашим катакомбам, куда мы пробирались темными тихими переулками, скользя вдоль стен домов, пустынными дворами, — он же все равно умел — замечательное свойство! — затеряться даже в этом небольшом тесном пространстве. То стоял где-нибудь в углу, что-то растолковывая любознательному ученику, то в окружении наиболее продвинутых давал дополнительный ключ к какому-то приему, то, встав на колени, делал кому-нибудь, расprostертому прямо на цементном полу, специальный массаж... Почему-то все время хотелось его видеть, хоть краешком глаза. Он как бы стягивал к себе пространство, но при этом умел остаться незаметным. Мы то и дело теряли его из виду. Это была способность, не просто художавость и невысокий рост. Он-то, помимо всего, нас видел, даже если смотрел вроде бы в другую сторону. Вдруг взблеснет откуда-нибудь и как будто толчок, протянулось между тобой и им, — видит, точно! Именно тебя.

Большая тень, в которую бы мы все превратились, оденясь как один в черные кимоно

Где он был теперь

Были среди нас и такие

«Учитель, что такое — пустота?»

Павел просто бредил овладеть всеми тонкостями, прорваться сквозь невидимую преграду внутри себя, ту самую, разделявшую Запад и Восток. Прыгал он, как кошка. А как пытливо следил он за каждым движением Учителя, ловил всякое слово, даже случайно оброненное, иногда отбегая в сторону, туда, где оставлял на скамейке блокнот и ручку, и что-то быстро записывал. Надо отдать ему должное — вкалывал он до седьмого пота, отрабатывая каждый блок, каждый удар. И вспыхивал, как девушка, удостоившись одобрительного взгляда Учителя. Павел действительно хотел, жадно, нетерпеливо, впитывая, вбирая в себя все, что давал Учитель, — так земля после долгой засухи впитывает дождевую влагу.

Черный цветок на берегу черной реки

Павел тоже не знал

Искать его было бесполезно, никому не было известно точно, где он живет, да и не было у него, скорей всего, постоянного места жительства. Мы с Павлом несколько раз провожали его до электрички после занятий, и всякий раз это был другой вокзал, двери с шипением захлопывались, и он стбывал, помахав нам из окна рукой, — человек, которого мы избрали в поводыри. Он был нам нужен. Но связь с ним обычно была односторонняя, он сам звонил кому-нибудь из учеников, если нужно было сообщить о переносе или отмене занятия. Случалось, что он оставался ночевать в городе, у друзей или у кого-нибудь из учеников, но крайне редко, хотя каждый из нас почел бы за счастье заполучить его к себе и весь вечер, если не всю ночь, проговорить о философии и методах их школы, о ее особом пути, по которому Учитель нас всех вел.

Путь, который

Махнув рукой, исчезал в сумрачном нутре вагона

Однажды он ночевал у меня, после очередного занятия. Он спросил: «У кого можно?» Можно было сразу у нескольких, но Учитель почему-то выбрал меня. Мы сидели допоздна на кухне, пили чай, заваренный им по особому рецепту, на травах, привезенных им с Дальнего Востока (все самое необходимое он таскал в зеленом рюкзаке), я задавал вопросы, которых у меня накопилось очень много, он отвечал. В тот раз я и услышал впервые про Сутру Пятого Патриарха — древний трактат, который наставник Учителя, китаец, вручил ему, чтобы он сохранил, сберег, продолжил его дело, тоже создал школу и передал ученикам полученные знания. О Сутре знали еще несколько человек, и теперь вот я, что было знаком большого, очень большого доверия, хотя сам я себя не считал таким уж прилежным учеником (в отличие от Павла), у меня были разного рода сомнения, в том числе и относительно собственных возможностей. Тем не менее он мне доверил, мне и Павлу, и еще кое-кому, но не всем. Мы же, как он считал, должны были знать о существовании тайной древней доктрины — камня, на котором стояла школа. Техника техникой, сила силой, но главное было в методе, в философии, в психотренинге. Главное — путь!

«Учитель, что такое — путь?»

Мы все время жили в атмосфере опасности, непонятно откуда

Учеников он сам отбирал, по каким-то своим критериям, встречаясь с желающими на нейтральной территории, предлагая им своего рода тест, тогда

как они могли даже не знать, что именно он — Учитель. И никто не должен был о нас знать, никто! На всякий случай мы были просто секцией бокса, если что, и про Учителя тоже никто не должен был знать. Мы должны были идти своим путем. Мы должны были пробиться. Каждый из нас должен был измениться...

Путь воина

Учитель рассказывал, что настоящий мастер, владеющий искусством школы, ее методом, способен в самый критический момент исчезнуть, буквально раствориться в воздухе, а когда надо — снова появиться. Это не трюк и не гипноз, говорил Учитель, а высшее мастерство, искусство избранных, умение преодолеть материальные связи, как бы развоплотиться, что, правда, требует колоссальных энергетических затрат, сильно сокращающих жизнь. Нам это, впрочем, не грозило, — такой уровень. Только монахи и аскеты, скрывавшиеся в горах, в отшельничестве, годы посвящавшие упражнениям, только они постигли. Но находясь на свету, нельзя ничего увидеть в темноте. Пребывая же в темноте, увидишь все, что находится на свету.

«Учитель, что есть — покой?»

другой берег

Сознание нас опутывало, наше «я», оно нам мешало, через него проникали в каждого беспокойство, страх, сотни разных страхов и призраков, тысячи вещей, тысячи забот... Нужно было уснуть или, наоборот, проснуться. Во сне, в зеркале, в воде пребывает мир. Чтобы убрать вещи, которые отражаются в зеркале, нужно не смотреться в него. Чтобы убрать вещи, которые наполняют мир, нужно опорожнить сосуд, вмещающий их. Все, что есть и чего нет там, находится здесь, а не там.

сила и неуязвимость, остальное — молчание

Только освобождение, вода и огонь, земля и дерево, металл и

Нам еще было далеко. Вдох короткий и легкий, выдох мощный и долгий, напоминающий одновременно рев тигра и шипение змеи; крик, надрывный и пронзительный, похожий на крик неведомой дикой птицы; удар — блок — удар, — мы уже кое-что умели, совсем немного, но вполне достаточно, чтобы постоять за себя. Обрушившаяся дождями и тьмой осень уже не была так тягостна, как прежде, она не была черней, чем моя кожанка, небольшой лоскут всемирной тьмы, укрывший беззащитную плоть. Тьма, как и пустота, была теперь не угрозой, но, наоборот, убежищем, черное сливалось с черным, равновесие восстанавливалось.

Покой и безмятежность

Однажды он изобразил взгляд сумасшедшего, яростный, безумный, страшный взгляд в никуда человека, который готов на все и от которого можно ждать чего угодно. Расширившиеся черные зрачки, как темный туннель, как черная дыра колодца, что-то невыразимое, доисторическое, тотальная, засасывающая и одновременно извергающаяся пустота, лава пустоты, сквозь которую рвалось еще что-то, грозное и парализующее, как если бы заглянуть во внезапно разверзшуюся прямо под ногами бездну, в кратер живого вулкана... Взгляд, от которого содрогалось и цепенело внутри. Как и крик, он мог привести в замешательство, в полубморочное состояние, обратить в бегство...

Черная вода самозабвения

Каждый из нас должен был достичь внутреннего покоя и двигаться, как двигается лунатик, сознание которого отключено и как бы спит, зато

бодрствует ночное сознание, интуиция, способная провести там, куда в другом состоянии даже побоишься ступить. Необходимо было усыпить сознание и пробудить интуицию, усыпить свое «я», которое только мешало и закрепощало. В пустой чаше собирается ветер.

По ту сторону

желтые листья, плывущие к водостоку

Долго мне было трудно представить, как можно ударить другого человека в лицо. Не вообще, этого-то я достаточно посмотрелся и в кино, и вокруг. а как если бы я сам... Не из-за страха, нет, но потому что — ли ц о... Глаза, нос, губы... Глаза особенно. Вдруг вонзается кулак или пальцы, продавливая кожу, мышцы и кости. Алмазный палец или стальной кулак, лохань цюань. Но даже не столько это, сколько — унижение. Слово рушилось нечто очень важное, очень дорогое. Я долго не мог избавиться от этого ощущения, даже на тренировке. Учитель говорил: все, что происходит, — помимо тебя, вне тебя. Не думать. Не сомневаться.

Привыкнуть к боли. Боли не нужно бояться, говорил Учитель, ощутив боль — иначе реагируешь, иначе защищаешься. Ни боли, ни крови не следует бояться, а то некоторые падают в обморок при виде своей или чужой крови. В познании болезни — путь к выздоровлению, в познании боли — путь к неуязвимости.

«Учитель, что значит выйти за пределы?»

молчание ночной улицы

Из того, что Павла так потрясло исчезновение Учителя, можно было сделать вывод, что он, несмотря на все свое упорство и старание, еще не постиг... Павел метался и призывал срочно броситься на поиски. Он даже не допускал мысли, что исчезновение Учителя могло быть экзаменом для нас, вопросом, на который каждый из учеников должен был ответить.

можно ли привыкнуть к боли?

Я вижу: пустой зал, серые бетонные стены с темными сырими пятнами, похожими на кровоподтеки, холодный цементный пол, наш подвал, наши замечательные ненадежные катакомбы, где проведено столько часов и куда мы спускались с почти благоговейным чувством, радостно улавливая запах пропитавшейся потом одежды и гулкие голоса... Мир терял нас, но мы находили мир. Колдовское ощущение покоя и небытия. Сутра Пятого Патриарха, которой никто из нас никогда не видел. Мудрость. Основопологающий закон. Никто из нас все равно бы не смог прочитать. Только теперь, после исчезновения Учителя, я почувствовал, что пройден очень важный этап, может быть, самый важный. Слово своим исчезновением он ускорил то, что должно было раньше или позже произойти. Угрозы не было.

меня не было

И все-таки Павел был отличным, настоящим учеником. Гораздо более подготовленным, чем я, с хорошей техникой, но то... то ему не давалось. Видимо, он сам чувствовал, он еще не мог один, без Учителя. Как и многие, кто обретал именно в нем, в Учителе. Он расковывал. Он вел нас к нему, к освобождению.

«Учитель, почему пустота — тоже боль?»

Мы все менялись, кто в большей, кто в меньшей степени. Со всеми происходило, особенно в последнее время, как раз накануне исчезновения Учителя. Вроде бы вполне заурядные уличные истории, всякие неприятные случаи, но, кто знает, не исключено, что и в них тоже причина. Ими

делились полупрошепотом, чтобы не услышал Учитель. Кого-то, слишком горячего, малость охладили; кого-то пришлось поучить, чтобы запомнил надолго, и даже ездили вчетвером или впятером на другой конец города — с кем-то там разбираться, большой скандал, самый настоящий, как и после разборки с кавказцами с Центрального рынка, которые то ли нахамили, то ли заломили слишком большую цену за помидоры... Конечно, Учителя это абсолютно не касалось, он был совершенно ни при чем, но одно к одному сходилось. Мы уже были готовы.

никто не знал

тихий ленивый всплеск черной воды, уходящий вглубь

Разные тревожные мысли будоражат меня после его исчезновения. Может, он просто разочаровался в нас как в учениках? Или, напротив, решил, что дальше мы уже сможем двигаться сами, что уже достаточно, и тот, кто постиг, кто ступил на путь, тот уже не свернет?

вкус пустоты

Мемуары. Архивы. Свидетельства

Варлам Шаламов

ВОСПОМИНАНИЯ

Публикуемые нами незавершенные воспоминания В. Шаламова, над которыми он работал в 70-е годы, охватывают события его жизни с середины 20-х до середины 50-х годов.

Отдельные наброски с пометкой автора «ММ» («Москва») — это все, что осталось от нереализованного замысла рассказать о Москве двадцатых—тридцатых годов. Ранее Шаламовым были написаны «Двадцатые годы», литературные заметки студента МГУ. Большая же вещь так и не была написана.

«Воспоминания» о Колыме — из последних произведений Шаламова. Еще только несколько рассказов создал он позже, большей частью тоже не завершенных.

Предисловие к «Воспоминаниям» о Колыме было перепечатано на машинке — автор считал этот текст отработанным. Остальное сохранилось в черновиках, написанных неразборчивой скорописью.

Публикуемые страницы воспоминаний расположены публикатором в хронологической последовательности событий.

Подлинники рукописей хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 48, 51, 77, 80, 82, 84, 85, 87, 89.

(Москва 20-х—30-х годов)

С седьмого ноября 1924 года я увидел впервые Троцкого на военном параде к 7-летию Октября. Низкорослый, широколобый Троцкий стоял в красноармейской форме, в самом углу, невысоко, блестел только что отлакированный деревянный мавзолей. Я прошел в одной из колонн, пристроившись прямо на тротуаре где-то на Тверской, близ Иверской. Иверская действовала всюду, восковые свечи горели, старухи в черном, мужчины в монашеских одеждах отбивали бесконечные поклоны.

Рядом дышала обжорка Охотного ряда. Тысячи тонн живого мяса, птицы были вывалены прямо на бульжный проспект Охотного. Над магазином «Пух-перо» вздымались белые тучи.

Всего года через два я буду жить тут в Большом Черкасском, рядом с этой самой обжоркой, которая, впрочем, скоро закроется навеки, и выстроят гостиницу «Москва».

Рядом с Троцким стояли какие-то военные, дальше кожаная куртка Бухарина, Преображенский, Ярославский, Каменев, еще чьи-то знакомые мне по портретам лица. Парад длился недолго.

Вскоре Троцкий был снят, стал работать в концессома, а должность наркомвоенмора принял Фрунзе.

Тот же час родилась частушка, частушка фольклорного типа, та самая, которая извечно сопутствует историческим событиям и переменам, велики или малы они — все равно.

Разве можно горелкою Бунзена
Заменить стовечный Вольфрам.
Вместо Троцкого ставят Фрунзе,
Это просто срам.

Это [вероятно] первая частушка литературного творчества оппозиции — весьма, как известно, обильного.

Фрунзе проработал недолго. В 1925 году он умер на операционном столе от наркоза. Не хотел операции, противился ей, согласился после больших уговоров. Все обстоятельства операции Фрунзе рассказаны Пильняком в «Повести непогашенной луны». За хранение повести в 30-ые годы расстреливали.

Неправда, что эмиграция, контрреволюция ждала перемен со смертью Ленина. Ленин ведь не работал давно — весь 23-й и половину 22-го года. Целый год он не владел языком, в Горки последний год ездили только его ближайшие друзья. Кто ездил к Ленину в Горки в этот последний год его жизни — об этом рассказала Крупская в одном из интервью. Это Воронский, Крестинский и Преображенский. Преображенского Ленин встретил случайно, сочла нужным подчеркнуть Крупская. Но и Воронский, и Крестинский ездили в Горки именно как личные друзья.

Конец 24-го года буквально кипел, дышал воздухом каких-то великих предчувствий, и все поняли, что нэп никого не смутит и не остановит.

Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год. Каждый считал своим долгом выступить еще раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось столетиями в ссылках и на каторге.

Курукин

В теоретическом вихре тех лет клубилась пыль самых различных теорий, каждая испытывалась на прочность, вековые догмы подвергались живой проверке.

Все фурьеристы, все ламаркисты учили о благодетельном, не только оздоравливающем, но переделывающем душу человека влиянии среды. Это принципиальное положение из догм приводило к высшей степени парадокса — «рабочему станку».

Тогдашняя теория относилась к таким переделкам души и сердца самым серьезным образом, и к документу о рабочем стаже нигде не относились с недоверием. Кандидат, сочувствующий — это все вполне реальные, а главное, вполне официальные, признаваемые властью категории.

Вернуть к станку! Послать в цех! — такие решения принимались даже в Коминтерне, ибо дышать воздухом завода считалось немалым делом. На нашем сплоченном кандидатском заводе работал ряд сыновей домовладельцев, нэпманов именно ради документа, ради спасительной справки. Я же работал там не только из-за справки, а именно желая ощутить то драгоценное, новое, в которое так верили и звали. Я пришел туда не как сейсмограф, не для мимикрии, а искренне желая почувствовать этот ветер, обвевающий тело и меняющий душу. К 26-му году я понял, что вязну в мелочах, в пустяках, что у меня другая, в сущности, дорога.

Для того, чтобы получить этот стаж, вдохнуть этот рабочий воздух, я и поступил в 1924 г. на кожевенный завод в Кунцеве — дубильщиком. Но это был не тот «Москож № 6», как назывался тогда троюкуровский, стоящий поныне, а маленький завод Озерского комитета крестьянской взаимопомощи. Это было предприятие нэпмана Кочеткова, который сам был оставлен в роли техрука на своем же заводе на ставке.

Народу было человек 30 всего рабочих и служащих, даже при той малой механизации все шло вручную, завод был карлик. Но документ он давал, как любая кузница пролетарских кадров. Оглядываясь сейчас назад и вспоминая работяг этого завода, я вижу, что все это были или бывшие нэпманы, или кустари, или дети кустарей. Только несколько человек, по два-три в каждом цехе, составляли рабочий костяк и ничего от будущего хорошего не ждали. Само управление заводом помещалось в Кимрах, завод делал подошвы, а больше ничего. Подошвы и приводные ремни. Если кимрский хозяин-крестьянин сам переделывал себя, органи-

зовывал общество, производственную артель, то переделывал с помощью таких бывших частных, какие были на нашем заводе. На заводе было много грубости, споров. Эти споры обострялись от хронического безделья — не было сырья, бойня не давала продукции такому крошечному, да еще подозрительному социально заводу. Бойню нужно было пробивать взятками, что и делали весьма энергично.

По колдоговору, утвержденному в Москве, рабочему было запрещено заниматься какой-либо другой работой, сиди и кури, даже двор подмести нельзя.

Зарботки у меня там были небольшие, но весьма твердые по тем золоточервонным временам.

До завода я работал в том же Кунцеве ликвидатором неграмотности, учил взрослых, санитарок в больнице два раза в неделю, за восемь рублей в месяц.

Декрет о ликвидации неграмотности к 10-летию Октября, к 1927 году, — самый самодельный декрет советской власти. Еще в 1971 году в сберкассе существует целая полка карточек — сберегательных книжек неграмотных. Перепись просто обходит этот вопрос. С неграмотностью действительно боролись, самодельно и добровольно, и платные учителя, как я, но результатов это не могло дать за десять лет и не только потому, что Новгородская губерния или Чердынский уезд — не Москва, а из-за гораздо более коварного обстоятельства, так называемых рецидивов неграмотности.

Случилось так, что автором проекта декрета о ликвидации неграмотности был мой будущий тесть по первой жене Игнатий Корнильевич Гудзь — сотрудник Крупской по Наркомпросу. В 30-е годы мы более хладнокровно оценивали успех этого декрета, не то что декрет имел лозунговый характер, и в этом случае фантастический срок был вполне оправдан, а просто и этот декрет — след той же романтической догматики, которая владела всеми умами.

«Завтра — мировая революция» — в этом были убеждены все. На фоне этого срок десятилетнего плана борьбы с неграмотностью вовсе не казался преувеличением. Во всяком случае, я работал по ликвидации неграмотности со всем энтузиазмом и верой.

Я проработал на этом заводе до зимы 1926 года. Даже во время безработицы нам не разрешали уезжать в Москву — мы должны были высидеть часы на месте. Оплата таких простоев была полностью. Восьмирублевая ставка ликвидатора неграмотности сменилась ставкой чернорабочего на заводе — 21 рубль в месяц. Когда я перешел в цех, то как дубильщик получал 45 рублей, а попозже как отделочник и 63 — по девятому разряду тарифной сетки. Никакой сдельщины не было тогда. Работали строго восемь часов. 45 рублей зарплаты дубильщика дали мне возможность посылать домой и покупать одежду, и платить за стол. Я питался в артели, старой рабочей артели. Наш один дубильщик [Мартынов] держал эту харчевню.

Стоило это питание три рубля в месяц — обед и ужин, оба блюда мясные, или завтрак и обед. Печенка, требуха или самая дешевая говядина, картошка и черный хлеб, нарезанный горькой. Ели классической русской артелью — по четыре человека на выдолбленный окоренок — деревянный тазик с подсеченным, подпленным дном. Ложки у всех свои. Окоренок наливали полный, дымящийся паром-наваром, все это наливала хозяйка, стоя тут же, из бака черпаком. Каждый черпал ложкой и хлебал жидкое — мясо было на дне, а картошка горячая ждала, укрытая в стороне, чтоб [нрзб] превратиться во второе блюдо.

Ритм хлеба регулировался старостой, старшим из этих четырех человек. В нашей четверке таким был Емельянов — старый кожевник, седой отделочник. В нужный момент он восстанавливал ритмичность, то есть справедливость. Емельянов кидал команду: не части! — отталкивал молодые рты, не привыкшие к дисциплине желудка. Потом стучал деревянной ложкой о деревянный таз, окоренок, и командовал: «Со всем!». Это значило: таскай с мясом — выгребай всю требуху, печенку и сердце с деревянного дна. Темп еды чуть-чуть убыстрялся. Затем окоренок убирали, и на стол вываливалась горячая картошка с растительным маслом. Вот и все меню нашего артельного стола. Но и то при такой простоте жалоб

были миллионы — то не ту купили требуху, то картошка сыровата. После был чай, но чай-кипяток уже прямо от предприятия, казенный, входящий в колдоговор. Сторож Курукин втаскивал бак с кипятком.

Сторож Иван Петрович Курукин был тоже искатель социального равенства, как и весь этот завод. Курукин был москвич природный, у него была большая семья, пять человек детей, мал мала меньше. Завод давал сторожу квартиру, и это держало Курукина на грошовой ставке на нашем заводе.

Человек он был энергичный, живой, поворотливый, очень толковый, и я удивлялся, зачем Ивану Петровичу эта работа, — он сам мог быть директором завода. Разумеется, я ни о чем не спрашивал Курукина.

Посуду у нас мыли по очереди, и когда настал мой день, я с полотенцем в руках принялся перетирать стаканы. Курукин смотрел с порога на мои движения с полным презрением к моей неумелости.

— Дай-ка сюда.

Курукин вырвал у меня из рук и стакан и полотенце.

— Смотри.

Курукин повернул раза два полотенцем внутри стакана, и стакан засиял, как хрусталь. Я без особого, впрочем, смущения похвалил Ивана Петровича за хватку.

— Всякое дело требует знания, приспособления, — сказал Курукин. — Бревно распилить, не умея, нельзя, замучаешь себя и партнера. А насчет стакана скажу тебе -- я 20 лет стаканы в шантане мыл, отсюда и хватка.

Вскоре он переехал от нас, нашел какую-то квартиру в Москве. Я узнал, что Курукин профессиональный официант, человек из ресторана, скопивший деньги на свое дело и погибший в волнах нэпа, пытаюсь это собственное дело открыть. Было это в 1924 году, а в 1934 я со своей молодой женой залетел в ночной «поплавок» у Москворецкого моста. Пока мы с женой оглядывались, выбирая столик поближе к воде, к нам подошел какой-то человек в белом — вот садитесь ко мне, за те столики, и мы сели, а человек в белом подошел принимать заказ.

— Иван Петрович!

— Шаламов!

Это был наш сторож с Кунцевского завода Иван Петрович Курукин. Мы обнялись, поцеловались.

— Я угощаю!

— Я.

Мне пришлось заплатить за этот заказ, а Курукин рассказал свою жизнь, что заработки все меньше и меньше, что за одну должность официанта он заплатил, кому надо, целую тысячу рублей, что не было удачи, большого заработка ни в один, пожалуй, год с тех времен. Скопить тоже много не пришлось — семья большая. Мы пожелали друг другу удачи, и уже в сером московском рассвете я расстался с Иваном Петровичем навсегда.

Курсы подготовки в вуз

Тетка, у которой я жил в Кунцеве, не вошла в мою жизнь ни единым словом совета, желания, требования. Мне просто было дано место в ее двухкомнатной казенной квартире при больнице, где тетка работала много лет. Тетка — воложанка, уехавшая на бестужевские курсы. Но курсы эти не устроились, и она получила сестринское медицинское образование. У нее были и какие-то прогрессивные знакомства. Но к 24-му году всех ее друзей войны и революция разметали по всему свету, и тетка одиноко держалась если не за прогрессивные принципы и взгляды, то за опытность, квалификацию медицинской сестры, которой, впрочем, все осточертело — и медицина, и жизнь.

Молодежь у нее собиралась, но обычного гитарного рода, не более. На какой-либо совет тетка не отваживалась. Все мои решения, мой план жизни был выработан мною самим без единого советчика во время движения поезда Кунцево — Москва. Я понимал, что опаздываю, что завод не дает мне ничего, кроме физиче-

ской усталости, что пропуск, разрыв между образованием становится все больше, все меньше надежд на исправление.

Надо было еще помнить, что само по себе среднее образование, полученное в Вологде, да еще во время гражданской войны, дальтон-плана¹ и посылка АРА — не настоящее образование.

Я с трепетом как-то заглянул в алгебру Киселева. Бином Ньютона, теория множеств вызвали у меня холодный пот на спине. Тем не менее идти назад было поздно, решение принято. Мне надо было бросить завод, изменить жизнь резко, добраться до книг — старых моих друзей.

В январе 1926 года я бросил завод, получил на руки около 200 рублей и перешел в Москву к старшей сестре, где и прописался на Садовой-Кудринской. Нужна была только крыша, но именно московская крыша. Тогда не было паспортов, и профсоюзный билет был документом, заменяющим все другие удостоверения личности. По профсоюзному билету меня и прописывали. Но у сестры можно было спать, но ведь не сидеть до утра, тем более что она жила с мужем неладно.

В библиотеку я записался в Ленинскую — Румянцевскую, кроме того гораздо удобнее оказалась читальня МОСПС в ДOME Союзов. Вот в этой библиотеке, в ее читальном зале, я и провел весь 26-й год, день в день. Модестов — известный русский статистик — заведовал тогда этой читальней. Там был и домашний абонемент. Видя такое мое прилежание, он дал разрешение давать мне книги домой из спецфонда. Это был не то что спецфонд, а просто полки, где ставили книги, снятые с выдачи по циркулярам Наркомпроса: по черным спискам (как в Ватикане)...

Там, с этих полок, я и прочел «Новый мир» с «Повестью непогашенной луны» Пильняка, «Белую гвардию» Булгакова в журнале «Россия», «Ленин» Маяковского — поэма «Ленин» стояла на этих ссыльных полках года три.

В этой же библиотеке, уже после моего первого срока, в 30-е годы я был консультантом по художественной литературе — по прозе и могу вас заверить, что самотечный поток никогда и нигде не ослабевал.

При первой самопроверке выяснилась страшная, даже катастрофическая вещь. Выяснилось, что я вовсе не знаю школьных программ. И если по гуманитарным наукам кое-что хоть складывалось в какие-то очертания, то в математике и физике даже и очертаний не было, были просто провалы, черные пустоты, называемые также белыми пятнами. Прыжок, который я собирался сделать, не имел твердого основания для разбега. Это меня напугало. Трехлетний перерыв в образовании грозил уничтожить все надежды, все планы.

Притом я убедился, что никакого рабочего духа в мою психологию не попало после этих лет, абсолютно не нужных, на кожевнном заводе. То ли именно мне не нужна была такая школа, то ли сам полкустарный заводик не обеспечивал духовных кондиций, необходимых для переделки человека, — не знаю. Я чувствовал только потерянное время, угрожающее изломать навек мою жизнь, уже вошедшую в чтение, в лекциях в духовную жизнь страны и столетия. Интересы, понимание, хоть и детское, явились у меня в те дни в читальном зале МОСПС. Этого было вовсе не достаточно, чтобы поступить в вуз, это было вовсе не среднее образование. Средняя школа в ее гуманитарной части научила меня задавать жизни вопросы. Но математическая часть, физическая содержит не вопросы, а ответы, точные ответы, которые надо знать наизусть, ни с чем не сравнивая, ничем не заменяя. Зубрежка могла спасти только в медицине. Я вырос без зубрежки, вопреки зубрежке, в борьбе с зубрежкой и впервые ощутил, как слаб, шаток, ничтожен тот фундамент, на котором я стою.

Тогда, в читальне МОСПС, оказалось, что у меня нет этого фундамента. План действий был быстро составлен. Необходимо было как-то не повторить, а выучить школьную программу в рекордно короткий срок. Выходом явились кур-

¹ Дальтон-план — бригадная система организации учебного процесса, разработанная Е. Паркгерот в г. Дальтоне (США). (Здесь и далее — примечания публикатора.)

сы подготовки в вуз, открытые тогда повсеместно. Для меня эти курсы явились спасением, я нашел ту форму обучения, которая давала надежды на успех.

Наши курсы помещались на Никитском бульваре, в том доме, где умер Гоголь. Это были курсы платные, трехмесячные, и плата была большая, что-то рублей семь в месяц. Платить нужно было вперед. Курсы были халтурным предприятием, но вели их московские учителя, применяясь к самым новейшим требованиям. Каждому по окончании выдавалась бумажка с печатью об окончании курсов, и эта бумажка играла свою роль тогда — бумага эта говорила, что ее владелец хочет учиться, а не просто командирован, и не бросит учебы.

Если пересчитывать на темп времени, то эти курсы подготовки в вуз как раз и были чем-то вроде благородного пансиона при Московском университете, где когда-то учились Лермонтов и Грибоедов. Понятно, что все слушатели курсов были москвичами, и это еще более укрепляло доверие к этим странным документам.

По физике, по математике я подогнал настолько основательно, что осенью того же года на экзамене в МГУ получил вуд¹ по математике вместе с лестным вопросом, почему я не иду на физмат при столь ярко выраженных математических способностях. Я хотел объяснить экзаменатору психологию моего эффекта — эмоциональное напряжение после трехлетнего ожидания, эмоциональный подъем, разряда в нужный момент, хотел объяснить, что за этим эффектом ничего нет к физическим наукам — ни любви, ни уважения. Но счел нужным промолчать.

Зато по русскому языку я получил достойное удовлетворение — при вуде за письменную был освобожден от наиболее нудной части словесности — устного экзамена.

Курсы подготовки в вуз свели меня с моим лучшим другом Лазарем Шапиро, тоже из запоздавших к штурму неба. На этих курсах я настойчиво искал партнера, который мог бы гнать программу еще и дома. Таких желающих было немало, но мне это все не подходило. Мне приходилось бы их тащить, я бы сам отставал — темпа нужного, ритма я не находил. Моим требованием была только квартира для занятий. Партнеры мои менялись, занятия на курсах шли. На одном из первых занятий по русскому языку — а слушателей было человек сорок — преподаватель русского языка Ольга Моисеевна Коган заставила всех написать работу, предложив несколько тем. Темы были выписаны Коган на доске, и за полтора часа все слушатели справились с заданием. Я выбрал какую-то тему из Тургенева — об «Отцах и детях», кажется.

— Отметки я вам расставляю по пятибалльной дореволюционной системе, — сообщила Коган. — Это и для меня, да и для вас важно. Приспособить четверку к тройке можно всегда без труда.

Этой фразой начались занятия по русскому языку. Полтора часа, два академических занятия длилась эта работа. И дней через пять Коган продолжила занятия, выложив на стол пачку исписанных нами листов.

— Ну, — сказала Коган, закуривая «дукат», — она курила беспрерывно. — Как я и ожидала, уровень грамотности ваших работ невелик. Есть только одна работа, заслуживающая пятерки. Это работа Шаламова. Кто Шаламов?

Я встал. С детства мне было не привыкать получать высокие оценки по литературе, и я не обратил на это внимания, приняв это как должное. Но не так думал класс. Какой-то лобастый школьник протянул руку.

— Позвольте задать вопрос?

— Пожалуйста.

— Моя фамилия Шапиро. Вот вы поставили Шаламову пять, а мне четверку. Чем вы руководствовались в таком различии? Я проверил, у меня так же, как и у Шаламова, все запятые на месте. Не можете ли вы обосновать свое решение?

Коган встала и объяснила, охотно углубляясь в предмет, что представляет собой искусство, литература, — о постижении этого неуловимого [нрзб].

¹ Весьма удовлетворительно (тогда была трехбалльная система оценок — вуд, уд, неуд).

— Вы хотите сказать, что у Шаламова есть литературный талант?

— Да,— сказала Коган.

После этого мы стали с Шапиро друзьями. Именно с ним я поступал на факультет советского права, а после первого курса пути наши разошлись, он пошел на хозяйственно-правовое, я — на судебное. Мы встретились снова в оппозиции. Никакого влияния тут не было, на нас обоих влияло одно и то же: век, время, Москва.

Луначарский

Я был принят в университет, но без общежития, как москвич, и жилье, крыша сразу стало трудной, неотложной проблемой. Шапиро лучше меня знал всю бюрократическую иерархию, куда надо было обращаться за отказом,— он тоже был москвичом и ускорил наше хождение до необходимого предела. Получив положенные отказы, мы побежали в Наркомат просвещения на личный прием наркома. На Сретенском бульваре мы быстро разыскали кабинет Луначарского, обратились к секретарше.

— Заявление готово у тебя?

— Да. Вот есть.

— Так и держи в руке, а как получишь разрешение, суй ему прямо на подпись. Ну, иди!

Секретарша раскрыла кабинет наркома, где за большим письменным столом, откинувшись в мягком кресле и заложив ногу за ногу, сидел Луначарский. Солнечный луч из окна, как лазер, вычертил линию от коленки до лысины. Луначарский выслушал мою просьбу, и геометрия луча внезапно нарушилась.

— Это не ко мне,— завизжал нарком,— не ко мне, обратитесь к моему заместителю Ходоровскому. Валя!

— У него на лбу не написано,— резонно сказала Валя,— о чем он собирается с вами говорить, товарищ нарком.

Но я уже умчался к Ходоровскому, на том же этаже, где и получил заветную визу — «дать место».

Возможно, что я со своей жизненной прозой вторгся именно в тот момент, когда солнечный луч с лысины Луначарского уже готов был перескочить на бумагу, двинуть ритмы «Освобожденного Дон-Кихота». Мне не было дела тогда до таких проблем. А вот проблемы мировой революции меня занимали.

Тут же мои товарищи и старшие братья моих товарищей — герои гражданской войны, выслушав рассказ об этом инциденте, объяснили, что подобные ситуации были нередки, что обычно студенческие депутации долго ждали за дверью, ибо, как объясняла секретарша. «нарком стихи пишет» и принять пока не может. Не знаю, сколько тут злословия, сколько истины, на лбу у наркома, верно, не было написано, пишет ли он стихи или ждет очередного посетителя.

Штурм неба

Таких, как я, опоздавших к штурму неба, в Москве было немало. Самым естественным образом это движение сливалось в течение, кружилось близ скал новой государственности и плыло по незнакомой дороге дальше, то разливаясь по поверхности, то углубляясь, штурмуя осыпающиеся берега. Тут не было ничего от быта и очень много от догмы, да еще от того острейшего чувства, что ты присутствуешь и сам участник какого-то важного поворота истории, да не русской, а мировой. Самым естественным образом это движение-течение вольно клокотало в университете, в высших учебных заведениях, в вузах тогдашних. В вузы поступали тогда не потому, что искали образование, специальность, профессию, но потому что именно в вузах штурмующие небо могли найти самую ближнюю, самую подходящую площадку для прыжка в космос. Штурмовали небо именно

в вузах, [там] была сосредоточена лучшая часть общества. От рабочих и крестьян их лучшие представители, от дворян и буржуазии те конрады валленроды¹, которые взяли знамя чужого класса, чтоб под ним штурмовать небо. И Ленин, и Маркс, да и все их товарищи по партии были интеллигентами, конечно, плоть от плоти буржуазии, дворянства, разночинства, выходцами из чужого класса. Ничего в этом особенного нет, но уже в первые годы революции была поставлена догматическая задача — найти кадры из самих рабочих. Это только осложнило штурм неба.

Переступить порог университета — значило попасть в самый кипящий котел годошних сражений. Именно здесь, да еще в двух шагах от университета, в РАНИОНе² велись споры о будущем, намечались какие-то еще не уверенные, но явно реальные планы мировой революции.

Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни. Такие вопросы, как семья, жизнь, решались просто на ходу, ибо было много и еще более важных задач. Конечно, государство никто не умел строить. Не только государство подвергалось штурму, яростному беззаветному штурму, а все, буквально все человеческие решения были испытаны великой пробой.

Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией.

Каждому открывались такие дали, такие просторы, доступные обыкновенному человеку. Казалось, тронь историю, и рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоею рукою. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. Именно молодежь впервые призвана была судить и делать историю. Личный опыт нам заменяли книги — всемирный опыт человечества. И мы обладали не меньшим знанием, чем любой десяток освободительных движений. Мы глядели еще дальше, за самую гору, за самый горизонт реальностей. Вчерашний миф делался действительностью. Почему бы эту действительность не продвинуть еще на один шаг дальше, выше, глубже. Старые пророки — Фурье, Сен-Симон, Мор выложили на стол все свои тайные мечты, и мы взяли.

Все это [потом] было сломано, конечно, оттеснено в сторону, растоптано. Но в жизни не было момента, когда она так реально была приближена к международным идеалам. То, что Ленин говорил о строительстве государства, общества нового типа, все это было верно, но для Ленина все было более вопросом власти, создания практической опоры, для нас же это было воздухом, которым мы дышали, веря в новое и отвергая старое.

Консерватория

Наш институт, наш факультет был впритык с консерваторией, и при желании проникнуть в здание, проскочить сквозь барьер консерватории было [можно]. Но что нам там слушать? Иностранских скрипачей, советских пианистов? Не скрипачей, не пианистов слушали, а, всем телом, всем мозгом, всеми нервами своими напрягаясь, слушали ораторов. Для того, чтобы слышать ораторов, в консерваторию ходить было не надо — все словесные и бессловесные, и не словесные турниры шли у нас же, хотя Коммунистическая, бывшая Богословская, аудитория поменьше была Большого зала консерватории — наиболее крупного тогда кино в Москве. Консерватория так и называлась — кино «Колосс», причем, по упрямой московской обмолвке, тому упрямству, которое заставляет произносить «на Москвареке», а не «на Москве реке», Большой зал консерватории назывался «Киноколосс».

¹ Валленрод Конрад — гроссмейстер Тевтонского ордена в 1391—1393 гг., по легенде — литвин. Орден в это время вел войну с Литвой.

² Ранион — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук.

В консерватории было то, чего не было в университете,— буфет. Мы все имели талоны в столовую латинского квартала Москвы, но буфет консерватории был подарком. И хоть там, кроме бутербродов со свеклой, тоже ничего не было, а иногда с кетовой икрой, все же деятели искусства как-то подкармливались. Вот этот буфет и был предметом наших постоянных атак. Пускали туда по консерваторским пропускам с фотографиями, и такой свой пропуск нам отдал студент консерватории, бывший житель нашей Черкасски, крошечного, всего на сто коек, университетского общежития.

[Университет]

Москва тогдашних лет просто кипела жизнью. Вели бесконечный спор о будущем земного шара — руководимые и направляемые центром тогдашней футурологии РАНИОном и Комакадемией¹, где тогдашние пророки Преображенский, Бухарин, Радек бросали лучи в будущее. Эти лучи ни тем, которые наводили, ни тем [кто] обслуживал экран,— красным профессорам, немногочисленным, одетым в шинели и куртки того же покроя и фасона, что был у Преображенского, не казались еще ни лучами смерти из «Гиперболоида», ни обжигающими лазерами. Это были лучи мысли во всей ее фантастической реальности. В Московском университете, кипевшем тогда, как РАНИОН, сотрясаемом теми же волнами, дискуссии были особенно остры. Всякое решение правительства обсуждалось тут же, как в Конвенте.

То же было и в клубах. В клубе «Трехгорки» пожилая ткачиха на митинге отвергла объяснение финансовой реформы, которую дал местный секретарь ячейки.

— Наркома давайте. А ты что-то непонятное говоришь.

И нарком приехал — заместитель наркома финансов Пятаков, и долго объяснял разъяренной старой ткачихе, в чем суть реформы. Ткачиха выступила на митинге еще раз.

— Ну, вот, теперь я поняла все, а ты — дурак — ничего объяснить не можешь.

И секретарь ячейки слушал и молчал.

Эти споры велись буквально обо всем: и о том, будут ли духи при коммунизме, фабрика Брокера стояла с революции, и работники не были уверены, что ее пустят. И о том, существует ли общность жен в фаланге Фурье, и о воспитании детей. Обсуждали не формы брака, обсуждался сам брак, сама семья — нужна ли она. Или детей должно воспитывать государство и только государство. Нужны ли адвокаты при новом праве. Нужна ли литература, поэзия, живопись, скульптура... И если нужны, то в какой форме, не в форме же старой.

И Штеренберг, и Шагал, и Малевич, и Кандинский создавали новые формы, предъявляли новые свои искания на суд нового времени.

Спорили в университете. Но еще больше спорили в общежитиях — иногда до утра. В общежитиях медиков спорили меньше, много спорили математики. И особенно оба гуманитарных факультета — советского права и этнологический, — куда входили литературное и историческое отделения.

Тут просто разрывали на части. Популярных ораторов еще не было среди молодежи. Но, конечно, кое-какие фамилии уже начали выделяться на этом фоне: [Милькан], Володя Смирнов, Арон Коган. Все они кончили ссылкой.

На первом курсе мне удалось написать работу о советском гражданстве, обратившую на себя внимание не только руководителя семинара, но о научной работе я в этой бурлящей, закипающей каше и думать не хотел. Жизнь моя поделилась на те же две классические части: стихи и действительность. Я писал стихи, ходил в литературные кружки, занимался [нрзб], вошел в это время в «Молодой ЛЕФ», несколько раз был в «Красном студенчестве» у Сельвинского.

¹ Коммунистическая академия (1918—1923 — Социалистическая академия) просуществовала до 1936 года.

Я бывал на занятиях у Брика, диспутах Маяковского, встречался с Сергеем Михайловичем Третьяковым — фактографистом. И в то же время жил жизнью и общественной в тех формах, которые казались мне тогда приемлемыми. Как и всегда, я служил двум началам.

О том, какое начало выбрать, меня не спросили. 19 февраля 1929 года я был арестован и вернулся в Москву лишь в 1932 году.

Новый 1929 год я встретил на Собачьей площадке, в чужой чьей-то квартире, в узкой компании обреченных. Ни один из участников вечеринки не пережил 29-го года в Москве, никто никогда больше не встретился друг с другом.

Это были мои университетские товарищи, мои сверстники. На этой вечеринке я сделал удивительное открытие. Моя соседка, знаменитый оратор дискуссий 27-го года, выступавшая в красной шелковой рубашке с мужским ремнем, на котором была укреплена кобура браунинга, оратор весьма популярный на университетских трибунах, вдруг оказалась самой женственной дамой, которую только можно вообразить. Шелковая кофточка, модная юбка, букетик цветов, с которыми она явилась на вечеринку, произвели весьма сильное впечатление. Соседка моя оказалась не красавицей, но весьма хорошенькой девушкой, светловолосой блондинкой, волосы выбивались из-под косынки шелковой. Капля духов ей бы отнюдь не повредила.

Вечеринка кончилась, я вернулся к себе в общежитие.

19 февраля я был арестован в засаде в одной из подпольных типографий Москвы¹.

Все мы были рады, что глупая петиционная кампания² кончилась, и смело смотрели вперед, не ожидая ни масштабов, ни мстительности ответного удара.

Москва 30-х годов

Москва 30-х годов была городом страшным. Изобилие нэпа — было ли это? Пузыри или вода целебного течения — все равно — исчезло.

Подполье 20-х годов, столь яркое, забилося в какие-то норы, ибо было сметено с лица земли железной метлой государства.

Бесконечные очереди в магазинах, талоны и карточки, орсы³ при заводах, мрачные улицы, магазин на Тверской, где не было очереди. Я зашел: пустые полки, но в углу какая-то грязная стоведерная бочка. Из бочки что-то черпали, о чем-то спорили: «мыло для всех».

На Ивантеевской фабрике матери протягивали мне грязных детей, покрытых коростой, пиодермией и диатезом. Закрытые распределители для привилегированных и надежных. Партмаксимум — но закрытые распределители.

Заградительные отряды вокруг Москвы, которые не пропускали, отбрасывали назад поток голодающих с Украины. 21-й год — это был голод в Поволжье, 33-й был голодом Украины. Но одиночные голодающие проникали в Москву в своих коричневых домотканых рубашках и брюках — протягивали руки, просили. Ну что могла дать Москва? Талоны на хлеб, на керосин.

Директор шахты подмосковного угольного бассейна распорядился кормить в горняцких столовых, только если руки и одежда запачканы углем, угольной пылью. За углом два беженца спешно превращались в негров, в шахтеров, чтобы проскочить контроль — человека с пистолетом.

Шесть условий товарища Сталина, «Догнать и перегнать», «Время, вперед» — одни из самых бессовестных [лозунгов] тех лет. Беломорканал, канал Москва —

¹ Шаламов распространял отпечатанное подпольно «завещание» В. И. Ленина — «Письмо к съезду». Был осужден как «социально опасный элемент» на 3 года лагерей. Срок отбывал в Вишере, на Северном Урале.

² «Петиционной кампанией» Шаламов называет неоднократные выступления оппозиции с внутривнутрипартийными заявлениями и платформами.

³ ОРС — отдел рабочего снабжения.

Волга, коллективизация, аресты в деревне. Все это описано трижды и четырежды, как все это отражалось в семье русского интеллигента.

Все оказалось не так хорошо и не так просто. После свиданий с некоторыми из моих друзей и очевидной размошки я стал искать пути в одиночку. Я вновь вернулся, как в университетское время, к постоянному чтению в библиотеках. Квартуру быстро снял вместе с журналистом Шумским в Коробейниковом переулке на Остоженке. Хозяин квартиры слесарь Анисимов сдавал одну из комнат. Семья была большая, три дочери, хозяйка пили — [картина] знакомая, — и пили частенько, пили и пели. Все это тоже, в общем, было терпимо, переносимо. Не каждый день они пили. Но явилось очень интересное обстоятельство.

Хозяин любил рассказывать о своем участии в революционной деятельности, в революционном движении. Последняя его работа — должность в Музее революции.

— Выхожу я, беру с собой пистолет. Валька уже отворачивает ломом щеколду. И — экс! А они теперь в музее не хотят утвердить мой стаж политкаторжанина, хотя я был на каторге, на Колесухе. Экс, говорят, не революция. Сейчас собираю свидетелей. Угощаю тут старичков полезных. Ты не думай, меня все знают, меня и Ленин знает. Я был у него, докладывал о всех годах. Правильно, Ленин говорит, правильно действуешь, товарищ Анисимов. Подходит и целует меня в макушку. Не веришь? А то меня еще Троцкий целовал. Тот — в руку. Рассказать?

Вот такого рода был наш хозяин. Уголовник, освобожденный революцией, который все никак не мог пробраться в политкаторжане.

К этому времени я прописался на Садово-Кудринской, где жил и раньше, до путешествия на Вишеру. Прописывали тогда по профсоюзному билету, по любому удостоверению личности. И в комнате этой жили когда-то моя сестра и я, и бывший муж сестры, с которым она развелась и уехала в Сухум. Узнав, что я живу в этой комнате, бывший муж сестры, на чье имя была эта комната, сам он жил где-то за городом и в Москве не бывал месяцами, сейчас же выписал меня, не сообщая ни мне, ни сестре.

Тех нескольких дней прописки оказалось достаточно, чтобы я получил вызов в центральный уголовный розыск. Я взял все документы — профбилет, удостоверение с места работы, прописку, справку из лагеря об освобождении, военный билет — и явился на Петровку.

Проверка была недолгой, возвратив документы, товарищ Ерофеев подписал мне пропуск на выход.

— А в чем дело?

— Да ни в чем, просто проверяем всех, кто раньше сидел.

После смерти отца в 1933 году я женился, в 1935 году у меня родилась дочь, а 12 января 1937 года я был арестован, осужден особым совещанием при наркомне НКВД товарище Ежове на пять лет трудовых лагерей с отбыванием срока на Колыме. И отправился на Колыму.

В непрерывной работе над рассказами мне казалось, что у меня что-то стало получаться. Несколько рассказов Бабеля — писателя наиболее модного в те времена — я переписывал и вычеркивал все «пожары, как воскресенья» и «девушек, похожих на ботфорты...» и прочие красоты. Из рассказов немного оставалось. Все дело было в этом украшении, не больше. Говорят, что Бабель — это испуг интеллигенции перед грубой силой — бандитизмом, армией. Бабель был любимцем снобов. Истинное открытие того времени, истинный массовый успех имел Зощенко и вовсе не потому, что это фельетонист-сатирик. Зощенко имел успех потому, что это не свидетель, а судья, судья времени. Свидетелей и без Зощенко было немало. Пантелеймон Романов, например. Зощенко был создателем новой формы, совершенно нового мышления в литературе (тот же подвиг, что и Пикассо, снявшего трехмерную перспективу), показавшим новые возможности слова. Зощенко трудно переводить. Его рассказы не переводимы, как стихи. В русской литературе того времени это фигура особого значения.

Я работал в московских журналах¹. За годы с 32-го по 37-й в Москве и Московской области нет ни одной фабрики, ни одного рабочего общежития, ни одной рабочей столовой, где бы я не был и не один раз. И хотя свою литературную биографию я числю с левовских кружков 1928 года, первый рассказ мой напечатал Панферов в «Октябре» 1936 года.

В какой-то из автобиографических вещей Бунина есть признание о первом рассказе. «Я почувствовал,— пишет Бунин,— что теперь я должен вести себя как-то по-другому, по-особому...».

У меня такого чувства не было никогда. Ничего на душе не изменилось после напечатания. Более того: всякую свою вещь напечатанную не люблю и не читаю. Иногда читаю, как чужую, и вижу большие недостатки. Тут дело не в правке, ничего править не надо. Рассказы мои совершенны. Потеря в другом — самая мысль недостаточно многосторонняя, недостаточно символична, что ли. Может быть получен в прозе тот чистый тон, о котором говорит Гоген в «Ноа-Ноа»? Может.

Воспоминания (о Кольме)

Предисловие

Много, слишком много сомнений испытываю я. Это не только знакомый всем мемуаристам, всем писателям, большим и малым, вопрос. Нужна ли будет кому-либо эта скорбная повесть? Повесть не о духе победившем, но о духе растоптанном. Не утверждение жизни и веры в самом несчастье, подобно «Запискам из Мертвого дома», но безнадежность и распад. Кому она нужна будет как пример, кого она может воспитать, удержать от плохого и кого научить хорошему? Будет ли она утверждением добра, все же добра — ибо в этической ценности вижу я единственный подлинный критерий искусства.

И почему я? Я не Амундсен, не Пири. Мой опыт разделен миллионами людей. Не подлежит сомнению, что среди этих миллионов есть те, чей глаз зорче, и страсть сильнее, и память лучше, и талант богаче. Они пишут о том же самом и, бесспорно, расскажут ярче, чем я.

КТО ЗНАЕТ МАЛО — ЗНАЕТ МНОГО

Есть и другие, более «тонкие» сомнения. В литературе считается бесспорным, что писатель может хорошо написать лишь о том, что он знает хорошо и глубоко; чем лучше он знает «материал», чем глубже его личный опыт в этом плане, тем серьезней и значительней то, что выходит из-под его пера.

С этим нельзя согласиться. В действительности дело обстоит иначе. Писателю нужен опыт небольшой и неглубокий, достаточный для правдоподобия, опыт такой, который не мог бы оказать решающего действия в его оценках, и эмоциональных, и логических, в его отборе, в самом строе его художественного мышления. Писатель не должен хорошо знать материал, ибо материал раздавит его. Писатель есть соглядатай читательского мира, он должен быть плоть от плоти тех читателей, для которых он пишет или будет писать.

Зная чужой мир слишком хорошо и коротко, писатель проникается его оценками, и его пером начинают водить, утверждая важность, безразличие или пустяковость, — оценки чужого мира. Читатель потеряет писателя (и наоборот). Они не поймут друг друга.

В каком-то смысле писатель должен быть иностранцем в том мире, о котором пишет он. Только в этом случае он может отнестись к материалу критически, [будет] свободен в своих оценках. Когда опыт неглубок, писатель, предавая виденное и услышанное на суд читателя, может справедливо распределить масшта-

¹ В 1932—1937 гг. Шаламов работал в журналах «За ударничество», «За овладение техникой», «За промышленные кадры».

бы. Но как рассказать о том, о чем рассказывать нельзя? Нельзя подобрать слова. Может быть, проще было умереть.

Нельзя рассказать хорошо о том, что знаешь близко.

Тютчевское соображение о том, что мысль изреченная есть ложь, так же смущает меня. Человек говорящий не может не лгать, не приукрашивать. Способность вывертывать душу нанзнанку редчайша, а Достоевскому подражать нельзя. Все, что на бумаге, — все выдуманно в какой-то мере.

Удержать крохи искренности, как бы они ни были неприглядны. Бороться с художественной правдой во имя правды жизни — эта задача еще не так трудна. Трудно другое, что сама правда жизни преходяще изменчива. Она — однодневка, она не та, что была вчера, и не та, что будет завтра. Чувство — единственное, в чем не лжет художник. Если ему удастся донести это чувство до читателя любым способом, — он прав, он выиграл свое сражение. Но как! Можно ли донести чувство это, пользуясь языком не тем, который сопровождал художника в его скитаниях, а языком другим — пускай несравненно более богатым, но — другим?

ПАМЯТЬ

Несовершенство инструмента, называемого памятью, также тревожит меня. Много мелочей характернейших неизбежно забыто — писать приходится через 20 лет. Утрачено почти бесследно слишком многое — и в пейзаже, и в интерьере, и, самое главное, в последовательности ощущений. Самый тон изложения не может быть таким, каким должен быть. Человек лучше запоминает хорошее, доброе и легче забывает злое. Воспоминания злые — гнетут, и искусство жить, если такое имеется, — по существу есть искусство забывать.

Я не вел никаких записок, не мог их вести. Задача была только одна — выжить. Плохое питание вело к плохому снабжению клеток мозга — и память неизбежно слабела по чисто физическим причинам. Она, конечно, не вспомнит всего. Притом ведь воспоминание есть попытка переживания прежнего, и всякий лишний месяц, лишний год неизбежно ослабляют впечатление, ощущение и меняют его оценку.

Много раз со всей убедительностью приходило мне в голову, что интеллектуальное расстояние от так называемого «простого человека» до Канта, что ли, во много раз больше такого же расстояния от «простого человека» до его рабочей лошади.

Гамсун в «Соках земли» оставил нам гениальную попытку показать психологию простого крестьянина, живущего далеко от культуры, — его интересы, его поступки и мотивы их. Других подобных книг в мировой литературе я не знаю. Во всем остальном писатели с удручающей настойчивостью начинают своих героев психологией, далекой от действительности, гораздо более усложненной. В человеке гораздо больше животного, чем кажется нам. Он много примитивнее, чем нам кажется. И даже в тех случаях, когда он образован, он использует это оружие для защиты своих примитивных чувств. В обстановке же, когда тысячелетняя цивилизация слетает, как шелуха, и звериное биологическое начало выступает в полном обнажении, остатки культуры используются для реальной и грубой борьбы за жизнь в ее непосредственной, примитивной форме.

Как рассказать об этом? Как заставить понять, что мышление, чувства, действия человека просты и грубы, что его психология чрезвычайно проста, что его словарь сужен, а чувства его притуплены? Рассказывать об этой жизни нельзя от первого лица. Ибо это будет рассказ, который никого не заинтересует, — настолько беден и ограничен будет душевный мир героя.

Как показать, что духовная смерть наступает раньше физической смерти? И как показать процесс распада физического наряда с распадом духовным? Как

показать, что духовная сила не может быть поддержкой, не может задержать распад физический?

Когда-то в камере Бутырской тюрьмы я спорил с Ароном Коганом, талантливым доцентом Воздушной академии. Мысль Когана была та, что интеллигенция как общественная группа значительно слабей, чем любой класс. Но в лице своих представителей она в гораздо большей степени способна на героизм, чем любой рабочий или любой капиталист. Это была светлая, но неверная мысль. Это было быстро доказано применением пресловутого «метода № 3» на допросах. Разговор с Коганом был в начале 1937 г., бить на следствии начали во второй половине 1937 г., когда побои следователя быстро вышибали интеллигентский героизм. Это было доказано и моими наблюдениями в течение многих лет над несчастными людьми. Духовное преимущество обратилось в свою противоположность, сила обратилась в слабость и стала источником дополнительных нравственных страданий — для тех немногих, впрочем, интеллигентов, которые не оказались способными расстаться с цивилизацией, как с неловкой, стесняющей их движения одеждой. Крестьянский быт гораздо меньше отличался от быта лагеря, чем быт интеллигента, и физические страдания переносились поэтому легче и не были добавочным нравственным угнетением.

Интеллигент не мог обдумать лагерь заранее, не мог его осмыслить теоретически. Весь личный опыт интеллигента — это сугубый эмпиризм в каждом отдельном случае. Как рассказать об этих судьбах? Их тысячи, десятки тысяч...

Как вывести закон распада? Закон сопротивления распаду? Как рассказать о том, что только религиозники были сравнительно стойкой группой? Что партийцы и люди интеллигентных профессий разлагались раньше других? В чем был закон? В физической ли крепости? В присутствии ли какой-либо идеи? Кто гибнет раньше? Виноватые или невиноватые? Почему в глазах простого народа интеллигенты лагерей не были мучениками идеи? О том, что человек человеку — волк и когда это бывает. У какой последней черты теряется человеческое? Как о всем этом рассказать?

Я З Ы К

На каком языке говорить с читателем? Если стремиться к подлинности, к правде — язык будет беден, скуден. Метафоричность, усложненность речи возникает на какой-то ступени развития и исчезает, когда эту ступень перешагнут в обратной дороге. Начальство, уголовников, соседей — буквально всех — раздражает нетерпеливостью интеллигентской речи. И незаметно для самого себя интеллигент теряет все «ненужное» в своем языке... Весь мой дальнейший рассказ и с этой стороны неизбежно обречен на лживость, на неправду. Никогда я не задумался ни одной длительной мыслью. Попытки это сделать причиняли прямо физическую боль. Ни разу я в эти годы не восхитился пейзажем — если что-либо запомнилось, то запомнилось позднее. Ни разу я не нашел в себе силы для энергичного возмущения. Я думал обо всем покорно, тупо. Эта нравственная и духовная тупость имела одну хорошую сторону — я не боялся смерти и спокойно думал о ней. Больше, чем мысль о смерти, меня занимала мысль об обеде, о холоде, о тяжести работы — словом, мысль о жизни. Да и мысль ли это была? Это было какое-то инстинктивное, примитивное мышление. Как вернуть себя в это состояние и каким языком об этом рассказать? Обогащение языка — это обеднение рассказа в смысле фактичности, правдивости.

Я вынужден писать тем языком, которым я пишу сейчас и, конечно же, у него очень мало общего с языком, достаточным для передачи тех примитивных чувств и мыслей, которыми я жил в те годы. Я буду стараться дать последовательность ощущений — и только в этом вижу возможность сохранить правдивость изложения. Все же остальное — мысли, слова, пейзажные описания, выписки из книг, рассуждения, бытовые картинки — не будет правдивым в достаточной степени. Но мне все же хотелось бы, чтобы правда эта была правдой того самого дня, правдой двадцатилетней давности, а не правдой моего сегодняшнего мироощущения.

[Арест]

12 января 1937 года я [был] арестован и поначалу допрашивался каким-то стажером по фамилии не то Романов, не то Лиманов, молодым краснощеким стажером, красневшим от каждого своего вопроса, — вазомоторная штука — игра со судов, вроде как у Гродзенского¹, красневшего до корней волос, а то и до пятки.

— Значит, вы можете написать, что в 29-ом году разделяли эти взгляды, а теперь не разделяете?

— Да, так.

— И можете подписать?'

— Конечно.

Вазомоторный следователь выходил куда-то, показывал кому-то что-то, а к вечеру меня переводят на Лубянку, 14, в Московскую комендатуру, где я уже бывал восемь лет назад и знал все порядки и перспективы Лубянки, 14 — это «собачник», сборный приемник, оттуда ход или на волю, и так бывало, или на Лубянку, 2 — это значит, что ты государственный преступник, опытный враг высшего ранга, близко стоящий к высшей мере, либо в Бутырскую следственную тюрьму, где ты, признанный врагом народа, подлежишь все-таки изоляции в минусе или плюсе².

Поэтому Бутырки — это жизнь, но не свобода. На волю из Бутырок не выходят. И не из-за престижа государства («ГПУ не арестовывает зря»), а просто из-за бюрократического вращения этого смертного колеса, которому не хотят, не умеют, не могут, не имеют права придать другой темп вращения, изменить его ход. Бутырки — государственное колесо.

Следователь Ботвин, который вел мое дело и довел до благополучного конца — не до трибунала, конечно, но трибуналом он мне грозил не однажды, а до самого мелкого шрифта многомиллионной литерки — КРТД³. Впрочем, трибунал был в самой букве Т. В самом слове «трибунал» была эта смертная буква, но вряд ли следователь Ботвин мог определить истинный удельный вес, который занимала в советском алфавите эта тайная темная буква, достойная всяких магических кругов, достойная теургического толкования. Следователь Ботвин был ленивым человеком моих лет и дело мое готовил не спеша. В моем присутствии прерывал допрос и к моему же делу подшивал какие-то бумажки.

Жилищный кризис, недостаток кабинетов для работы обострял все действия ЧК. Ботвин получал кабинет для работы со мной на какой-то определенный срок, а потом его выгоняли оттуда, как «последнюю падлу».

— Вылетишь отсюда, как последняя падла, если хоть час пробудешь, — услышал я в коридоре голос какой-то высшей персоны.

Ботвин был чином невелик и поэтому, неизбежно циник и лентяй, он экономил время тем, что работал в моем присутствии. Все справки, поступающие по моему делу, были навалены около его же стола. Ноги наши соприкасались во время допроса, так тесны были тогдашние кабинеты еще времен Дзержинского. Прочсть [можно] своими глазами любую строку из того, что перед тобой раскладывают не спеша и не желая спешить. Я тогда с удовольствием просмотрел, перечел через стол свое собственное дело 1929 года. Арест, допросы, папку с показаниями свидетелей в начале и конце следствия и, наконец, последний листок в моем тогдашнем деле — отказ расписаться в получении приговора: трех лет лагерей и пяти лет ссылки. [Метка, сделанная] равнодушной рукой дежурного коменданта. А кто был тогда дежурным комендантом по МОКу, по мужскому одиночному корпусу? Комендантом тюрьмы был Адамсон, но дежурил кто? Нет, это было не в МОКе, а в этапном корпусе, где я объявил голодовку. Какая причина? — не желаю сидеть с контрреволюцией, требую отправки к оппозиционерам.

¹ Гродзенский Яков Давидович — знакомый Шаламова, также репрессированный в 30-е годы, отбывал срок заключения в лагерях Воркуты.

² Декретом СНК от 23 марта 1923 г. судьям предписывалось указывать, подлежит осужденный «более строгой или менее строгой изоляции».

³ КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность.

— Вы у нас не как следственный, вы у нас как приговоренный,— равнодушно сказал мне дежурный комендант,— и действительно [показал] выписку-основание, на этой бумажке и была драгоценная метка чьим-то почерком, моя метка: «Расписаться отказался».

Ботвин тоже перечитывал и даже не спеша перечитывал дело, перечел и другую грозную метку: «Дело сдать в архив». Эта формула значила вечное хранение.

Я все это и так знал. А Ботвина интересовало что-то другое. Просто его интересовало, как бы половчей оформить это дело, в котором открываются безграничные по тому времени возможности. Ботвин приходил всегда с какого-то доклада, держа в руках целую стопу документов. Наряду с цинизмом и ленью у него обнаружилось и надлежащее служебное рвение, желание не проворонить чего-то, не оступиться на славном пути. Выжать из техники максимум того, что она может дать.

— Он руки к партии протягивает,— воскликнул Ботвин.

— Кто?

— Вы.

Кто-то из высших ставил на документе точки, тире...

Вдруг он изменил и план, и ход допроса. После получения моего старого дела были передопрошены все свидетели по моему делу — уже с замахом не на ссылку, а на трибунал. Свидетелей по делу у меня было очень мало, тот минимум, который сегодня лучше максимума. Все сослуживцы — Гусятинский, Шумский — полностью передопрошены.

Гусятинский приволок массу новых фактов — ездил в Киев, где похвалил Ефимова — директора Киевского индустриального института, а обругал честных ленинцев. Это все ему казалось подозрительным, и он сообщает официально, кто меня в редакцию рекомендовал.

Ничем не изменились показания Шумского — против первого его допроса. Шумский оказался вовсе не трусом.

Наиболее серьезно были изменены показания моей жены, но суть их я знаю лишь в пересказе Ботвина: «Вот и жена на вас показывает, что вы были активным оппозиционером, только скрывались, замаскировались, как же, вот». Но показаний таких не нашлось.

Я угодил под литерку¹.

Через 14 лет, еще до реабилитации, я спросил [жену]:

— Что тебе [писали] в твоих собственных показаниях? Что ты могла сказать лишнего в таком году, как 37-ой год?

— Мои показания вот какие: я, конечно, не могу сказать, чем ты занимался в мое отсутствие, но в моем присутствии ты никакой троцкистской деятельностью не занимался.

— Вот и отлично.

— Будешь раз в месяц встречаться с Пастернаком, сюда будешь приезжать, ну, скажем, раз в неделю.

— Пастернаку,— сказал я,— больше нужен я, чем он мне. Пастернак дал мне, что мог, в своих ранних стихах, стихах «Сестры моей жизни». У Пастернака тоже нет никакого долга передо мной.

— Дай мне слово, что оставишь Леночку в покое, не будешь разрушать ее идеалы. Она воспитана мною лично, подчеркиваю это слово, в казенных традициях, и никакого другого пути я для нее не хочу. Мое ожидание тебя в течение 14 лет дает мне право на эту просьбу.

— Еще бы — такое обязательство я дам и выполню его. Что еще?

— Но не это главное, самое главное — тебе надо забыть все.

— Что все?

— Ну, вернуться к нормальной жизни.

¹ Шаламов был осужден за «контрреволюционную троцкистскую деятельность» на 5 лет лагерей с использованием на тяжелых физических работах.

Дорога в ад

Пароход «Кулу» закончил свой пятый рейс в бухте Нагаево 14 августа 1937 года. «Врагов народа» — целый эшелон москвичей — везли сорок пять суток. Теплая тишина летних ночей, глупая радость тех, кого везли в теплушках по тридцать шесть человек. Обжигая тюремную бледную кожу горячим ветром из всех вагонных щелей, люди были счастливы по-детски. Кончилось следствие. Теперь их положение определилось, теперь они едут на золотую Колыму, в дальние лагеря, где, по слухам, сказочное житье. Два человека в вагоне не улыбались — я (я знал, что такое дальний лагерь) и силезский коммунист, немец Вебер — колымский заключенный, которого привозили для каких-то показаний в Москву. Когда затих очередной взрыв смеха, нервного арестантского смеха, Вебер кивнул мне своей черной бородой и сказал: «Это дети. Они не знают, что их везут на физическое уничтожение».

Помню еще Омск с замечательной баней — военным санпропускником, где мы, вымытые, в мокрой после дезинфекции одежде, пахнувшей лизолом, лежали на каком-то дворе и смотрели на теплое осеннее солнце, окруженное маленькими серыми облачками. Листья деревьев были багровыми. К нам подошел старший лейтенант НКВД, жирный, бритый, прицепил большие пальцы своих рук за кожаный ремень, который едва стягивал огромный живот. Это был «представитель» НКВД, сопровождавший эшелон. Жалобы? Нет, мы не жаловались, да не для того, чтобы услышать жалобы, лейтенант подходил к этапу. Морда его, заплывшая жиром, и бледные костлявые фигуры, провалившиеся глаза заключенных запомнились мне хорошо.

— Ну вот вы, например,— толкнул он лакированным сапогом моего соседа,— что делали на воле?

— Я доцент математики в высшем учебном заведении.

— Ну вот, господа доценты, вряд ли придется вам вернуться к вашей профессии. Другим трудом придется заняться, более полезным...

Все молчали. Лейтенант продолжал развивать свою мысль.

— Конечно, я не могу советовать правительству, партии, но если бы меня спросили — что с вами делать, я дал бы совет: надо всех завести на какой-нибудь северный остров — ну, скажем, остров Врангеля — и оставить там, прекратить сообщение с островом. Вся задача была бы вмиг решена. А вас везут на золото, хотя, чтобы вы поработали в забоях. Поработаете вы, доценты...

— А ты почему здесь? — Лейтенант обратил взор к Володьке Иванову, рыжему, покрытому уголовной татуировкой с ног до головы. Сочувствие было явно слышно в голосе старшего лейтенанта.

— Я воспитатель Болшевской колонии. По пятьдесят восьмой. По литеру.

— А-а-а...

И лейтенант проследовал дальше.

Помню трюм парохода, где к нашей компании присоединился некто Хренов — одутловатый, медленный. Вещей Хренов не вез на Колыму. Зато вез томик стихов Маяковского с дарственной надписью автора. И всем желающим находил страницу и показывал «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое», и читал:

Я знаю — город будет.
Я знаю — саду цвествь,
Когда такие люди
В стране советской есть!

Хренов был тяжелейший сердечник. Но на Колыму загоняли и безногих, и семидесятилетних, и больных в последней стадии туберкулеза. «Врагам народа» не было пощады. Тяжелая болезнь спасла Хренова. Он прожил как инвалид до конца срока, освободился и умер на Колыме уже вольнонаемным — один из многих «счастливцев».

Ибо не знаю, что такое счастье — уцелеть после великих мук или умереть раньше страданий.

Хорошо помню, как кончился пятый рейс «Кулу».

В бухту Нагаево пароход прибыл ночью, и выгрузку отложили до утра. А утром я вышел на палубу, взглянул, и сердце занялось от великой тревоги.

Шел мелкий холодный дождь. На берегу лысые порыжелые сопки, опоясанные темно-серыми тучами. Бараки, огороженные колючей проволокой. Уходящая вдаль и вверх узкая дорога и неисчислимые сопки...

Три дня на пересылке, в брезентовых палатках, мокрые от непрерывного дождя. Работа — прокладка дороги в бухту Веселая. Погрузка на машины, шоссе вертится среди гор, поднимаясь все вверх, с каждым поворотом становится все холоднее, воздух становится все суше, и вот числа двадцатого августа нас привозят и сгружают на прииске «Партизан» Северного горного управления.

Почему же я помню, что рейс парохода «Кулу» в навигацию 1937 года был именно пятый.

А потому, что в течение пятнадцати лет мне приходилось вспоминать это на бесконечных переписях, которые назывались там «генеральными поверками». Потому что при переводе с места на место, с одного лагерного пункта на другой, всякий раз приходилось подвергаться одинаковому опросу.

Заклоченного в лагере каждый божий день заставляют ответить на несколько вопросов.

Фамилия?

Имя, отчество?

Статья?

Срок?

Когда прибыл на Колыму?

Каким пароходом?

Каким рейсом?

Последние три вопроса задаются на поверках. А первые — каждый день по несколько раз.

Человек не любит вспоминать плохое. Вспоминается чаще хорошее. Это — один из мудрых законов жизни, элемент приспособления, что ли, сглаживания острых углов. «Если бы каждого встречали по заслугам — кто бы избавился от пощечины». Эти слова Гамлета — не шутка, не острота. Если бы человек не был в силах забывать — кто бы мог жить. Искусство жить — это искусство забывать.

Вот почему никакая дружба не заводится в очень тяжелых условиях. И очень тяжелые условия вспоминать никто не хочет. Дружба заводится в положениях «средней тяжести», когда мяса на костях человека еще достаточно. А последнее мясо кормит только два чувства: злобу или равнодушие.

Все, о чем я буду рассказывать, неизбежно будет сглажено, смягчено.

Время только искажает истинные масштабы события.

В Москве уже убивали: Тухачевского, Якира, Шмидта. Ежов выступал уже на сессии ЦИКа с угрожающим докладом о том, что в трудовых лагерях «ослабла дисциплина», в газетных статьях все чаще попадались фразы о «физическом уничтожении врага», о «необходимости ликвидации троцкистов», а золотой прииск, куда мы приехали, еще жил прежней «счастливой» жизнью.

Прибывшим было выдано новое зимнее обмундирование. В сапожной мастерской стояла бочка рыбьего жира — откуда и черпали смазку. Прибывшим дали трехдневный отдых, знакомили с «производством» — забой, лопата, кайло, отточный трап и тачка.

«Машина ОСО —

Две ручки, одно колесо».

Медпункт пустовал. Новички даже не интересовались сим учреждением.

Работа — открытый разрез, взрывы, ручная откатка в бункер, откуда увозят конные грабарки на бутару — промывочный прибор.

Тяжелая работа, зато можно заработать много — до десяти тысяч рублей в летний, сезонный месяц. Зимой поменьше. В большие холода — свыше 50° — не работают. Летом работают десять часов с пересменкой раз в десять дней. Отдых «копится» и «выдается» авансом — 1-го мая и «под расчет» — 7-го ноября. В декабре работают шесть, в январе четыре, в феврале шесть, в марте семь, в апреле — восемь, в мае и все лето — десять [часов].

— Будете хорошо работать, сможете посылать домой,— говорили новичкам «смотрители» во время экскурсии.

Пайков было три вида — стахановский, ударный и производственный. На стахановский давали кило хлеба, хороший приварок. При выполнении 110% нормы давался ударный паек, за 100% и ниже — производственный — восемьсот граммов хлеба, меньшее количество блюд.

Медицинский осмотр разделил всех на четыре категории.

Четвертая — здоровые.

Третья — не вполне здоровые, но те, которые могут работать на любой физической работе.

Вторая — лфт¹.

Первая — инвалиды.

Заключенный, имеющий вторую группу, имел право на скидку в 30%. Поэтому появились «стахановцы болезни», которые работали на подсобных работах и получали скидку при определении пайка.

Самой невыгодной была третья группа — обычно группа людей интеллигентного труда.

Таковы были Берзинские порядки, которые еще существовали, когда наш этап прибыл на «Партизан»².

Уже в Москве судьба Берзина была решена. Уже готовились и размножались приказы о новом вине, вливавшемся в старые мехи.

Уже готовилась инструкция, чем заменить старые мехи.

Все это везли на Колыму фельдегеря вслед за нами.

Дисциплина была такая, что волос у заключенного не упадет, если не прикажет Москва. Москва все знает и решает судьбу каждого из миллионов заключенных.

Решение в центре принято и идет «по инстанции» вниз, на периферию.

Что здесь действует — цепная реакция или закон трения? Ни то, ни другое. Все боятся, все выполняют приказы сверху. Все стараются их исполнить. И об исполнении донести.

Конечно, жизнь и смерть тут более реальные. Щупленький журналист пишет в Москве громкую статью о ликвидации врагов, а на Колыме блатарь берет лом и убивает старика-«троцкиста». И считается «другом народа».

Посреди приска стояла палатка, которую всякому новичку показывали с особенным уважением. Здесь жили 75 заключенных «троцкистов», отказавшихся от работы. В августе они получали производственный паек. В ноябре они были расстреляны.

Тридцать восьмой

Я могу вспомнить лицо каждого человека, которого я видел за прошедший день, много раз пытался проверить, до каких же глубин натягивается в мозгу эта лента, и прекращал усилия, боясь успеха. Успех — бесплоден. Но можно припомнить, вытащить не всю мою жизнь, скажем, 38-й год на Колыме.

Где он лежит, в каком углу, что из него забыто, что осталось? Сразу скажу, что осталось не главное, осталось не самое яркое, не самое большое, а как бы не нужное тогдашней жизни. В 38-ом году не было внезапного погружения в нищету, в ад, я уходил, увязал туда каждодневно и повсечасно, ежедневно и ежедневно.

Самым, пожалуй, страшным, беспощадным был холод. Ведь активировали только в мороз свыше 55 градусов. Ловили вот этот 56-й градус Цельсия, который определяли по плевку, стынущему на лету, по шуму мороза, ибо мороз имеет язык, который называется по-якутски «шепот звезд». Этот шепот звезд нами был усвоен быстро и жестоко. Первое же отморожение: пальцы, руки, нос, уши, лицо, все, что прихватит малейшим движением воздуха. В горах Колымы нет места,

¹ ЛФТ — легкий физический труд.

² С августа 1937 г. по декабрь 1938 г. Шаламов работал в забоях золотого приска «Партизан».

где не дули бы ветры. Пожалуй, холод — это самое страшное. Я как-то отморозил живот — ветром распахнуло бушлат, пока я бежал в столовую. Но я и не бежал, на Колыме никто не бежит — все лишь передвигаются. Я забыл об этом, когда у меня в столовой вырвали кисет с махоркой. Наивный человек, я держал кисет в руках. Мальчик-блатарь вырвал у меня из рук и побежал. Мальчик вскочил в барак, я за ним и тут же был оглушен ударом полена по голове — и выброшен на улицу из барака. Вот этот удар вспомнился потому, что во мне были еще какие-то человеческие чувства — месть, ярость. Потом все это было выбито, утрачено.

Помню я также, как ползу за грузовиком, цистерной, в которой подсолнечное масло, и не могу пробить ломом цистерну — сил не хватает, и я бросаю лом. Но опытная рука блатаря подхватывает лом, бьет цистерну, и на снег течет масло, которое мы ловим на снегу, глотая прямо со снегом. Конечно, главное разбирают блатари в котелки, в банки, пока грузовик не уехал. Я с каким-то товарищем ползу по этим масляным следам, собираю чужую добычу. Я чувствую, что я хую, хую, прямо сохну день ото дня — пищи не хватает, все время хочется есть.

Голод — вторая сила, разрушающая меня в короткий срок, вроде двух недель, не больше.

Третья сила — отсутствие силы. Нам не дают спать, рабочий день 14 часов в 1938 году по приказу. Я ползаю вокруг забоя, забиваю какие-то колья, кайло отмороженными руками без всякой надежды что-нибудь сделать. 14 часов плюс два часа на завтрак, два часа на обед и два часа на ужин. Сколько же осталось для сна — четыре часа? Я сплю, притыкаюсь, где придется, где остановлюсь, тут и засыпаю.

Побой — четвертая сила. Доходягу бьют все: конвой, нарядчик, бригадир, блатарь, командир роты, и даже парикмахер считает должным отвесить плюху доходяге. Доходягой ты становишься тогда, когда ты ослабел из-за непосильного труда, без сна, на тяжелой работе, на пятидесятиградусном морозе.

Что тут выбросит память?

То, что я не могу быстро двигаться, что каждая горка, неровность кажутся непреодолимыми. Порога нет сил перешагнуть. И это не притворство, а естественное состояние доходяги.

Более помню другое — не светлые, озаренные светом поступки, горе или нужду, а какие-то вовсе обыкновенные состояния, в которых я живу в полусне. Рост много мне мешал. Паек ведь не выдают по росту.

Но и это все — тоже общее, понятие уже после, во время перерывов¹, а то и тогда, когда я уехал с Колымы. Там я ни о чем таком не думал, и память моя должна [была] быть памятью мускулов, как ловчее упасть после неизбежного удара. Не помню я никаких своих желаний тогдашних, кроме есть, спать, отдохнуть. Бурю какую-то помню, мглу, гудит сирена, чтобы указать путь во мгле, метель собирается мгновенно, и помню, я ползу по какой-то ледяной ложбине, давно уже сбился с дороги, но не выпускаю из рук пропуска в барак — «палку» дров. Падаю, ползу и вдруг натыкаюсь на какое-то здание, землянку на краю нашего поселка. И — вхожу в чужой барак, меня, конечно, не пускают, но я уже ориентируюсь, я иду домой под свист метели. Барак этот тот самый, где сидели 75 отказчиков-троцкистов, которые ко времени метели были уже увезены и расстреляны.

Каждый день нас выводят на развод, читают при свете факелов списки расстрелянных. Списки длинные. Читают каждый день. Многие мои товарищи по бараку попали в эти смертельные рукопожатия полковника Гаранина.

И Гаранина я помню. Много раз видел его на «Партизане».

Но не о том, что я его видел, хочу рассказать, а о мускульной боли, о нытье отмороженных ног, о ранах, которые не хотят заживать, о вшах, которые тут как тут и бросаются кусать доходягу. Шарф, полный вшами, качается в свете лампы. Но это было уже гораздо позже, в 1938 году вшей тоже было много, но не так, как в спецзоне во время войны.

¹ Т. е. во время лежания в больнице.

Выстрелы, конные сани, которые мы возим вместо лошадей, впрягаясь по шесте человек в упряжку. Отказ от работы — стрельба поверх голов и команда: «Ложись! Встань!» И травля собакой, оборвавшей мне весь бушлат и брюки в клочья. Но работать и собакой меня не заставили. Не потому, что я герой, а потому что хватило сил на упрямство, на борьбу за справедливость. Это было в 1938 году весной. Всю бригаду нашу заставили в сотый раз ехать за дровами — два часа лишних. Обещано было, что отпустят, а теперь обманули, посылают еще раз. Саней было шестеро. Отказался только я и блатной Ушаков. Так и не пошли, увели нас в барак, тем дело и кончилось.

Но и это — не то, что я ищу в своей памяти, я ищу объяснения, как я стал доходягой. Чего я боялся? Какие пределы ставил себе?

Надежд, во всяком случае, у меня не было никаких, я не строил планов далее сегодняшнего дня.

Что еще? Одиночество — понятно, что ты прокаженный, ощущаешь, что все тебя боятся, так как каждый чувствует — из КРД, из литерников. Мы не распоряжаемся своей судьбой, но каждый день меня куда-то выкликают на работу, и я иду. На работе чувствую — захвачу ручку кайла, по ней согнуты мои пальцы, и я их разгибаю только в бане, а то и в бане не разгибаю — вот это ощущение помню. Как машу кайлом, машу лопатой без конца, и это мне только кажется, что я хорошо работаю. Я давно уже превратился в доходягу, на которого нечего рассчитывать. У меня есть ухватка и терпение. Нет только самого главного, самого ценного в колымских «кадрах» — физической силы. Это я обнаруживаю не сразу, но навсегда, на всю свою колымскую 17-летнюю жизнь. Сила моя пропала и никогда не вернулась. Осталось умение. Наросла новая кожа, только силы не стало.

Я хотел бы заметить час и день, когда сила пошла на убыль. Подготовка началась с этапа, с бутырского этапа. Мы выехали без денег, на одном пайке. Ехали сорок пять суток, да пять суток морем, да двое суток машиной после трехсуточного отдыха на транзитке в Магадане, трех суток непрерывного труда под дождем — рытье канав по дороге в бухту Веселая. Что я думал, что я ждал в 1938 году? Смерти. Думал, обессилю, упаду и умру. И все же ползал, ходил, работал, махал бессильным кайлом, шуршал почти пустой лопатой, катил тачку на бесконечном конвейере золотого забоя. Тачке я обучен до смерти. Мне как-то тачка давалась легче, чем кайло или лопата. Тачка, если ее умело возить, большое искусство — все мускулы твои должны участвовать в работе тачечника. Вот тачку я помню, [нрзб] с широким колесом или узким большого диаметра. Шуршание этих тачек на центральном трапе, с ручной откаткой за двести метров. И я применял какие-то тачки, с кем-то спорил, у кого-то вырывал из рук инструмент.

Баня как наказание, ибо ведь баня выкрадена из тех же четырех часов официального ежесуточного отдыха. Такая баня — не шутка.

[Помню] ту безграничность унижений, всякий раз оказывается, что можно оскорбить еще глубже, ударить еще сильнее.

Родственники твердили — намеренно не отяжелить их судьбы. Но как это сделать? Покончить с собой — бесполезно. Родственников это не спасет от кары. Попросить не слать посылок и держаться своим счастьем, своей удачей до конца? Так и было.

А где была палатка, новый барак, где я просил моего напарника Гусева перебить мне руку ломом, и, когда тот отказался, я бил ломом многократно, набил шишку и всё. Все умирают, а я все хожу и хожу.

Арест в декабре 1938 года резко изменил мое положение, я попал в тюрьму на следствие, был выпущен из тюрьмы после ареста начальника СПО¹ капитана Стеблова и вышел на транзитку² и новым глазом посмотрел на лагерный мир.

Что помнит тело?

¹ СПО — секретно-политический отдел.

² В декабре 1938 г. Шаламов был арестован по «делу юристов». Сидел в магаданской тюрьме. Дело сфальсифицировать не удалось. Был выпущен из тюрьмы и отправлен в магаданский пересыльный лагерь, в тифозный карантин, где находился до апреля 1939 г. Это описано им в рассказах «Дело юристов» и «Тифозный карантин».

Ноги слабеют, на верхние нары, где потеплее, влезть уже не можешь, и у тебя не хватает силы или хватает ума не ссориться с блатарями, которые занимают теплые места. Мозг слабеет. Мир Большой земли становится таким далеким, таким не нужным со всеми его проблемами. Шатаются зубы, опухают десны, и цинга надолго поселяется в твоём теле. Следы пиодермии и цинги до сих пор целы на моих голенях, бедрах. В Магадане в 1939 году от меня шарахались в сторону в бане — кровь и гной текли из моих незаживающих ран. Расчески на животе, на груди, расчески от вшей.

Клочок газеты, подхваченный в парикмахерской вольной, не вызывает никаких эмоций, кроме оценки — сколько сигарок махорочных выйдет из этого газетного клочка. Никакого желания знать о Большой земле, хотя мы с самой Москвы, уже около года, не читали газет. Много и еще пройдет лет, пока ты с испугом, с опаской попробуешь прочесть что-то газетное. И опять не поймешь. И газета покажется тебе не нужной, как и в 38-ом году. Ногти я обкусывал всегда, обламывал, отщеплял — ножниц не было у нас много лет. Цинготные раны, язвы пиодермии появились как-то сразу на теле. Мы избегали врачей, фельдшер Легкодух — зав. амбулаторией «Партизана» славился ненавистью к троцкистам. Вскоре Легкодух был арестован и погиб на Серпантинке. Но и к другим я не ходил. Не то что я не был болен, товарищи мои ходили, получали вызовы на какие-то комиссии. Толк был один и тот же — смерть. А я лежал в бараке, стараясь двигаться поменьше, или уже был не в силах двигаться, спал или лежал, стараясь вылежать эти четыре часа отдыха.

Я был плохим работягой и поэтому везде на Колыме работал в ночной смене. Хуже забойного лета была зима. Мороз. Работа хоть и десять часов — надо катать короба с грунтом, снимать торфа с золотого слоя — работа легче летней, но бурение, взрыв и погрузка лопатой в короб и отвозка на террикон ручная, по четыре человека на короб. Очень мучит мороз. Язвы все ноют. В хорошие бригады меня не берут.

Все бригады за золотой сезон, за четыре месяца, дважды и трижды сменили свой состав. Жив только бригадир и его помощник, дневальный — остальные члены бригады в могиле или в больнице, или в этапе. Каждый бригадир — это убийца, тот самый убийца, который лично, своими руками отправляет на тот свет работяг. Даже бригадир 58-ой, прокурор Челябинской области Парфентьев, увидев, как я в его присутствии просто шагаю вдоль забоя, стремясь согреться, сострил, что Шаламов на бульваре себя чувствует.

— Нет, — ответил я, — на галерах.

Все это, разумеется, где-то фиксировалось, куда-то сносилось, чтобы внезапно вспыхнуть «заговором юристов». И это относится к 38-ому году, к самому декабрю.

Льет дождь. Все бригады сняты с работы из-за дождя, все, кроме нашей. Я бросаю работу, бросаю кайло, то же делает мой напарник. Не помню его фамилии. Нас ведут через лагерь к дежурному коменданту. Это только воспоминания — вроде, весна 38-го года... Весна на Колыме не отличается от осени. Что-нибудь в мае 38-го не было еще и изолятора зоны, был только дежурный комендант. Нас ввели в барак и поставили около стенки.

— Не хотят.

Я объяснил, что все бригады сняты из-за дождя и только...

— Замолчи, сволочь...

Комендант подошел ко мне поближе и протянул... Он не ударил, не выстрелил, только ткнул — и через промокший бушлат, гимнастерку, белье надломил мне ребро.

— Вон отсюда.

Я шел, хромая, пополз в направлении барака. Я с самого начала понимал, что законы — это сказки, и берегся, как мог, но ничего не мог сохранить. Еще я ходил все это лето каждый день пилить дрова или в пекарню, или куда-нибудь в барак бытовиков. Дело в том, что в лагере каждый слуга хочет иметь другого слугу. Вот эти пайки, баланды сверх пайка, хоть у нас сил не было, имели значе-

ние для поддержания жизни. В забое я работал плохо и никого работать хорошо не звал, ни одному человеку на Колыме я не сказал: давай, давай.

...Именно здесь, в провалах памяти, и теряется человек. Человек теряется не сразу. Человек теряет силу, вместе с нею и мораль. Ибо лагерь — это торжество физической силы как моральной категории. Здесь интеллигент окружен двойной, тройной, четверной опасностью. Иван Иванович¹ никогда не поддержит товарища, товарищ становится блатным, врагом, спасая свою судьбу. Это — крестьянин, конечно. Крестьянин умрет, умрет тоже, но позже интеллигента. Умри ты сегодня, а я завтра. Блатари — вне закона морали. Их сила — растление, но и до них доберутся, и до них доберется Гаранин. Блатной — берзинский любимчик — отказчик для Гаранина. Но дело не в этом, надо поймать какой-то шаг, лично свой шаг, когда сделана уступка какая-то важная: перебирая в памяти, этих кинолентах мозга, видишь, что и уступки-то нет. Процесс этот очень короткий по времени — ты не успел даже стать стукачом, тебя даже об этом не просят, а просто выгоняют на работу в холод и на бесконечный рабочий день, колымский мороз, не знающий пощады.

Чьи-то глаза проходят по тебе, отбирая, оценивая, определяя твою пригодность скотины, короток или длинен последний твой шаг в рай. Ты не думаешь о рае, не думаешь об аде — ты просто ежедневно чувствуешь голод, сосущий голод. А тот твой товарищ, кто посильнее тебя, тот бьет, толкает тебя, отказывается с тобой работать. Я тогда и не соображал, что крестьянин, жалуясь на Ивана Ивановича бригадиру, начальству, просто спасал свою шкуру. Все это мне было глубоко безразлично, все эти хлопоты над моей судьбой еще живого человека.

Я припоминаю, стараюсь припомнить все, что случилось в первую зиму, — значит, с ноября 1937 года по май 1938 года. Ибо остальные зимы, их было много, как-то встречались одинаково — с равнодушием, злобой, с ограничением запаса средств спасения: при ударе — падать, при пинке — сжиматься в комок, беречь живот больше лица.

Доносят все, доносят друг на друга с самых первых дней. Крестьянин же стучал на всех тех, кто стоял с ним рядом в забоях и на несколько дней раньше него самого умирал.

— Это вы, Иван Ивановичи, нас загубили, это вы — причина всех наших арестов.

Всё — чтобы толкнуть в могилу соседа — словом, палкой, плечом, доносом.

В этой борьбе интеллигенты умирали молча, да и кто бы слушал их крики среди злобных осатаневших лиц — не морд, конечно, а таких же доходяг. Но если у крестьянина-доходяги удержался хоть кусочек мяса, обрывок нерва — он тротил его на то, чтоб донести или чтоб оскорбить соседа Ивана Ивановича, толкнуть, ударить, сорвать злость. Он сам умрет, но, пока еще не умер, — пусть интеллигент идет раньше в могилу.

Один из самых первых удержался в [памяти] Дерфель — французский коммунист, кайеннец, бывший работник ТАСС, шустрый, маленький, что было очень выгодно, — на Колыме выгодно быть маленьким. Дерфель кайлил, а я насыпал в тачку.

Дерфель:

— В Кайенне, где я был до Колымы, тоже каменоломни такие, тоже кайлил, кайло и тачка, только там не так холодно.

А была еще осень золотая, поэтому я и запомнил день, серый камень, маленькую фигуру Дерфеля, который вдруг взмахнул кайлом и упал, и умер.

В это время всех согнали в один барак, в палатку брезентовую, где держали нас стоя, человек четыреста. Проверяли что-то — стреляли в воздух. И я увидел, что мой сосед, голландский коминтерновец в вельветовой жилетке, спит на моем плече, теряет сознание от слабости. Я его толкнул, но Фриц не очнулся, а медленно ослабел, сполз на пол. Но тут стали выводить, выталкивать из палатки, и он

¹ В лагерях Иванами Ивановичами называли интеллигентов.

очнулся и вышел рядом со мной, и, выходя уже, упал у барака, и больше его я никогда не видел.

Все это — Дерфель, голландец Фриц — все это поймала моя память, а то безымянное, что умирало, било, толкало, заполнило большую часть моего существа, те дни и месяцы, — я просто не припомню.

Что же там было?

Никакой «вины» перед народом я не чувствовал. [Нрзб]. Но зато карьеристов, дельцов чувствую всей силой чутья — и не ошибусь.

Все это — и Дерфель, и задержка на работе бригады Ключева в декабре 1937 года — все это как бы верхние этажи моего тела. Трудно восстановить то, что не запомнилось, — боль тела и только тела.

У нас не было газет, а переписки я был лишен еще по московской бумажке. Не было желания что-либо знать о событиях вне нашего барака. Все это было так бесконечно неважно, вытеснено надолго — на десяток, а то и более лет за круг моих интересов.

Как же это случилось на моем личном примере, примере моего тела?

Уже двухмесячный этап на голодном пайке был подготовкой к более серьезным вещам — побоям, холоду, бесконечной работе, которую я встретил на «Партизане» в декабре 1937 года.

Ноги отяжелели, кожа гноилась, завелись вши, обморозились руки в пузыри. Но все это было не главное. Главным был голод постоянный. Я быстро научился есть хлеб отдельно от супа, потом кипятить, вздувать его в какой-то банке консервной и из этой банки высасывать. Никакого интереса к любым разговорам в бараке. Белье я хотел свое поменять на хлеб, но опоздал — был обыск, и все лишнее поступило в доход государству. Но и это мне было все равно. Обрывками мозга я ощущал, пожалуй, две вещи. Полную бессмысленность человеческой жизни. Что смерть была бы счастьем. Но на смерть нельзя было решиться по каким-то странным причинам — боль в пальцах после отморожения, в амбулаторию я не ходил, больничный фельдшер Легкодух, как все фельдшера того времени, прямо сдаст тебя в «солдаты» как интеллигента и троцкиста. Так делали все фельдшера и врачи на приисках, так делал и Лунин, и Мохнач. Через восемь лет после 37-го года так делал и Винокуров, и доктор Доктор, и Ямпольский — с больницей было опасно связываться. Но не логикой, а инстинктом животного я понимал, что мне не следует ходить туда, где толпятся «стахановцы болезни». И действительно, их всех расстреляли в гаранинские дни как балласт. А кто давал списки расстрельные? По «Партизану» это работяга Рябов, Анисимов — начальник прииска, Коваленко — начальник ОЛПа¹, Романов — уполномоченный.

Койки рядом со мной пустели. Нашу бригаду то переводили в другой барак, сливали с другой, то расформировывали, и я переходил из барака в барак. Работяга я был неважный, приходу моему в барак бригадир не радовался. Но мне, а, может быть, и им было все равно. У меня не удержалось даже в памяти, когда меня стали бить, когда я стал доходягой, которого каждый стремится ткнуть, ударить: крестьянин — чтобы обратить внимание начальства на свою политическую преданность советской власти, блатарь...

Тут возникает такое состояние, когда ты сам слабеешь, сдачи дать не в состоянии. И тут-то тебя и начинают толкать и бить. Я прошел эту дорогу к 1938 году. Но и в декабре 1937 года меня уже толкали и били...

Полз по какой-то дороге снежной, собирая обломки капустных листьев, чтобы вскипятить их в банке, сварить. Полз целую вечность, но ничего не собрал — кто-то уже прополз раньше меня, а из того, что я собрал, нельзя было сварить никакого супа. Я проглотил эти куски мерзлыми.

В это время нашу бригаду, работавшую на втором участке, перевели на первый и на этом первом участке — в бригаду Зуева. Здесь Зуев — крестьянский паренек лет 30 — интересовался грамотными людьми, которые могут ему напи-

¹ ОЛП — отдельный лагерный пункт.

сать жалобу, да так, что все прокурорские сердца размякнут. Зуев искал такого автора в бригаде. Зуеву дали только что срок за взятки — но он уверял, что невиновен. Важно было жалобу составить хорошо. Видя, что работяга я новый, Зуев отвел меня в сторонку и сказал:

— Вот будешь сидеть в тепле и жалобу мне писать.

— Хорошо,— сказал я.— Давай бумагу, завтра начнем.

Даже хлеба куска этот Зуев мне не дал за жалобу, но, как ни трудно было ворочаться мозгу, я сочинил эту жалобу.

На следующий день Зуев прочел ее десятникам, те нашли, что жалоба написана плохо, прокурорские сердца не пронзит. Зуеву стало жалко своей пайки, да к тому же кто-то сказал, что он обратился за литературной помощью к врагу народа, к троцкисту.

На следующий день вместо продолжения работы над жалобой было избие-ние адвоката. Зуев сшиб меня с ног одним ударом и топтал, топтал на снегу. Вот эту плоху я помню хорошо. Уж слишком легко я упал — все, что я подумал. И хоть в кровь были разбиты зубы, мне почему-то не было больно.

Кампания физического истребления врагов народа началась на Кольме, и Зуев поспешно известил уполномоченного, что он, десятник, сделал такое страшное преступление перед государством, попросил троцкиста написать ему жалобу. Именно об этом шла речь в декабре 1938 года, когда меня арестовали на приiske и привезли в Ягодное к начальнику местного НКВД товарищу Смертину.

— Юрист?

— Юрист, гражданин начальник.

— Писал жалобы?

— Писал.

— За хлеб?

— И за хлеб, и так.

— В тюрьму его.

Но все это было через год, и только сейчас я думаю, что Зуев поспешил признать свою ошибку, написав на меня донос, признание в декабре 1938 года.

Помню, все это время я стремился где-нибудь поработать еще: уборка, пилю дров за юшку или коржу хлеба. На такую работу после 14 часов забоя было нацелено все мое тело, вся моя личность, в мобилизации всех физических и духовных сил. Иногда это удавалось — то на пекарне, то на уборке, хотя было безмерно тяжело. И после этого, добираясь до койки, я падал в мертвый сон на один-два часа до нового рабочего дня. Но и Зуев — это все уже на «верхних» этажах человеческой воли.

Работал я плохо с самого первого дня. И тогда, и сейчас считаю физическую работу проклятием человека, а принудительный физический труд и высшим оскорблением человека.

Конечно, для троцкиста были отменены всякие зачеты рабочих дней и прочие лагерные премии.

Сражение вчистую — кто устоит на ногах, кто умрет — знать каждому было дано, именно дано.

Насилие над чужой волей считал и сейчас считаю тягчайшим людским преступлением. Поэтом и не был я никогда бригадиром, ибо лагерный бригадир — это убийца, тот человек, та физическая личность, с помощью которой государство убивает своих врагов.

Вот этот скопленный за 38-й год опыт был опытом органическим, вроде безусловного рефлекса. Арестант на предложение «давай» отвечает всеми мускулами — нет. Это есть и физическое, и духовное сопротивление. Государство и человек встречаются лицом к лицу на дорожке золотого забоя в наиболее яркой, открытой форме, без художников, литераторов, философов и экономистов, без историков.

Иногда всколыхнется какое-то чувство: как быстро я ослабел. Но ведь так же ослабели и мои товарищи вокруг, у меня не было с кем сравнивать. Я помню, что меня куда-то ведут, выводят, толкают, бьют прикладом, сапогом, я пол-

зу куда-то, бреду, толкаясь в такой же толпе обмороженных, голодных оборванцев. Это зима и весна 1938 года. С весны 1938 года по всей Колыме, особенно на севере, в «Партизане», шли расстрелы.

Какая-то паническая боязнь оказать нам какую-то помощь, бросить корку хлеба.

Даже и сейчас пишут тома воспоминаний — я расстреливал и уничтожал тех, кто соприкасался с дыханием смертного ветра, уничтожавшего по приказу Сталина троцкистов, которые не были троцкистами, а были только антисталинистами, да и антисталинистами не были — Тухачевский, Крыленко. У самих-то троцкистов ведь не было никакой вины.

Если бы я был троцкистом, я был бы давно расстрелян, уничтожен, но и временное прикосновение дало мне вечное клеймо. Вот до какой степени Сталин боялся. Чего он боялся? Утраты власти — только.

[Черное озеро]

Каждый дневальный имеет своих работяг, которые все делают за супчик, за кусок хлеба, — так и на приiske.

Я думаю, вольнонаемный начальник моего дневального, узнав, что тот моет крошечный кабинетик сам, — вышиб бы его на общие работы за то, что тот не может пользоваться положенной властью, пятнает позором его, начальника. По всему Магадану хохотали бы: это тот начальник, у которого дневальный сам полы моет. Получал я за эту работу хлеб, [дневальный] насыпал закрутку махорки, [давал] талон в столовую, [я] либо съедал, либо отдавал своим соседям. Транзитка мне стала нравиться даже. Но начальство не было так просто. Огромный пакгауз с четырехэтажными нарами на транзитке пустел. На одной из переключек нас оставалось человек сто, а то и меньше. После очередного выкликария нарядчик не отпустил нас в барак. А куда?

— Пойдем в УРЧ¹ печатать пальцы.

Пришли в УРЧ.

— Как твоя фамилия?

— Шаламов.

— Что же ты не откликаешься два месяца?

— Никогда не слыхал, каждый день выхожу на поверку, не вызывали.

— Ну, иди отсюда, сука.

Нужно было собираться в этап, и нас отправили, но не в сельхоз или рыбалку, а в угольную разведку на Черное озеро². К счастью, в качестве инвалидов для обслуживания вольнонаемных, вольняшек — только что освободившихся зэка — тоже с пересылки, только вольнонаемных, подписавших договоры на год с Дальстроем, чтобы подработать. Начальник нового угольного района Парамонов, которому людей не дали из заключенных — тех гнали на золото — выпросил хоть шесть человек для obsługi своих вольных работяг. Я должен был поехать кипятыльщиком, Гордеев — сторожем, Филипповский — банщиком, Нагибин — печником, Фризоргер — столяром.

У вольняшек не было ни копейки, все, до белья было продано или проиграно на вольной транзитке, на карпункте, как он называется, карантинном пункте, таком же, как транзитка для зэка, только поменьше — та же зона, те же бараки. Карпункт был размещен вплотную к транзитке. Такие же нары пусты. Карпункт опустел тоже. Пароходы ушли.

Вот этих-то голодранцев и нанял Парамонов на Черное озеро в угольную разведку, где искал уголь. Уголь, а не золото. Когда мы ночевали впервые на Атке, в клубе дорожников, на нары расстелили палатку, которой мы закрывались в дороге на машине, и спали, спали. У вольняшек не было денег ни копейки. Надо было купить табаку. И махорка в вольном лагере была, и они имели пра-

¹ УРЧ — учетно-распределительная часть.

² На Черном озере Шаламов работал с апреля 1939 г. по август 1940 г., был кипятыльщиком, помощником топографа.

во ее купить, они уже были не зэка. Но денег не было ни у кого. Старик Нагибин дал им рубль, и на этот рубль была куплена махорка, поделенная на всех поровну — и зэка, и вольняшкам, — и выкурена. На следующий день приехал начальник и выдал какие-то деньги.

Начальник района Парамонов был старым колымчанином. Лагерный район НКВД он открывал не первый. Так именно Парамонов открывал Мальдык, знаменитый колымский прииск-гигант — там было до двадцати тысяч человек списочного состава. И смертность в 1938 году была выше даже обычной колымской смертности. Генерал Горбатов, поступив на Мальдык, превратился там в инвалида в две недели. Это видно из подсчетов времени: прибыл — убыл. Прибыл рабочей, убыл инвалидом. Столь кратковременное пребывание на Мальдыке не дало возможности генералу Горбатову разобраться в нем — он пишет: в Мальдыке было человек 800, и спас его фельдшер, отправил его в Магадан как инвалида. Никакой лагерный фельдшер таким правом и возможностью не обладал. Горбатов «доплыл» на одном из участков прииска-гиганта. На Штурмовом в это время было четырнадцать тысяч человек, на Верхнем Ат-Уряхе — двенадцать тысяч. Доплыть за три недели — это нормальный срок для всякого человека — при побоях, голоде, холоде и четырнадцатичасовом рабочем дне. Именно три недели тот срок, который делает инвалида из силача.

У Парамонова в разговоре с вольняшками была постоянная присказка: «в цилиндрах домой поедете»...

Аркагала

Начали играть в чехарду, чтобы размяться, заводилой был [Корнеев], знакомый мой сибиряк из тех, что идут первыми в работе. На Аркагале он еще держался, но потом был переведен куда-то на прииск и умер. Но все это было потом, а пока Корнеев играл в чехарду. Я не играл, мне не хотелось уезжать из мест, где хорошо жилось. Везли нас на Аркагалу, на уголь, стало быть. Уголь — это не камень в золотом забое, это гораздо легче. Провожали нашу машину и увезли на Аркагалу, но на Аркагалу, на уголь, мы не попали. Этап был «повышенной упитанности», как пишут в лагерных актах приема людей, и нас выпросил у Аркагалы начальник, инженер Киселев на свой участок Кадыкчан, где шли работы по зарезке шахт¹. Здесь был единственный ворот для людей — кровавые мозоли, голод и побои. Вот чем встретил нас Кадыкчан. Худшие времена 38-го года, приисковые времена. О Киселеве я написал очерк «Киселев», стопроцентной документальности. До сих пор не понимаю, как из беспартийного инженера он мог превратиться в палача, истязателя. Киселев бил ногами заключенных, вышибал им зубы сапогами. Заключенного Зельфугарова он на моих глазах повалил в снег и топтал, пока не вышиб половину челюсти. Причина? Слишком много говорил. И работа-то еще не начиналась в этот день.

Барак был палаткой, знакомой армейской палаткой, где политические дрожали у печек, которые здесь, в отличие от прииска, топили углем и — без ограничений. Правда, ограничения были вскоре Киселевым введены — у шахтеров, идущих с работы, конвой стал отбирать уголь, но справиться с таким крайне не просто.

Все черноозерцы потрясены, угнетены знакомством с новым начальником, который поставил проблему слишком серьезную, требующую быстрого решения. В 38-ом году всех постреляли, поубивали бы прямо в забое. Но здесь, вроде, не слышно было о массовых расстрелах, расстрельных приговорах.

— Выход один, — сказал я в бараке вечером, — в присутствии высокого начальства дать Киселеву по морде простой рукой. Дадут срок, но за беспартийную суку больше года не дадут. А что такое год-два в нашем положении? Зато пощечина прогремит по всей Колыме, и Киселева уберут, переведут от нас.

¹ С августа 1940 г. по декабрь 1942 г. Шаламов работал в угольных забоях на Кадыкчане и Аркагале.

Разговор этот был поздно ночью. На следующий день после развода меня вызвал Киселев.

- Слушаюсь, гражданин начальник.
- Так ты говоришь, прогремит на всю Колыму?
- Гражданин начальник, вам уже доложили?
- Мне все докладывают. Иди и помни, теперь я с тебя глаз не спущу, но пеняй на себя.

Доложил ему это все горный инженер Вронский, с которым у меня случались ссоры, Вронский был в нашем аркагалинском этапе.

Киселев был не трус, надо было выбираться из Кадыкчана.

Выбраться мне помог доктор Лунин, Сергей Михайлович Лунин, о котором я рассказал уже в очерке «Потомок декабриста», да и в других очерках встречалась эта фамилия. Сергей Михайлович Лунин был неплохой малый, несчастье его было в том, что он совершенно умирал от преклонения перед всяким большим и малым начальником лагерным, медицинским, горным.

Я ходил не в шахту — на «поверхность». В шахту меня не допустили бы без техминимума. Шахта была газовая — надо было уметь замерить газ лампочкой Вольфа, научиться не бояться работать в лаве после осыпания, привыкнуть к темноте, смириться с тем, что в легкие твои набирается угольная пыль и песок, понимать, что при опасности, когда рухнет кровля, надо бежать не из забоя, а в забой, к груди забоя. И, только прижимаясь к углю, можно спасти жизнь. Понимать, что крепежные стойки ставят не затем, чтобы что-то держать, каменную гору в миллиарды пудов весом никакими стойками не удержать. Стойку ставят затем, чтобы видеть по ее треску, изгибу, поскрипыванию, что пора уходить. Вовремя заметить — не раньше, не позже. Чтобы ты не боялся шахты. Надо уметь заправить лампочку, если погаснет, а заменить ее в ламповой — нельзя. Аккумуляторов на шахте было очень мало. Простые лампочки Вольфа служили там.

Я работаю на поверхности, и работа мне не нравилась, и конвоя окрики. В шахту же конвоиры не ходят. Десятник в шахте тоже никогда не бывает, в отличие от приисковых бригадиров и смотрителей. Боятся, как бы не выпал кусок угля на голову бригадира. Словом, у шахты было много преимуществ, а самое главное — тепло, там не было ниже двадцати — двадцати двух градусов холода. Конечно, при двадцати двух градусах — холодно, но все же не пятьдесят градусов мороза открытого разреза золотого забоя с ветром, сметающим шею, уши, руки, живот, все, что откроет человек.

У меня многократно отмороженное лицо, руки, ноги. Все это на всю жизнь. При любом самом незначительном холоде ноет, болит.

Несколько ночей я проработал на терриконе шахтном — туда время от времени из шахты шла порода, и надо было ее разгружать — открыть борта, снять борт вагонетки, и она сама вывалится, рабочий только сгребает камни со дна вагонетки. Породы шло мало, и я до такой степени замерзал на этом терриконе, что даже заплакал от мороза, от боли. Уйти же никуда было нельзя. Мест для обогрева там тоже не было. Я решительно попросился в шахту. Начальник низового участка Никонов посмотрел на меня с симпатией, но неуверенно, и все же записал на курсы техминимума. Эти курсы проводились в рабочее время, вернее в часы, когда меняется смена, учащиеся не участвуют в передаче смены.

В шахте две смены — ночная и дневная. Научиться не ходить без воды под землю я привык скоро, да и вообще вся наука не оказалась сложной — шахтеров учили и все товарищи, учили на ходу, что надо делать, в отличие от взаимной ненависти в золотых бригадах. Я стал привыкать к шахте. Неудача была еще в том, что у меня очень сухая и тонкая кожа — клопы и вши едят меня ужасно. При сухой коже я очень редко потел при работе. Товарищи считали это просто ленью, а начальство, особенно приисковое, — филонством, вредительством.

Впоследствии из занятий на фельдшерских курсах я понял, что только пот разогревает мускулы для наилучшей отдачи. Я, сколько ни работал, никогда не запотевал, мой напарник по шахте Карелин, краснорожий парень молодой, об-

ливался потом при каждом движении — и очень нравился десятнику и начальнику участка. Я проработал на физической работе много лет: и в лагере, и до лагеря, но всегда эту работу ненавидел, хотя техникой владел [нрзб], техникой землекопа, горнорабочего. Я — артист лопаты, я — тачечник Колымы. И еще я знаменитый магаданский поломой.

Конечно, шахта убивает. Я видел много «орлов» — аварий с человеческими жертвами, когда человека расплющивало в пластину. Видел живые куски мяса, стонущие. Шахта есть шахта. Первая авария, которая произошла со мной, была на откатке вагонеток во время счистки лавы: кусок угля перелетел загородку (она не была глухой, как положено) и ударил меня в голову. Я помню только яркую вспышку синего цвета и голос:

— Ты встать можешь?

— Да, конечно.

Я встал, потер ушибленное место, замазал ранку по шахтерским правилам угольной пылью, заслюнил угольную пыль и намазал. Угольная пыль — это гуминовая кислота. Она не только не вредна, но даже полезна для легких. И туберкулезом на шахте заболевают мало. Истинное заболевание шахтеров не туберкулез, а силикоз — от пыли породы, которую вдыхают легкие шахтеров.

С откатки я перешел в лаву, на выборку угля после взрыва. Крепежники ставят крепи на местах, где бухтит кровля, и навальщики выбирают уголь, стаскивают его вниз по желобам, которые трясет мотор. Здесь у меня тоже была одна авария. Во время смены не успели выбрать весь уголь с отвала, а остатки были как раз под кровлей, которая тут трещала. Постучали сильно — не отваливается. Попробовали отвалить ломом — не отпадает. Значит, будет стоять. Я выбрал весь этот уголь, когда обвалилась кровля. Пласт тут небольшой, метра полтора. Нагнувшись, стоять — как раз по моему росту. Поэтому кровля не ударила меня, а сбила с ног и опрокинула. При падении кровля разбилась, и я вылез. Конечно, такое падение кровли, да еще туча белой пыли при этом — всегда тревожно сначала. Мгновенно сбежалось все начальство: и те, кто принимал смену, и те, кто ее сдавал. У меня было ушиблена голова.

— Будем заполнять карту? — спросил начальник.

Он имел в виду карту несчастных случаев, которая сильно отражается и на прогрессивке, и на добром имени инженера. Мне это было известно очень хорошо.

— Нет, гражданин начальник.

— Вот видите, товарищ главный инженер.

— Да, да.

— Это ты оставил, — спорил наш мастер, наш бригадир. — в следующий раз под суд пойдешь...

Но это кричали мелкие начальники. Инженер уже удалился. Впрочем, вскоре вернулся.

— Хочешь идти домой?

Под домом тут подразумевался барак.

— А можно?

— Можно, я тебя с конвоем пошлю.

Третья моя авария была в одном из штреков на нижней площадке в конце смены, где я цеплял последнюю вагонетку. Напарник мой уехал на вагонетке, а я как более опытный остался цеплять и прицепил за трос вагонетку временно с тем, чтобы, когда [подъедет], нацепить вторую, — перецеплю и пуцую вторую первой. Никакого сигнала о подъеме не подавал, подают сигнал электрическим звонком. Как вдруг лебедка пошла, вагонетка развернулась на плите, прихватила меня за ноги к тросу и потащила наверх. Я закричал. Но наверху крика не бывает слышно. Рядом никого нет, чтобы выключить трос. Так меня тащило довольно долго, пока я почувствовал, что валенок мой прорезается тросом. В этот момент лебедка выключилась. Я поднялся наверх, оставив вагонетку. Оказалось, молодой блатарь-лебедчик, который не хотел оставить эту смену, по собственной инициативе включил лебедку, чтобы напомнить мне, что надо торопиться. Я даже не рассердился. Обошлось, и ладно.

— А почему же ты выключил?

— Показалось, что-то тяжело идет.

Четвертая авария была во время войны, я рассказываю о ней в очерке «Июнь».

Чем больше привыкал я к шахте, а шахта ко мне, — тем спокойнее было на душе. Шахтерский труд подземного рабочего ценят, хотя [ты] и не крепильщик, не бурильщик, не газомерщик. В шахте надо что-то знать, чтобы не убить других и не убить себя. Чем больше я привыкал к шахте, тем лучше я узнавал людей в бараке. Сначала я так уставал и на работе, а главное, на амбулаторных приемах, по развлечению Сергея Михайловича, что человека в бараке, кроме Родионова, не видел.

Выяснилось, что напротив лежит крепильщик Бартенов, партийный работник из крестьян, вернувшийся к топору. Дальше М[нрзб], тоже крепильщик, этот потомственный шахтер, посадчик лавы, профессионал. Наверху на нарах помощник генерального прокурора СССР А. Я. Вышинского, бывший одесский прокурор Лупилов. Это был очень культурный человек, единственный человек в бараке, читавший книги постоянно. У него я взял и прочел тоже мемуары Шелгунова и Михайлова, перечел хорошо известную мне книгу как заново. Лупилов был тем человеком, который в разговоре о желаниях сказал, что хочет умереть в больнице, только в больнице, не в бараке, не на приске под сапогами конвоиров, не под сапогами следователя, не под прикладами. Дух у него был боевой, у Лупилова. В шахту его не брали. Он замерзал на поверхности. А сапоги и приклады вынес с какого-то приска 38-го года. Зимой, военной зимой, голодной зимой 41-го года Лупилов получил посылку, в которой был табак — его раскрали по дороге — и хороший, даже щегольской костюм вольного образца. Лупилов [нрзб] вручил костюм хлеборезу Феде Столбникову. Дар подействовал. Лупилов был освобожден от работы. Ел хлеб с утра до вечера. Позже он умер от алиментарной дистрофии.

Железную койку напротив занимал Миша Оксман — крепильщик, напарник Бартенева. Оксман был политработник, начальник политотдела дивизии Красной Армии. Маршал Тимошенко, первым требованием которого при вступлении в любовь должность было удалить всех евреев, вышиб Оксмана и обеспечил ему место на Колыме. Щаденко, который к этому делу руку приложил, тоже мог бы кое-что рассказать об аресте Оксмана. Сроку у него было пять лет. Малоразговорчивый, замкнутый Оксман оживился с началом войны. Начал строить планы, проекты. Речь идет не о заявлениях на фронт, я не знаю, кто из нашего барака подавал такое заявление. Во всяком случае, обнаружилось, как много у нас военных. С Оксманом же мы простояли немало ночей, чтобы выпросить у хлебореза хоть корку хлеба.

Напротив Оксмана и тоже на нижних нарах спал Александр Дмитриевич Ступицкий, бывший профессор артиллерийской академии, делегат 2-го съезда Советов. Срок у него был более, чем у Оксмана. Ступицкий на Аркагале работал десятником на поверхности, выгружал уголь, следил за выгрузкой угля и породы. Поворотливый, быстрый, хотя и заросший сединой, Ступицкий был энергичным работником. Его хлопотливое дело кипело даже в большой мороз. Именно Ступицкий сказал мне 23 июня, что началась война, что немцы бомбят Севастополь.

— Я не хотел быть военным, я хотел быть дипломатом, не послом каким-нибудь, а консулом где-нибудь в Бейруте — делать своими руками дипломатическую черновую работу. На военную службу я попал случайно. Что такое призвание — дым. Я — профессор военной академии.

Ступицкий сильно картавил. Была у него дворянская картавость ленинского типа. В наши барачные дела Ступицкий не вмешивался. Пайка в руке — обед в столовой — сон — и снова бешеная работа на шахтном дворе.

— А в шахту, почему вы не пойдете в шахту? — спросил я его как-то. — Десятником бы. Там ведь не 60 градусов.

— Боюсь,— ответил Ступицкий.— Боюсь шахт до смерти. Не могу понять, умираю от страха.

Ступицкий был убит на моих глазах в декабре 1941 года. Шофер пятитонки, груженой, с прицепом, попятил машину и попал ребром кузова в лоб Ступицкому, который выписывал на крыле другой машины квитанцию. Ступицкий упал и был раздавлен. Не скоро принесли носилки и прямо на руках понесли в лагерную амбулаторию километра за полтора. Но спасти Ступицкого было нельзя.

Начало войны было страшным для Аркагалы. Немедленно были отменены все проценты и заключенные переведены на трехсотку производственную и шестисотку — стахановскую карточку, уменьшены нормы питания. Барак, где жила 58-я, [был] окружен колючей проволокой, и посажен особый вахтер, увеличен конвой, все ларьки, «выписки» отменены. Начались проверки, выстойки чисто приискового типа. Начались допросы в следовательском домике. Хлеб мгновенно приобрел значение чрезвычайное. Именно в это время всякая выдача хлеба у Лунина прекратилась. Я попробовал попросить хлеба, но Сергей Михайлович заявил раздраженно:

— Сергей Михайлович всех не обогреет.

А санитар его Коля Соловьев, бывший блатарь, пояснил:

— Сергею Михайловичу осталось сидеть с гулькин нос, он рисковать не будет.

Я сразу превратился в политического рецидивиста, кадрового врага народа. Поддерживать знакомство со мной было опасно, в амбулаторию на посиделки Сергей Михайлович попросил не ходить.

Вот в это время на Аркагале я стал «доплывать» очень сильно. Запасов материальных у меня не было давно, и я как-то быстро стал просить у повара добавки. Повар Петров, который тоже жил в нашем бараке, щедрой рукой наливал мне баланду, беловатую воду, юшку. Сразу обнаружилось, что на кухне все мясо идет блатарям, и аркагалинская столовая превращается в самую обыкновенную приисковую, где блатарь, угрожая ножом, грабят, требуя налить погуще [нрзб]. Вот в это время мы вдвоем с Оксманом каждую ночь дежурили у хлебореза, пока не замерзали,— не будучи в силах отвести ноздрей от запаха хлеба. Но хлеборез Столбников не собирался обращать на нас внимания.

— Слушай,— сказал Оксман,— из этого ничего не выйдет. Надо стоять по одному. Вот я пойду в барак, а ты стой, требуй, проси. Федька заперся в хлеборезке.

Я этому совету внял, Оксман ушел в барак, а я попросил у Столбникова. Кроме густого мата, я не услышал ничего. Прошел Сергей Михайлович туда же, в хлеборезку, акт что ли подписывать, но тоже ничего не вынес. Я постучал еще раз — мат был того же тона. Я уже замерз до костей, вернулся в барак — уступая свою очередь на счастье Оксману. Прошел чуть ли не час, и через барак, совершенно оледеневший, пробежал Оксман. В руках у него было грамм триста хлеба, который он, конечно, даже и не прятал по правилам полной конспирации. Мне не повезло. Рядом со мной вскочил Бартенев — знаменитый крепильщик, видевший с нар всю эту сцену, всю эту пантомиму, и кинулся на улицу. Через полчаса он примчался в бешенстве обратно.

— Не дал?

— Нет. Но завтра я — иначе, я встану у ларька и, если Федька хоть кому-нибудь попробует дать кусок, я подойду и потребую дать и мне. Не даст — к начальнику, и кончилась жизнь хлебореза Столбникова.

Бартенев был знаменитый крепильщик, неоднократно премированный, всегда получал все сплошь выписки, выдачи, пайки, но у него была 58-я, как у нас, и он через сутки был обречен на голод.

Вся эта сцена разыгралась ночью, поздно вечером, когда нашу зону запирали на замок, дежурный там стоял только днем. Но замок только закладывался, и снять его было легко. На следующий день Бартенев отправился в свою

принципиальную экспедицию. Через полчаса вернулся с куском хлеба грамм в 500. Вот в это время и получил свою посылку Лупилов.

И вдруг все изменилось. Оказалось, что все эти распоряжения об ущемлении на случай войны были сделаны по мобплану, составленному вредителями, какими-нибудь тухачевскими. Что Москва не утверждает всех этих мер. Наоборот, всех заключенных не считают врагами народа, а надеются, что в трудный час они поддержат родину. Паек будет увеличен до килограмма двухсот стахановский, шестисот — производственный и пятисот — штрафной, для отказчиков. Все переводятся на усиленное питание, вводится реестр питания, до каких-то отдельных блюд для выполнивших трехсотпроцентный план. Любое блюдо по желанию за красным столом рядом с начальником шахты, с начальником работ. Продукты будут только американские. Подписан договор с Америкой, и первые корабли уже разгружаются в Магадане. Первые американские даймонды, студебеккеры уже побежали по трассе, развозя на все участки Колымы пшеничную муку с кукурузой и костью. Миллионы банок свиной тушенки, бульдозеры, солидол, американские лопаты и топоры. Приказом было запрещено называть троцкистов фашистами и врагами народа. Начались митинги:

— Вы друзья народа.

Начальники говорили речи.

Многие подали заявления на фронт, но в этом было отказано. Правительство просит честно трудиться на благо родины и забыть все, что было, все, что было хоть бы в первые месяцы войны, все, что было на присках.

Зона к чертям, никакой там зоны для 58-ой. Меня вызвал к себе начальник ОЛПа Кучерской.

— Завтра не ходи на шахту, Шаламов.

— Что так?

— Есть работа для тебя. Я, смотри, решил дать тебе поручение, ты знаешь, что за работу? Колочую проволоку снимать с зоны 58-ой, где вы живете. [Нрзб.]

— Я с удовольствием.

— Я так и думал, что в тебе не ошибся.

— А помочь?

— Выбирай сам.

С кем-то, я уж не помню, сматывали мы на палки десять рядов колочей проволоки. Началась война, заключенных кормили во время войны на Колыме очень хорошо, стали кормить хуже после Сталинграда и вовсе вернулись к черному хлебу на другой день после окончания войны.

— Черняшка вот, пожуй, а то ведь воздух¹, сожрешь целый килограмм — и никакого говна. Все всасывается. Какая ж тут польза.

Лагерный паек — пайка, как говорят арестанты, — это главный вопрос арестантской жизни. С двадцатых годов начальство хочет получить давлением на желудок управление человеческой душой в самом таком грубом смысле. Именно конец двадцатых годов, перековка доказали, что увеличение тюремного пайка, умелое управление всей этой довольно сложной пищевой гаммой приносит невиданные результаты. Вместе с зачетами рабочих дней пайка служит самым эффективным инструментом общества в борьбе за план. Градации в питании родились на Беломорканале. Конечно, блатари обманули, как всегда, начальство. Пайки и освобождение приносила справка, которую можно было добыть простой угрозой, пригрозить десятнику, и ты уже ударник, стахановец, и ты уже на воле.

Беломорканал был разоблачением воров, но от самих принципов питания в зависимости от труда, «оплаты по труду», от шкалы не отказались, а наоборот, расширили. Всего было пять категорий: 1200 грамм, особая — план выполнен более 130 процентов; производственные, штрафная и этапная — 500 грамм. Заключенные порадовали создателей системы лагерного питания. Карточки стали менять раз в пятидневку. Увеличилась забота о подсчете, а следовательно, о сокрытии, смазывании цифр, о приблизительности. Условность была офици-

¹ Имеется в виду белый американский хлеб.

ально признана. На бригаду в 38-ом году давали несколько карточек по высшей, несколько по средней, несколько по производственной выработке. Бригадир распределял карточки сам, то отнимая, то отдавая. Ничего, кроме безобразий и произвола, из этого не получилось. В 1939 году перешли на стимуляцию по номерам. Первая категория — самая высокая, далее — вторая, третья, четвертая, пятая и шестая.

Джелгала. Драбкин

На Джелгале¹ я встретил много людей, которые, как я, были задержаны до конца войны в лагерях, которые «пересиживали»². По свойствам моей юридической натуре, моего личного опыта, бесчисленных примеров, что Колыма — страна чудес, по известной поговорке лагерников-блатарей, я как-то не волновался этой юридической формальностью, нарушением ее.

Я знал, знал еще с Вишеры, что лагерь — это такое место, где лишнего дня держать не будут по собственной инициативе, что остаться лишним днем в зоне после освобождения — абсолютно исключено. И начальство карается такой мерой, что никогда на это нарушение не пойдет. Не так было с моими новыми знакомыми по спецзоне, с моими попутчиками по этапу из Нексикана. Они вызывали начальников, заявляли протесты надзирателям, подавали заявления, телеграммы на имя Сталина, словом, старались использовать лагерную демократию всесторонне. И действительно, как бы отвечая на этот зов и протест, в спецзону приехал вновь назначенный начальник УСВИТЛа³ Драбкин.

Кровавые события 37-го года коснулись, конечно, и аппарата НКВД. Кто-то подсчитал, что наибольший урон НКВД нанес Берия, он расстрелял пятьдесят тысяч ежовских работников из расстрельного аппарата.

На Колыме был арестован и умер в магаданской тюрьме Иван Гаврилович Филиппов — член коллегии НКВД, бывший путиловский токарь, бывший председатель разгрузочной комиссии в Соловках, снятый в известном фильме «Соловки», направленный в чекисты еще в первые дни революции. Это было время чекистов-поэтов, когда Агранов был заметной фигурой в литературных салонах Москвы, Ягода покровительствовал Горькому и всем его затаям с трудкоммунами, когда следователь читал на память стихи Гумилева. Второй женой Ивана Гавриловича была библиотечкаша дома Герцена⁴, ездившая с мужем и на Вишеру, и на Колыму. Открывать Колыму Берзин взял Филиппова с собой. Еще в 1935 году, к 3-летию Колымы, Филиппов получил орден Ленина, а в 38-ом умер в магаданской тюрьме от сердечной слабости. Филиппова на посту сменил Гаранин, развивший бурную, кровавую деятельность. Гаранина я видел раз сорок во время его приездов на прииск «Партизан». «Партизан» был вроде центра борьбы с контрреволюцией. Расстрельные списки читались на всех поверках. Об этом я написал в очерках «Надгробное слово» и «Как это началось», входящих в мою книгу «Артист лопаты». Было ясно, что Гаранина вот-вот арестуют и расстреляют. Эта особенность системы была известна очень хорошо. Так и случилось. В декабре Гаранин был объявлен «японским шпионом» («родная сестра разоблачила» — по тут же спущенной вниз легенде) и расстрелян. Заместителем Павлова по лагерю стал Вишневецкий, но этого повидать я не успел.

В бухте Пестрая Дресва погибло более трех тысяч заключенных. Там заключенные должны были строить порт. Нужно количество продуктов туда было завезено и помещено на складах возле моря. Начались зимние шквалы, и во время одной из бурь все продукты смыло в море. Три тысячи человек умерли от голода, пока в Пеструю Дресву удалось забросить продукты. Вывести людей пешком не было, очевидно, возможности.

Павлов с помощью Гаранина расстрелял на Колыме гораздо больше людей,

¹ «За систематическое невыполнение норм выработки» Шаламов в декабре 1942 г. был отправлен с этапом из Нексикана в штрафную зону Джелгала, где он работал на прииске на общих работах до мая 1943 г.

² Срок по приговору 1937 г. кончился у Шаламова 12 января 1942 г.

³ УСВИТЛ — Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей.

⁴ Дом на Тверском бульваре, принадлежавший писательским организациям.

но маятник судьбы качался, шел в это время в сторону сбережения людского состава после гаранинских акций. Павлов отдал под суд Вишневецкого, и начальник УСВИТЛа исчез. Его не расстреляли, разумеется, а просто перевели куда-то вниз, на Большую Землю.

После Вишневецкого был, мне кажется, Дятлов, но судьба его мне не известна. Сейчас был Драбкин — он пробыл на должности несколько лет. Драбкина сменил Жуков из Ленинградского управления безопасности. После исчезновения Ежова силу стал набирать Берия, и на Колыму прибыл Жуков. Жуков был человек демократичный, подавал заключенным руку. Например, при объезде центральной больницы в 1952 году.

— Почему вы рапортуете «зэка»? Надо говорить не зэка, а заключенный. Не надо портить русский язык,— говорил Жуков старшему повару нашей больницы Юре.

После ареста Берии Жуков застрелился в Магадане. Какая сила управляет этими страстями, этими судьбами?

Возвращаюсь к Джелгале. В один из дней заключенных в бараках разбудили командой:

— Внимание, встать!

В барак вошла толпа людей в военных мундирах. Один из них вышел вперед.

— Вот я, позвольте представиться, Драбкин. Слышали?

Барак молчал.

— Я — самый главный на Колыме. Я — начальник УСВИТЛа, начальник вашего лагеря. Прошу задавать вопросы.

— Почему мы пересаживаем срок?

— То есть как пересаживаете срок — юридическая вольность какая,— весело говорил Драбкин своим спутникам-телохранителям.— Объясните.

— У нас кончился срок еще много месяцев назад, мы не были освобождены, и тут начальство не может объяснить, в чем дело.

— Где здесь начальник?

Местный работник предстал перед взором Драбкина.

— Что вы им,— жест в сторону заключенных,— не объяснили советских законов, что у нас никто не пересаживает срок? А вы,— Драбкин повернулся к задавшему вопрос,— разве вам не объяснили, что вы здесь находитесь до конца войны полностью на лагерном положении?

— Нам говорили в УРЧ — задержаны до конца войны, но никаких документов не присылали.

— Ах, вам не показывали документов. Ну эту ошибку я легко исправлю. Еще вопросы есть?

Вопросов не было.

— Вот видите, а то говорите — пересаживаем,— улыбался Драбкин.— У нас нет людей, которые бы что-то пересаживали.

И Драбкин удалился. Недели через две из Магадана действительно прислали каждому по выписке. На основании распоряжения правительства от такого-то и такого-то числа и года...

Суд в Ягодном

В карцере на Джелгале я сидел полтора месяца¹. Это была крошечная камера полтора на два метра, деревянный ящик глухой, куда воздух, свет и тепло попадали только через открытую дверь. До потолка я доставал рукой без труда. Это была часть штрафного изолятора, карцер штрафного изолятора, ибо в каждом карцере должен быть карцер еще меньше. Как изолятор был карцером для джелгалинской спецзоны, а сама Джелгала была карцером всей Колымы, а сама Колыма была карцером России. С этим чувством я и провел эти полтора

¹ В мае 1943 г. Шаламов был арестован по доносам.

месяца. Кормили меня — триста грамм, кружка воды и суп через день. Изолятор был построен по каким-то типовым чертежам, в нем была и большая камера с нарами, где было всегда много людей и откуда ходили на работу. Такие бригады были во всех РУРах. РУРы — это роты усиленного режима. О РУРе на приске «Партизан» в 1938 году написан мой документальный очерк «РУР». Такой же изолятор рабочий был и на Джелгале. Люди выполняли план, давали металл. Каждый день за работягами приходил конвой. Работали они где-то неподалеку, потому что на обед их приводили, дневальный за обедом, конечно, не ходил, но к обеду все было готово.

Бригада уходила на работу, а дневальный приносил грязную посуду и заставлял меня ее мыть, за это я доедал остатки, да и от своего обеда хлеб и юшку отдавал он мне за труды. Сначала он боялся, приносил в карцер воду для мытья, но началась весна, горячее колымское солнце сияло, лиственницы пахли. Дневальный осмелел, стал пускать меня мыть под струю воды: мимо шел желоб с текущей водой для промприбора, для бутары. Это был отведенный в желоб ручей.

— Вот вы не хотите свидания с Заславским и с Кривицким.

— Я уже говорил вам.

— Вы превратились в банду уголовных убийц, — орал [следователь] Федоров.

Я не понимал, в чем дело. Догадался только уже на воле, проглядывая газеты за эти годы. Именно в это время Сталин объявил, что троцкисты превратились в банду уголовников, сомкнулись с уголовниками.

— Так не хотите признать, что Кривицкий требовал от вас выполнения государственного долга?¹

— Кривицкий — подлец.

— А Заславский? Он говорит слово в слово...

— Заславский тоже подлец.

— А Шайлевич?

— Я не знаю, кто такой Шайлевич.

— Ну, с вашей бригады, бывший директор спортобщества «Динамо». Его из Ягодного...

— Никогда в жизни я Шайлевича не видел.

— Увидите еще.

— А если я попрошу вызвать моих свидетелей, ну, из той же бригады. Вот Федоров, Пономарев.

— Охотно, хоть десять. Как вы не понимаете, что я каждого пропущу сквозь свой кабинет и все они покажут против вас, все.

— Что верно, то верно. Как же быть?

— Ждать решения судьбы. Почему вы плохо работали?

— Я болел, а больной ослабел от голода.

— Напишите заявление, что вы больны и болели.

Я написал.

В ту же ночь дверь моего карцера раскрылась, и дневальный велел мне выйти. У стола стоял человек в старом полушубке. Это был врач из амбулатории. Я обрадовался.

— Как фамилия? — ясным голосом спросил врач.

— Шаламов.

— Национальность, инициалы.

— Варлам Тихонович.

Врач сел к столу, вынул медицинский бланк и ясным и твердым почерком написал: «Справка. Заключенный Шаламов В. Т. в амбулаторию номер один спецзоны за медицинской помощью никогда не обращался. Заведующий амбулаторией номер один врач В. Мохнач».

Врач сложил справку вдвое и вручил дневальному. Вот это был удар, федоровский удар.

¹ Кривицкий был заместителем бригадира и требовал выполнения нормы.

С доктором Мохначом судьба меня свела через несколько лет в центральной больнице. Мы вместе ждали этапа в Берлаг в 1951 году. В присутствии киносценариста Аркадия Захаровича Добровольского я спросил у Мохнача:

— Вы не работали когда-нибудь на Джелгале?

— Как же, — ответил Мохнач. — Я в 43-ем заведовал амбулаторией. Там две амбулатории, так я вот заведовал амбулаторией номер один.

— А не помните ли вы, Владимир Ануфриевич, — сказал я, — как вас вызывали ночью в изолятор к следственному арестанту.

— Нет, не помню.

— Вы написали ему справку, что он никогда в амбулаторию не обращался.

— Мало ли справок мне приходится давать.

Тогда же, в больнице я выяснил, что он зря щупал мой пульс в джелгалинской амбулатории. Доктор Мохнач не был врачом. Не был даже и фельдшером. Он был химик и в больнице работал в лаборатории. В «Литературной газете» года два назад возникло какое-то целебное лекарство, над которым его автор работал уже сорок лет. Идея эта автору, по сообщению в печати, пришла в голову где-то на Колыме. Этот изобретатель и есть Владимир Ануфриевич Мохнач, доктор колымского Освенцима, сыгравший такую, мягко выражаясь, незавидную роль в моем процессе.

Мохнач ушел, а я лег на пол около двери — я дышал через щель снизу — и постарался заснуть.

На следующий день дневальный принес хлеба побольше.

— Скоро, наверное, кончится следствие.

— Это Федоров знает.

— Да. Федоров сказал, что вы крупный партийный работник и что ваш процесс будет иметь мировую прессу.

— Наверное, — сказал я, никак не понимая, к чему затеян этот странный разговор.

— Не понимаете? Это он мне давно сказал, вначале еще. И я подумал — если я вас немножко подкормлю, мне зачтется.

— Зачтется, непременно зачтется.

Именно эта подкормка и дала мне возможность добраться до суда. К худу или к добру — не знаю.

Следствие кончилось, и меня должны были доставить на суд в трибунал Северного горнопромышленного управления. В июне Федоров нашел двух оперативников, которые должны были доставить людей без возврата, ибо осужденный на Колыме не возвращается в то место, откуда он прибыл на суд. Оперативники эти повели меня по тропам, но я идти не мог, ослабел в карцере, да и до карцера. Оперативники принялись меня кормить, дали целый килограмм белаяшки, которую я запил ключевой водой. Запил — ослабел еще больше и двигаться не мог. Тогда они принялись меня бить, били часа два. Было ясно, что в Ягодный они уже опоздали. У меня много зубов выбито на Колыме прикладами и зуботычинами бригадиров, десятников и конвоиров. Кто именно выбил, я не помню, но два верхних зуба выбиты сапогами этих оперативников, именно это я помню, как будто это случилось вчера.

К ночи мы выбрались к трассе — 18 километров. Десять по тропам. Тут они закинули меня в машину, сели сами и приехали в Ягодный, сдали в изолятор, набитый так туго, что дверь [откидывалась] от давления людей, их вещей обратно, боец приставил к двери меня, и силой несколько человек вжали в тюремную камеру.

Тут же меня обыскали блатарские руки — до нитки, нет ли где-нибудь благословенного рубля или десятки. Все было перещупано, и меня оставили в покое. Горела кожа, я обжег все лицо, руки, но еще больше мне хотелось спать. Я и спал до обеда, а в обед вызвали на суд.

Суд, единственный гласный суд в моей жизни, открытое заседание трибунала проходило в Ягодном 22 июня 1943 года. Были свидетели: Кривицкий, Заславский и третьим оказался Шайлевич, которого до суда я ни разу не видел. Тем не менее он очень бойко показывал, что я — враг народа, восхвалял гитлеровское

вооружение, считаю Бунина — классиком. Я повторил свои суждения о Заславском и Кривицком, потребовал отвода, но суд не удовлетворил ходатайства. Был тут и бригадир Нестеренко, который говорил, что за мной он давно следит как за контрреволюционером, борется с лодырем и врагом народа. Мне было дано последнее слово. И в последнем слове я сказал, что я отрицаю всю эту клевету, я не могу понять, почему на прииске Джелгала третий процесс по контрреволюционной агитации среди заключенных, а свидетели едут все одни. Председатель сказал, что это к делу не относится. Трибунал удалился на совещание. Я ждал расстрела — день был нехорош, годовщина начала войны, но получил десять лет.

Заседание трибунала шло в темной, странной комнате, едва освещенной какими-то лампочками, то загорающимися, то тухнувшими. Все свидетели сидели плотным рядом на скамейках, тесно сдвинутых. Моя скамья была притиснута прямо к барьеру, и при желании я рукой мог достать до сапог председателя трибунала. Конвой, втиснутый тут же, дышал мне в спину. Конвоир, охранявший свидетелей, дышал в спину свидетелю. После приговора меня увели обратно в ягоднинский изолятор. Начиналась одна из самых трудных полос в моей колымской жизни.

Кажется, прошел и десятый круг ада, оказывается, есть круги еще глубже.

Итак, 22 июня 1943 года я вышел на ягоднинскую пересылку, как бы заново рожденный — с новым сроком в десять лет. Лагерный промежуток с 12 января 1942 года по 22 июня 1943 года так и выпал из моей служебной биографии. Целых полтора года жизни после окончания одного приговора до начала второго так и не были юридически оформлены никогда. Неизвестно, жил ли я на земле в это время, был ли на небесах. В раю? В аду?

Я запрашивал лагерные учреждения, что мне было нужно для стажа, и получал только справки об этих двух сроках. А эти — самые трудные полтора года в жизни моей — так и не отразились ни в каком официальном документе. Находился я на Дальнем Севере с августа 1937 года по октябрь 1951 года, вплоть до моего освобождения по зачету после десятилетнего приговора. «Документов не сохранилось» — такая у меня есть справка.

В общем-то мне это совершенно неважно, так что товарищ Драбкин может быть спокоен, юридических претензий к моему статусу «пересидивающего срок» нет у меня.

Витаминная командировка

Какая у меня была первая работа после непродолжительного знакомства с упомянутым Федоровым и осведомителями Заславским и Кривицким, закончившегося десятилетним сроком.

Я едва стоял на ногах и был равнодушен к своей судьбе. С Ягоднинского ОЛПа, так называемого комендантского ОЛПа, транзитки северной лагерной, меня перевели на швейную фабрику, где, кроме швейного цеха, был еще пошивочный цех. Мастер цеха обучал меня в числе двадцати или тридцати человек держать иглу, шить. Работа была превосходная, но и с этой работой мне было не под силу [справиться]. Я что-то делал, едва двигался, запинался за каждую щепку и внезапно понял, что я теперь доходяга, как на «Партизане» в 1938 году, но это мне было все равно. Табельщиком в этой швейной мастерской работал Слуцкий — старый еврей, один из авторов учебника по истории Западной Европы. Фридлянд и Слуцкий — так назывались эти авторы. Мне кто-то его показал и назвал. Но все это было не нужно и не важно мне. Я мог думать только о еде, о сне.

Начальство решило, что куда-то меня приставить нужно. Начинаются скитания по витаминным командировкам. Я попал в штаты пищевого комбината. Первая же работа кончилась для меня чуть ли не арестом. На витаминных командировках битье поручают бригадирам и конвоирам. Меня били тут очень много. Документальный очерк «Ягоды», документальный очерк «Кант» написаны именно об этом времени. Не случайно первые мои рассказы вызваны в памяти днями особенного голода. Если на прииске хоть чем-нибудь кормили, хоть бурдой, ибо много крали конвоиры, надзиратели, блатары — везде, кроме больницы, то на витаминной командировке именно на жизнь-то, на «виту» и не оставалось ничего.

Старые заключенные как-то приспособивались, носили дровишки вольным десятникам, ягоды собирали конвоем, ходили пилить дрова начальнику. Я тоже все это делал — напарник всегда нужен. Но все это поправить, вернуть к здоровой жизни не могло. С каждой командировки меня гнали на другую, предварительно избив и обсчитав, ибо ведь что-то я делал, как ни ничтожно было количество палок — дров, которые я приносил в лагерь, как ни малы кубометры грунта, которые я добыл своей лопатой из канавы, — ведь что-то я делал. Результат моего труда всегда, во всех случаях, приписывали другим. Но это тоже мне было все равно.

Я чувствовал, что тяжело болен. Но амбулатории на витаминных командировках не было, а разъездные фельдшера никаких болезней у меня не находили. Я давно утратил [ощущение] разницы между вареным и сырым, горячим и холодным. Я глотал все, что попадалось на глаза. И, помню, бесконечно был счастлив, когда, выскочив утром на улицу, нашел несколько корок, совершенно свежих, еще теплых корок хлеба, брошенных проходившим десятником. После я несколько утр выскакивал на мороз, но корок больше не встречал. На витаминных командировках норма питания много меньше присковой. Да еще украдет конвой, бригадир. Передовиков там нет. Обычно даже на больших командировках кормили два раза в день, и на второй раз, кроме супа, ничего не бывало. Все, что положено вареного, — с утра, и хлеб подается с утра, чтобы заправляться и работать. Хлеб — это шестисотка, конечно, мяса там не бывает никогда, ибо по таблице замены белковую часть обеспечивает селедка. Именно селедка, селедкой живет Колыма заключенных. Это ее белковый фонд. Надежда. Ибо для доходяги нет надежд добраться до мяса, масла, молока или какой-нибудь кеты или горбуши.

43-й год остался в моей памяти какой-то полосой бесконечных отморозений, битья, холода, доплываний на этом целебном витаминном комбинате.

На командировках «щиплют» стланик, рвут иглы из стланика, их пихают в мешок и увозят автомашины на Таскан, там пищевой комбинат, где варят стланик — омерзительный экстракт, который заставляют всех ээка пить в столовой перед обедом. Ставится конвой, чтобы пили. Омерзительный вкус держится во рту не менее часа. Стало быть, как ни ничтожен обед, он испорчен, вкусовые качества потеряны.

В 37, 38, 39, 40, 41, 42-ом цинга хлестала присковых людей, валила с ног, ноги, десны пухли от цинги и пеллагры. От пеллагры у меня сходили с рук перчатки, с ног — концы ступней, кожа всегда там шелушилась.

Это записано в истории болезни, которая когда-то хранилась в больнице. Кожная моя перчатка была на выставке на врачебной конференции в Магадане. Но все это было позже. А в 1943 году я щипал стланик и опухал от цинги. На «Партизане» в 1938 году я опухал от цинги, зубы шатались, и кровь с гноем натекала в ботинки, или, вернее, в «чуно» — резиновую галошу, ботинок заключенным на приисках не давали в гаранинские времена.

На этих витаминных командировках на моих глазах умер Роман Романович Романов — бывший комендант на прииске «Партизан». Я часто наблюдал, — заключенные ведь не могут оторвать глаз от продуктов на вахте, когда раздадут посылки. Романов управлялся с этим делом, посылки разбивал, ломал, куски сахара летели на пол, табак просыпался, сухари смахивались торопливо, чтобы немелой рукой, на пол. После раздачи все эти куски и крохи оставались, очевидно, на долю Романова и его товарищей с вахты. Роман Романович был царем на «Партизане», когда пришел наш этап. Я и не сомневался, что это вольнонаемный, партийный даже человек. И вдруг оказалось, что его арестовали, судили по берзинскому делу. Сейчас он прибыл на витаминку полумертвецом. Он умирал в углу. Начались холода. Топора в палатку, обложенную мхом, не давали, и печку топили с пола тремя стволами, втолкнутому в печь и горящими по закону трех головней. Вот тут-то и умер Романов, прижался к печке холодной. Я заталкивал эти деревья в печь, поддерживая огонь. Было как-то безразлично — буду я спать или не буду. Едва Романов захрипел, а товарищи уже отматывали его портянки. У Романова были хорошие портянки из одеяла, типичные портянки колымских доходяг, когда одеяло отрезано, но еще греет, если им окутать лицо, а главное, числится по

[реестру], а портянки — обменная личная собственность арестанта. Я завел себе котелок жестяной из трехлитровой банки, точно такой же, как у меня был на «Партизане» в 38-ом году, который начальник ОЛПа лейтенант Коваленко пробил кайлом собственной своей рукой и растоптал. Уничтожение личной посуды заключенных описано мной в очерке «Посылка».

Наконец, пришел и мой час. У меня началась дизентерия. Неудержимый понос сотрясал все тело. Пока я добрал до фельдшера, понос ослаб, температурного термометра у фельдшера не было, но обошлись и без термометра. И я был записан на прием к врачу. Врач вышел со мной на двор.

— Ничего нет?

— Нет.

— Ну, поедешь обратно.

С большим трудом моему кишечнику удалось извергнуть каплю зеленоватой слизи. Врач выписал путевку в больницу Беличью. Вот эта больница Беличья, фельдшер Борис Николаевич Лесняк и Нина Владимировна Савоева, главный врач этой больницы, и спасли меня для жизни.

Если жизнь — благо.

Больница Беличья была всего в шести километрах от витаминки и комендантского ОЛПа. Но пройти эти шесть километров законным путем мне удалось за шесть лет.

Беличья

Автомашина — я был в ней единственным грузом — мягко съехала с трассы и сразу сбавила ход, подпрыгивая на выбоинах, петляя по единственно возможным проездам, кое-как выбираясь к ночному, ничем не освещенному дому, бараку. На крыльце зажегся свет, кто-то с «летучей мышью» пошел вдоль барака, потом вернулся.

— Где больной?

Впервые за шесть лет меня назвали больным, а не падлой или доходягой.

— Вот.

Вслед за провожатым я пошел, волоча ноги, спотыкаясь о каждую выбоину пути, обходя какие-то лужи, выбираясь на тропки.

— Вот на это крыльцо.

Мы вошли в огромную брезентовую палатку, старую военную палатку, заставленную кроватями с сетками и деревянными топчанами. Везде дышали, крихтели, стонали люди. Провожатый снял бушлат, надел на плечи, выпустил заткнутый за полы белый халат и оказался доктором Лебедевым.

— Сначала сюда, — он указал на крошечный кабинет.

— Мне в уборную.

— Ну, тогда не сюда. Александр Иванович!

Из мрака возникла огромная фигура, закутанная во множество халатов, в шапке зимней, с какой-то дощечкой в руках.

— Вот запиши его и — каждый час. Утром скажешь.

— Есть, иди сюда, — сказал кто-то с сильным грузинским акцентом.

Александр Иванович оказался бывшим секретарем Закавказского крайкома, которому было доверено дело величайшей важности — разоблачение симулянтов дизентерийников-пеллагрозников.

Александр Иванович должен был проверять стул больных: кто сколько раз сходил, какого цвета стул. Консистенция, цвет и частота стула имели решающее значение для лечения дизентерии. И скобленная многократно фанерная доска была основным [нрзб], отличающим симулянтов документом.

Время от времени больной вскакивал и судорожно мчался в уборную с закрытым «очком». На «очке» лежала доска. Вот на этой-то доске и должны были опраляться больные и ждать, пока Александр Иванович не посмотрит стул. Фанерная доска Александра Ивановича была разграфлена на несколько вертикалей — цвет, количество, консистенция, запах — и бесконечное количество линеек, на которые вносились фамилии больных.

Александр Иванович записал меня на последнюю линейку, отметил какой-то кружок или параллелепипед внизу доски и осмотрел мой кал. Александр Иванович был удовлетворен осмотром.

— Вот так и будешь, меня толкнешь и покажешь свой стул.

Опрос во врачебном кабинете был недолгим, все ныло у меня, все болело — раны незаживающих отморожений 38-го года. Человек в белом халате отвел меня на место, койку где-то посреди палатки, короткую по моему росту, покрытую одеялом, выношенным до чрезвычайной тонизны, но чистым одеялом, с подушкой, в которую было набито сено, колымское непахнущее сено. Тонкая подушка чуть прикрыла подголовник деревянный, вытянутые ноги свисали с топчана. Но я тотчас же погрузился в сон, в забытье, арестантский сон, которым я много лет спал на Колыме, с трудом отличая его от яви.

Ночью я очнулся мгновенно — не от голосов, от присутствия каких-то людей. Доктор Лебедев показывал на меня кому-то незнакомому, и кто-то незнакомый говорил:

— Да, да. Да. Да. Да.— И потом сказал непонятно.— Из счетоводов?

— Из счетоводов, Петр Семенович.

На следующий день заведующий первым терапевтическим отделением доктор Петр Семенович Калембет, бывший преподаватель Военно-медицинской академии, осмотрел меня, осмотрел без всякого интереса.

— Только положите его не здесь. Поставьте его койку рядом вон с той, с голубой. Поняли? А лечение, как обычно, стол — первый.

Меня сейчас же перевели рядом с голубой койкой. На ней лежал опухший белой [нрзб] опухолью больной. Следы пальцев оставались на [его] ногах. Но больной не замечал этого — все что-то говорил, говорил, радовался, смеялся.

— Ну, знакомьтесь,— сказал Калембет,— вот вам товарищ-земляк.

Белый, опухший, похожий на утопленника больной был Роман Кривицкий¹ — бывший ответственный секретарь «Известий», автор ряда статей на темы воспитания, да и брошюры у него какие-то были.

— Да вот,— Роман Кривицкий рассказывал о себе, об аресте, о гражданской войне, в которой участвовал комсомольцем, о Бухарине, о газете [нрзб] тех лет.

— Ну, как здоровье?

— Я уже поправляюсь,— со смущенной торопливой улыбкой сказал Роман Кривицкий.— Скоро уже выпишусь. Вот ослаб только — на отметки к Александру Ивановичу не успеваю. Замерзаю только тут. Спасибо Петру Семеновичу, велел выдать одеяло добавочное. Скоро и на выписку.

К вечеру Роман Кривицкий умер.

— Это Петр Семенович хотел отвлечь его, поставив вашу койку рядом с ним. Не вышло.

— А что значит — из счетоводов?

— Из интеллигентов. Это у Петра Семеновича такая поговорка. И вы — счетовод, и я — счетовод, и он сам — счетовод. Для краткости.

Так сказал мне фельдшер Лебедев, которого я поначалу принял за врача. Лебедев же был колымский фельдшер-практик без медицинского образования, преподаватель физики, что ли. Калембет же был преподаватель Военно-медицинской академии по курсу внутренних болезней. Он был осужден в 1937 году на десять лет по 58-ой статье.

Я стал немного приходить в себя. В отделение часто приходил молодой фельдшер из хирургического отделения Борис Николаевич Лесняк. Лесняк был арестован студентом последнего курса медицинского института в Москве. Отец его умер, а мать была в ссылке. У Лесняка был срок восемь лет по 58-ой. Прекрасный художник, ученик скульптора Жукова. Он лепил, учил стихи, писал стихи и рассказывал. Колымская колесница не раздробила, напротив, закалила и выдрессировала [его] для активного добра. Неисчислимо количество людей, которым помог Лесняк. На общих работах он не был, сразу попал по специальности.

¹ Однофамилец Кривицкого, упоминаемого в главе «Суд в Ягодном».

но это как бы дополнительный нравственный долг создало — поставило новые задачи. Он был в хороших отношениях с главным врачом Ниной Владимировной Савоевой, полной хозяйкой Беличьей, членом партии. Из партии Нину Владимировну исключили за связь с зэка. Предложили выбор: или партбилет, или Лесняк. Савоева отказалась от партбилета.

Когда Лесняк кончил срок, она вышла за него замуж, но в партии не восстановилась, специализировалась на хирурга и много лет живет в Магадане. У них есть дочка — уже невеста.

Так вот Беличья и была местом, где шла борьба за сохранение жизни именно интеллигентов, которых Калембет звал счетоводами.

Борис приходил ко мне каждый вечер, приносил кусок хлеба, табак в газете — сделал меня важным человеком в палате. День ото дня мне становилось ясно, из долгих разговоров выяснилось, что я ничего делать не умею, не обучен ничему, кроме копки канав, что у меня нет ну буквально никакой специальности, ремесла или любимого занятия, кроме чтения книг и стихов.

— Тебе надо остаться санитаром при больнице. На истории болезни. Так во всех отделениях. Будешь носить обед, мыть пол, утки подавать, температуру мерять, подумай.

— Что же думать, это было бы счастье, но я ведь ничего не умею.

— Я поговорю с Петром Семеновичем, а ты тоже его попроси.

Я попросил Калембета. Он одобрил.

— Это правильная линия. Вот скоро Максим уйдет, ты его и заменишь.

Поскольку я уже включался в санитары, Петр Семенович перешел со мной на «ты». Я ему говорил «вы». Так заведено на Колыме. Это правильно — автоматизм врачебного мышления мешает ему санитару называть на «вы». Да это прежде всего неудобно было бы самому санитару.

Настал час, когда за Максимом пришли звать в этап. И фельдшер из бытовиков Михно, чьей кандидатурой был Максим, уверенно потребовал оставить Максима.

— Я уже говорил, — сказал Калембет, — Максим уедет.

Я надел еще теплый санитарский халат Максима и принялся за уборку, сопровождаемый осуждением фельдшера Михно и недоброжелательными взглядами всей палаты. Кого-то ставили из своих, да еще на живое место. Но после приска и витаминки моральный барьер у меня был несколько понижен, наверное. Я ночевал в комнате, где было два топчана: мой и Михно. Михно пришел поздно ночью совсем пьяный.

— Ты, блядь, иди, сними сапоги. Не будешь? Ух, блядь!

Сапог полетел в мою сторону.

— Всех вас разоблачу!

Я не сказал, конечно, об этой первой ночи никогда и никому. Сейчас рассказываю впервые.

Вечером, как всегда, пришел Лесняк.

— Теперь ты имеешь две недели, по-колымски это срок огромный. За это время ты должен сделать то-то и то-то. Даже если месяц здесь пролежишь, — весь срок ведь лежать не будешь, — то помни вот что: место выбивай сам. Добьешься — направят в больницу, больница поддержит, положат тебя. Месяц пролежишь — потом опять.

Калембет не очень ладил с главврачом и вскоре перешел на Эльген, где был начальником санчасти. Он был освобожден в срок в 1947 году. И сразу выяснилось, что переход в новый статус не прост. Выяснилось, что и за человека не хотят считать, — клеймо бывшего заключенного снять было нельзя. Тогдашний начальник санотдела подполковник Щербаков носился по трассе, угрожая бывшим зэка сделать их сущими зэка, вмешиваясь в их жизнь. Так он поступил с Траутом на Дебине, когда тот хотел уехать на материк, — его не отпустили. Неизвестно, какие разговоры были у Петра Семеновича Калембета, только он в 1947 году в своем же кабинете на Эльгене покончил самоубийством. Как врач он точно дозировал морфий, ввел шприцем раствор. Калембет оставил записку: «Дураки жить не дают».

Ася

— Если уж ты хочешь с кем-нибудь советоваться, давай поговорим с Асей. Она плохого совета не даст.

Ася с удивлением прочла бумагу¹.

— Это только в нашей семье может случиться такая подлость. Таких случаев тысячи, десятки тысяч. Вы ему скажите, пусть он сам донесет. Вам будет проще отражать такие удары. Лезть самому в петлю...

— Я их не боюсь,— сказал я.

— Ну, это достоинство в глазах женщины, а не государства. Ты пойми,— заговорила Ася, обращаясь к сестре,— что он пройдет премьерой, будет премьером самой тайной премьеры, которая готовилась в секрете столько лет. Он получит самую высшую меру! Ничего другого он получить не может.

— Мы уже решили писать,— поджав губы, сказала жена.— Надо поставить все точки над «и», в конце концов.

— Впереди еще много точек над «и»,— сказала Ася,— и много многоточий.

— Собственно, мы не за этим к тебе и пришли.

— А зачем же?

— Кому именно послать, на чье имя?

— Там приличных людей сейчас нет,— резко сказала Ася.— Я ведь знала людей круга Дзержинского, ну, Менжинского. Впрочем, там есть один человек самый приличный. Он много лет работает и показал себя очень хорошо. Это начальник СПО Молчанов. Вообще-то он латыш, Молчанов его псевдоним. Вот в его ящик. У него и ящик там свой есть. Вообще-то лучше бы такую глупость не делать.

Мы поцеловались, и больше в своей жизни Аси я не видел.

Письмо мое лежало в ящике Молчанова до того часа, пока не был арестован и расстрелян сам Молчанов. Письму моему был тогда же дан законный ход.

Ася была арестована в 1936 году, за две недели до нового года. За две недели до ареста у нее умер муж Володя, с которым она дружно прожила на Арбатской площади. На его поминках Ася сказала задумчиво:

— В сущности Володя был счастливый человек.

— Почему вы так думаете?

— Ну, никогда в тюрьме не сидел.

Ася была приговорена к восьми годам сурового тюремного заключения, а в 1939 году отправлена на Колыму, на Эльген, ибо природа не терпит безделья заключенных. Но мы не встретились, не списались, ибо Колыма устроена еще и так, что за сорок километров рядом можно проехать через Москву, к тому же я доплыл еще в 1938 году навеки и продолжал доплывать многократно, то подплывая к спасению, то отталкиваясь от него.

Потом началась война. Меня судили в 1943 году, добавили десять и вот в этом безнадежном положении судьба и привела меня в места...

— Повторите, как вас зовут?

Я повторил.

— Где вы родились, где арестованы, надо сообщить... Но такая кость, грязь, цинга...

— Отмоем.

— У вас нет [на Колыме] родственницы?

У меня нет никаких родственников.

Но санитар был поопытнее.

— У вас нет родственницы по фамилии Гудзь, родственницы Гудзь?

— Нет.

¹ По настоянию родственников жены Шаламова Г. И. Гудзь он написал в 1936 г. заявление в НКВД с отречением от «троцкизма». Особенно категорически требовал этого брат жены. Родственники считали, что это заявление спасет их от репрессий.

— Я говорил, что это не он, одних вшей там пуд.

Я заснул и проспал еще сутки.

— У вас нет родственницы по фамилии Гудзь? Нет? Сейчас с вами будут говорить...

Москва? Дальняя зимовка? Генеральный секретарь ВКП(б)? Санитар продолжал трясти меня за плечо, и как будто это имя было выше только что перечисленного — Москва. Антарктида, Генеральный секретарь: главный хирург центральной районной больницы для эска Валентин Николаевич Траут.

— У вас есть, отвечайте на вопросы прямо и честно, глядите мне в глаза, у вас есть родственница, сестра, сестра вашей жены Александра Игнатьевна Гудзь? Слушайте меня внимательно! Родственница эта ищет вас, она находится в сорока километрах от вас. Я могу отвезти ей записку от вас!

Записку? Разве этими пальцами я напишу, могу написать какую-нибудь записку? Я могу писать только кайлом, топором, лопатой. Да и притом все это чушь, чушь.

— У меня нет никаких родственников на Колыме.

Траут в бешенстве перешел на блатной жаргон, на феню.

— Тебя, тварь, в натуре ищет родственница, разыскала, объявилась.

— Табачку дайте скорее.

— После получишь, как сознаешься. К тому же сам не курю, не занимаюсь этим. На вот, соси, тварь.

Кто-то сунул мне в рот окурочек газетной сигарки. Я отдышался, затянулся, и в мозг как бы скользнуло новое, не нужное даже для моего иссохшего мозга известие. Известию надо было пробиться через многие препятствия. Речь идет об Асе, Асе — Александре Игнатьевне Гудзь, оказывается, она и есть Ася. Меня заставляли написать записку. Записку! Асе! Смех да и только! А что писать?

— Да что хочешь, то и пиши.

Я написал: «Ася, мне очень плохо. Перешли мне хлеба и табаку».

— Вот, видите, — комментировал Лесняк, — глубокая стадия дементивного процесса. После того, как собирал миски в столовой, собирал окурки. Я живу рядом и не собираю ни окурков, ни корок. Это распущенность просто, знаете, слабая воля.

— Ну, что же ответить Александре Игнатьевне? — сказала Савоева, в квартире которой и шел этот разговор.

— Пусть забудет своего неприличного родственника, — сказала княгиня Чиковани. — Я напишу Асе, что это безнадежный случай.

— Я это все скажу ей сам завтра, — сказал Траут, подводя итоги этого консилиума.

Но Ася не поверила записке.

— Я требую личного свидания. Увижу его сама, поговорю и решу.

Стали готовить медицинские документы на отправку этапом в больницу Беличью заключенной А. И. Гудзь.

— Завтра, завтра придет Ася, и вы сможете с ней поговорить у меня в кабинете. Она кладется на обследование, пробудет здесь неделю, — кричал мне Траут.

— Завтра придет ваша родственница, — сообщил мне фельдшер Борис Лесняк, никогда не бывший на общих работах.

Но это завтра не наступило, Ася умерла. Ася умерла от крупозной пневмонии, захватив воспаление легких, пока она обливалась ледяной водой — ее всегашний режим. Но лед Москвы, ветры Москвы это вовсе не то, что лед Колымы, ветры Колымы. Там правят другие законы, чисто физические и тем не менее не только физические.

Асю похоронили на Эльгене. Было ей всего сорок семь лет.

А меня выписали на общие работы в самом обычном порядке. Я уже успел что-то понять в Колыме, открыть одну из ее тайн — явился в следующий раз на госпитализацию форменным доходягой.

Двигаясь от больницы до забоя, я провел несколько лет до [того] самого мо-

мента, как сам кончил фельдшерские курсы и уже не зависел от врачей и фельдшеров — ни от Траута, ни от Савоевой, ни от Лесняка, ни от памяти Аси.

Но [суть] именно в памяти, в смерти Аси, в этой драме эльгенской, ибо сульфидин и пенициллин уже были в природе, но на Эльгене их не было. Ася умерла в несколько дней и почти в сознании.

Наравне со мной тогда подставлял свою глотку и Варпаховский, и такой субъект, как Шпринк, который говорил, что он поэт Всеволод Рождественский. Каждый спасается, как может. Разумеется, выдавать себя за Рождественского лучше, чем писать донос.

Группа Савоевой, как и полагается, боролась с другими группами за влияние, место под солнцем, территорию.

Чем это хуже, чем начальник управления, который торговал табаком или чаем?

Спасли меня от смерти, падения фельдшерские курсы. Это уже было кое-что!

Вот на этих-то курсах студентка, моя соученица Елена Александровна Меладзе и передала мне последнее Асино — копию заявления в Центральный Комитет партии. Ася не была членом партии, но действовала, как «истинный член партии в трудных обстоятельствах», как сказано в партийной реабилитации Раскольникова. Ася умерла, и нарушить ее последнюю волю было вполне допустимо — я подарил завещание Аси¹, написанное той же самой разборчивой черной гуашью, Меладзе.

Беличья была самой обыкновенной «кормушкой», от которой отгоняли врагов, не считая нужным замечать, что друзей на полярном воздухе не существует и тот, кого отгонят, — умрет. И приближали к «кормушке» своих, которые тоже черпали мало.

После смерти Аси меня отогнали, как вшивую падлу, быстро выписали, койко-день есть койко-день. Но я уже понял, что даже несколько дней перерыва могут продлить пусть не нужную мне самому жизнь.

Я просто приспособился к свите Савоевой и прихватывал, что давали, не жалуясь и не благодаря.

Жратва — это с обычной большой кухни, и мне выносили остатки или давали ртыться в отбросах наравне с целым рядом других, явно уголовного рода.

На Траута действовала и физическая крепость Аси, ее резкая южная смуглая красота, ее громкое имя, ее привлекательность, всегда отличная спортивная форма, фигура, за которой Ася следила, не снимая средства медицинской и народной косметики. Асе было сорок семь лет, и все внимание было обращено на борьбу с этим рубежом: массаж, поразительного действия массаж, косметика, ежедневные обязательные обливания, ежеутренние растирания снегом на холодном воздухе: водой в Москве, ледяным песком — в Магадане.

— И уж если Ася-матушка, Ася-голубушка захотела лично наложить персты на цинготные раны этого проходимца, [он] просто не может быть тем человеком, которого ждет Ася-лапушка, — ведь он дважды побывал в спецзоне, в этой Джелгале, это что-нибудь значит — туда и один-то раз не посылают, да еще возвращенец... Неопрятный вечно и притом из магаданской тюрьмы 39-го года... Надо отвести нашу лапушку от этого авантюриста!

Вот почему я враг лучшего и признаю только хорошее. Хорошее — это жизнь, а лучшее — это может быть и смерть. В нашем примере хорошим была жизнь Аси.

Отложен был отъезд Аси на один день. По заверению специалистов, лично не голодавших, в числе их были Лесняк, Траут, Савоева, Калембет и Пантюхов, я мог ждать Асю, как какой-нибудь фараон Эхнатон. Разница тут была невелика.

Ася могла бы спешно приехать с Траутом... Но все медики ей говорили, что это не я, что это какая-то Асиная ошибка, бзик.

¹ Т. е. письмо в ЦК ВКП(б).

— Мы все пережили заключенными известный канонизированный геноцид 1938 года. Но сейчас ведь не 38-ой год, а 43-й. В войну пайки не убавлены, а прибавлены. Этот живой мертвец с витаминного ОЛПа, разве на витаминном ОЛПе нет жизни? Когда получил известие о вас, потребовал табаку. Ну, скажите, Ася-голубушка, ваш муж, отец, брат, сын попросил бы у вас табаку в такой ситуации? Он напомнил бы вам об истории русского костюма, которую вы с ним писали. Или какое-нибудь светлое мгновение жизни вашей семьи, какую-нибудь тайну семейную приоткрыл... А тут — табак.

Сказала жена Траута, вольнонаемная акушерка Эльгена:

— Я думаю, что Александре Игнатьевне будет даже неприятно встретиться с таким подозрительным доходягой, да еще хвастается сроком. Он не может ее знать ни по воле, ни по тюрьмам и пусть не тянет свою грязную руку в такое общество.

— Да ведь не он ее ждет, а она его. Все совпадает, срок, рождение, все личное дело сходится, нужна только его личная записка.

— Ну, будите!

— Это не он, не он, — каркали санитары, и под это карканье я заснул.

В тот же день вечером поздно, еще не погас отбойный свет, лампочка мерцала трижды и запылала, и я еще не заснул, мне подали ответ, который мне привез с Эльгена Траут.

— Почему так скоро? Тут же сорок километров.

— Эльген — его участок, он бывает там очень часто, чуть не каждый день.

Письмо в белом самодельном конверте, не заклеено. Черной гуашью, разборчивым редакторским почерком Ася писала: «Я искала тебя с самого первого дня, как вступила на колымскую землю. В сороковом году я искала тебя вместе с Анатолием Василенко, который был твоим начальником на Черном озере. У нас он работал в ларьке. Из поисков тогда ничего не вышло. И вдруг такая неожиданность, узнаю, что ты просто рядом, ничего больше не пишу, жди меня завтра, и мы обо всем поговорим».

Спокойный

В моем характере нет услужливости. Поэтому я не мог стать хорошим санитаром, хотя возможность к этому была. И, понимая, что ненависть моя сильнее меня, я и не пытался сделать карьеру санитаря. Работа фельдшера, да фельдшера с курсов — государственных, с дипломом, хотя бы и лагерным, — это другое дело, это было по мне. Но тут я был вовлечен в водоворот интриг, склок, провокаций, личных счетов до последнего часа моего пребывания на Колыме.

Как я попал на Спокойный, на открытие прииска, где мне было всего хуже? И когда?

Из комендантского ОЛПа, с Ягодного, когда лейтенант Соловьев меня вызвал и сказал:

— Вот, Шаламов в этом списке, отправляют плотников на новый прииск. Я вышел из толпы.

— Я не плотник, гражданин начальник.

— А, ты здесь. Ты и не едешь как плотник, ты едешь как штрафник.

— Штрафник? Какой же я штрафник, гражданин начальник?

— Ну, брось травить. Я не забыл, как ты от меня бежал в Беличьей.

А такой случай действительно был. Он описан мною в рассказе «Облава» — о том, как я выскользнул из цепи конвоиров и ушел в тайгу, дождался, когда этап ушел, вернулся, рассчитывая, что если я нужен, то меня дошлют. Но было не нужно, и я прожил еще несколько месяцев в больнице.

Так и случилось. А потом я наткнулся на улице на машину Соловьева и в тот же вечер был отправлен с конвоем в Ягодный на комендантский пункт.

Приехали на берег, началась переправа. По тропе шли через Колыму по льду. Но начался ветер, пришлось вернуться и заночевать в сарае, где не было

ни одной палки дров, где все деревянное было сожжено, в том числе и стены сарая. [Нрзб]. Вот без дров все плотники и начальство сели вместе пережидать метель. Вечером дошли до Спокойного и разошлись каждый на свою работу. Я познакомился тут с начальником ОЛПа Емельяновым и начальником прииска Саракановым.

Здесь валили лес и собирали дом тут же из сырых лиственниц, ибо Сараканов как опытный колымчанин уверял, что деревянный дом на Колыме можно согреть только людьми — поэтому все бригады из заключенных сразу же и селили в мерзлые бараки, ставили железную печь, топили. Страшная это была ночевка. Мокрые бушлаты, белый пар, белый пар от холода.

Начальником санчасти был там доктор Ямпольский, вольнонаемный, бывший зек, только что кончивший срок. Доктор Ямпольский сделал мне много зла, поэтому я напишу о нем поподробнее. Начальником санчасти может быть и не врач — это административная должность. Бывший работник органов, Ямпольский целых пять лет, весь свой срок, сумел продержаться на несложных обязанностях фельдшера, на участке приисковом, работал с врачами, которые, впрочем, ничему его не учили. А может быть, и учили. Может быть, и менее пяти [лет] проработал он фельдшером. По ухваткам его было видно, что он ничего не знает. Когда освобожден, он начал работать начальником санчасти. Хороший оклад, положение. А о медицинской отчетности он представление имел. Я его застал на Спокойном в этой роли. Он принимал больницу, в аптеке была только марганцовка — для внутреннего и внешнего лечения. Я смотрел эту аптечку, с которой он работал: йод, марганцовка. У него была мысль вот такая. От каждого врача он что-то получил и с каждой сменой должности все увеличивал свои знания.

Вот у него в больнице я встретился с Рябоконом — махновцем, описанным мною в рассказе о страшной смерти какого-то эстонца Яниса, которого купали в ванне, опухшее тело погружали в огромную бочку с теплой водой. Янис умер, и Рябоконь, кажется, умер.

Я убирал палаты, но не был симпатичен Ямпольскому. Скоро случилось так, что для больницы отвели новый участок, завезли туда бревна, и доктор Ямпольский по колымской традиции вкладывал туда и свою личную силу, и [силу] своих санитаров в порядке субординации. Ямпольский объявил, что с завтрашнего дня мы будем оба трудиться на [постройке] своей больницы. Он, Ямпольский, выйдет с топором и пилой. Но подходящего напарника во мне [он] не нашел — просто из-за крайней моей слабости.

На следующий же день я был отчислен из санчасти, потерял свое счастье, безумный, и уже весело бежал в рядах какой-то бригады. Но это еще не была бригада доходяг.

Мы были переведены на участок, где строительным техником — такое бывает здесь — был мой старый знакомый по 69-й камере Бутырской тюрьмы Леша Чеканов. Леша Чеканов ехал сорок пять дней от Москвы до Владивостока в одном вагоне со мной, только на пароходе и на Колыме наши пути разошлись. Будучи уже кое-чему наученным по временам 38-го года и приисковым встречам старых знакомых в тяжелых условиях, я ничего и не ожидал от этой встречи. Но Леша Чеканов был явно напуган моим появлением на его участке. Чуть ли не с третьего дня он начал высоким голосом орать, что вот этих, которые всех загубили и... Эти крики скоро обернулись битьем.

Я попросил нарядчика перевести меня на другую работу и был переведен в бригаду Королева. Бригадир Королев — вольняшка, красавец, бригадир из блатарей, из бывших блатарей, бил меня ежедневно, не требуя никакой работы, не ставя на работу, просто бил и бил. Потом уставал, бросал и переходил к другому делу. Так было много дней, и часть зубов выбита тогда лично именно Королевым.

На вечер меня записали по рапорту того же Королева в ледяной карцер прииска Спокойный. Этот ледяной карцер остался в наследство от командировки дорожников, что-то получивших от прииска и обещавших принимать на ночлег его штрафников. Изолятор Спокойного был еще не построен. Мы же его и строили. Ледяной карцер был карцером, вырубленным в скале, в вечной мерзлоте, стены его были деревянные, самые обыкновенные лиственничные бревна. Посередине

стояла обыкновенная печь, на которую давали два килограмма дров на сутки по карцерной норме, а также кружку воды и суп через день. Но больше нескольких часов никто этого карцера не выдерживал ни зимой, ни летом. Я простоял в этом карцере несколько часов с вечерней поверки до утреннего развода, не имея возможности и повернуться: кругом был лед и на полу тоже лед. Говорили, что все, кто прошел через этот карцер, получили воспаление легких. Я — не получил. После карцера следовали избиения все тем же Королевым. Однажды на работе я попросил своего напарника Гусева ударить меня ломом по руке, чтобы сломать руку. Но Гусев отказался категорически. Я пытался сделать это сам, но не мог. Набил синяк и все.

Уже чуть ли не через год, когда я сидел в Ягоднинском изоляторе после побега и ходил на работу на бурение ямок, шурфов каких-то, кто-то из проходившей партии арестантов закричал диким и веселым голосом:

— Шаламов, Шаламов, слушай, тебе интересно. Я Королева-то зарубил! Зарубил! Топором! В столовой.

Я и сейчас не знаю, кто это кричал, но Королев действительно был зарублен в столовой той же зимой.

Внезапно Ямпольский получил письмо от Савоевой, где она просила отправить меня в Беличью как больного. Письмо совершенно личное, передано ему в руки. Ямпольский не нашел ничего сделать лучшего, как познакомить с содержанием этого письма Емельянова — начальника ОЛПа. Емельянов вызвал меня, не забыв...

— Тут Ямпольский письмо получил какое-то насчет тебя.

— Не знаю, гражданин начальник.

— Ну, ладно, иди, отправим.

Емельянов не разобрался в деле, и я не попал в ловушку, расставленную Ямпольским.

Прошло еще несколько дней, было лето, обжигающее лето. Вдруг меня вызвали и привезли, но не в Беличью, а на инвалидный. ОЛП при Северном управлении. Там восполнялись силы людей, своеобразная транзитка Колымы. Шли сутками и кто поскольку. Всех отправляли на витаминные командировки, а то и в места посерьезнее. Прибывали машины с людьми, но больше увозили. Комиссовали круглые сутки. Я лег в первую же ночь по незнанию на верхние нары в инвалидной транзитке. Там было такое количество клопов, что, как я ни устал, я должен был смахивать со щек несколько раз клопов, уже ввевшихся в щеки и в несколько слоев, потом вышел на улицу, счистил с себя клопов и попытался заснуть прямо на улице, на холоде. Ночью на Колыме, как бы ни жарок был день, — холодно. Положив доску, можно было спать. На земле — опасно, простудишь легкие. Наутро комиссии не было, и я умолил доктора Эфу, фельдшера из заключенных, передать в Беличью, что я, Шаламов, на инвалидной транзитке.

Эфа:

— Да, я буду в Беличье через час, вот и передам, пожалуйста.

Через несколько часов пришла машина, приехал Эфа и Лесняк за мной, но взять меня было не так просто, нужно было решение комиссии, акт. Пришлось ждать еще сутки этого акта, и с этим я был выписан и передан Лесняку. Я приехал на Беличью. Нина Владимировна Савоева встретила меня очень хорошо и сказала, что она договорилась с начальством, Соловьева давно в Ягодном нет, что я буду работать официально культоргом — читать газеты, объяснять.

Это был уже 45-й год. Конец войны я встретил на Спокойном. Туда сведения дошли лишь дней через пять — курьер с депешей опоздал из-за разлива Колымы. Атомную бомбу и конец войны с Японией я встретил в должности культорга больницы Беличья.

Конец Беличьей

Это, пожалуй, было самое счастливое мое колымское время, самое безмятежное. Увы, смертная игра опять должна была начаться. У Нины Владимировны и Лесняка были свои друзья, свои враги — новые и старые, свои сражения, свои по-

ражения и победы, своя война. Я был одним из очень многих, кому Савоева и Лесняк помогли из заключенных в те годы. Нину Владимировну всегда окружала толпа людей, которых она ставила на какие-то работы. Давно уехал на материк ее земляк и покровитель, начальник СГПУ¹ полковник Гагкаев. К колымскому начальству Савоева как-то не пристала, брак с Лесняком, из-за которого она была исключена из партии, исключил ее из узкого круга людей власти. Когда Лесняк кончил срок, она вышла за него замуж, но это не вернуло ее в круг колымского начальства, в круг старого колымского начальства, получавшего взятки, оклады, да еще торговавшего махоркой и чаем через своих дневальных. Нина Владимировна попробовала наладить жизнь по схеме высших начал и потерпела полное поражение. Вошла в круг лиц неудобных, которых обходят по службе, следят за каждым их шагом. Внезапно Савоева получила назначение начальником санчасти прииска и была вынуждена уехать, оставить больницу. Этими же днями кончился срок у Лесняка, и он уехал вслед за ней. Новая начальница, фамилии ее я не помню, звали ее кличкой «Камбала» из-за того, что один глаз у нее был искусственный, в первый же день работы выгнала меня из культургов и приказала сесть рубить капусту, что я делал до вечера. А вечером был отправлен, вернее, отведен нарядчиком в Ягодный на комендантский ОЛП. Больше в Беличью я никогда в жизни не возвращался. К вечеру этого дня я был отправлен на ключ Алмазный, на командировку по заготовке для Ягодного высоковольтных столбов. Ягодный и ключ Алмазный находятся на разных реках Колымы.

Ключ Алмазный

На ключе Алмазном не было конвоя. Давно сделано мною наблюдение, что больше всего произвола в лагере там, где нет конвоя, нет и режима. Конвой в лагере — это прежде всего защита арестантских прав. Даже если начальник хороший, все равно в бесконвойном состоянии хуже, чем в конвое. Больше произвола там, где нет конвоя. На ключе Алмазном в бараке жило человек 20 лесорубов, ходили они на работу по выборке и рубке сосновых стволов, пригодных для высоковольтных столбов. Нормы тут выполнимые, но почему-то никто с ними не справлялся только. Кормили два раза в день. Лесорубы жаловались на повара, и десятник поставил поваром меня. Нельзя большего придумать издевательства. Притом десятник сказал, что и взял меня на работу, имея в виду, что я работал в Беличьей. Я согласился. Я никогда не стряпал и не мог ничего придумать путного. Работа моя поварская началась с того, что десятник взял себе банку консервов, банку мясных консервов. Всего примерно на 30 человек в день выдавали две банки. И сказал, что пусть я справляюсь. Я понял и тут же отказался от этой блатной работы. Увидев по моей готовке, что я в самом деле первый раз берусь за поварское дело, десятник снял меня на общие работы — дело мне хорошо знакомое, но ни я, ни он и не рассчитывали, что я могу выполнить норму лесоруба. Вот какого уж он поставил повара, я не знаю, наверное, старого взяли обратно, и я стал работать в лесу. На этой командировке заключенных не били. Тогда было увлечение немедленным учетом. На ключе Алмазном дело было поставлено так, что вечером объявляли, кто из заключенных не выполнил нормы, — не выполнившим вовсе не выдавали хлеба на следующий день по цифрам прошлого дня. Я таких чудес не видел ни разу и твердо решил не жить на этой командировке ни одного слишком голодного дня.

Скоро этот день пришел. Тем самым утром, когда мне не дали хлеба, я взял блатные ботинки, которые у меня были в вещах, и отдал сапожнику участка — сапожник, между прочим, был вольнонаемный, бывший зэка. Ботинки эти я отдал сапожнику за пайку хлеба семисотку и щепотку махорки на несколько папирос. Взял я с собой спички, газетную бумагу и вышел на дорогу в лес. Через километр я отвернул прямо в тайгу, обошел поселок сбоку, в километре примерно, и пошел пешком в Ягодный. План у меня был такой: дойти не подстреленным до ОЛПа, а

¹ СГПУ — Северное горно-промышленное управление.

там — что будет. Я не пошел по дороге, а прямо тайгой пошел до речки Колымы. Колыма уже встала, я выбрал узкое место, перекат, где можно перейти, но не было места ниже метра. Стало быть, перейти — шагать в воду. Я просто подвязал веревками бурки под коленями. Все это обдуманно было мною и раньше. Свойство колымских рек — в большой мороз не промокает обувь и одежда — мне было хорошо известно. Я прямо шагнул в воду, прошел глубоких несколько метров до суши и, выйдя на берег, отряхнул сосульки рукавицей — намерзшие сосульки на бурках. Переход через Колыму был закончен, я не пошел на переезд, где была будка сторожа, где была зимняя и летняя переправа. От реки Колымы я прошел еще несколько километров по тайге, когда рассудил, что двигаться надо открыто. В большой мороз я дошел до барака, где жили больничные лесорубы во главе с одним санитаром, Степаном Ждановым, которого я хорошо знал по Беличьей, и он меня знал. Степан, не спрашивая меня ни слова, дал мне поесть супу, дал хлеба немного, табаку, а главное, я выпался на теплой печи.

Утром я ушел еще раньше работяг, а за ночь, попросив у Степана бумаги, написал большое заявление на имя начальника ОЛПа Козычева, какие порядки на ключе Алмазном. Положил в карман, застегнулся и зашагал в Ягодный. По дороге я зашел в Беличью, там повар в больнице был Федя, успел налить мне целый котелок еды, но посоветовал не есть в больнице, и я понял, что меня уже ищут. Я съел весь котелок, съел весь хлеб, какой был, сидя в кювете, на трассе, и вошел в Ягодный. Уже сильно стемнело, пока я добрался до ОЛПа. Начальник ОЛПа Козычев сам сидел на вахте. Он принял мое заявление и велел отвести меня в изолятор. Изолятор, так хорошо мне знакомый, сейчас пустовал. Сидел какой-то блатарь, ждал машину для отправки в спецзону — он сидел за убийство и ограбление на трассе, как я узнал позже. Не в арестантских правилах спрашивать «Ты за что сидишь?» и прочее.

Утром меня вызвал следователь, допросил, но чисто анкетно, без вопросов и ответов, и сказал, что он вызовет меня и начнет новое дело за побег. Я не отбыл еще и двух лет от своего нового срока и не очень волновался по поводу прибавок и добавок, и прочих арестантских дел.

Но новое дело не было начато. Следователь рассудил, что начинать новое дело — громоздко, волынка большая. Резолюция была административной: направить для отбывания срока в спецзону Джелгала. Так я удивительным образом вернулся на тот же самый прииск, где меня судили, на Джелгалу.

Снова Джелгала

На Джелгале зимой 45-го года ни Заславского, ни Кривицкого уже не было. Стало быть, Федоров рассчитался со своими помощниками честно. Но за это время явилось на Джелгале лицо, приезд которого был прямо катастрофой для меня. Новым начальником санчасти был доктор Ямпольский — старый мой знакомый по Спокойному. Никаких надежд на получение освобождения от работы у меня не было, я в санчасть не ходил.

Я попал тогда в бригаду 58-ой статьи, где бригадиром был Ласточкин — сын крупного работника на КВЖД. Отца расстреляли в это время, а сын, он описан мною в очерке «Артист лопаты», был хуже, чем всякий блатарь. Никаких денег там не платили, хотя и выписывали. Все пропивал бригадир с нормировщиками и блатарями, и на первую попытку занкнуться о деньгах я получил удар по зубам, свалился с ног и подвергся публичному избиению.

Ласточкин был боксер. Его руку знали немало людей на Джелгале. Дневальным у него работал какой-то старый партийный работник, каждый день напивался и плясал перед Ласточкиным для его удовольствия какую-то одесскую пляску под сопровождение: «Я купила два корыта...»

В бригаде Ласточкина работал я недолго и попал в последнюю из моих колымских бригад, в бригаду Шпаковского. Шпаковский держался со всеми в высшей степени сдержанно. Не волновался по поводу невыработки, плохой работы, меньше слушал начальство, чем свое собственное сердце. Я уже совсем начал

превращаться в колымского работягу, как вдруг на прииск пришла машина с репатриантами и было объявлено, что Джелгалу отдают репатриантам, а спецзону увозят в Западное управление. Настала и моя очередь. Близ Сусумана, в сарае, у меня поднялась температура, я был доставлен в малую зону Сусумана — транзитку большой зоны — это барак работяг Сусумана. Малая зона — это огромный барак с четырехэтажными нарами, описанный мною в рассказе «Тайга золотая».

Сусуман

Малая зона Сусумана 1945 года — одно из моих больших сражений за жизнь.

Меня везли в спецзону, которая еще не была открыта. И задачей было задержаться на транзитке, пока не положат в больницу. Температура прошла, несколько ночей я отбивался от нарядчика, включавшего меня в разные списки к вербовщикам. Я выходил, отвечал, «обзывался».

— На дорожные!

— Не хочу на дорожные. Не могу работать с тачкой. Болен.

— Будешь метлы вязать?

— Сегодня — метлы вязать, а завтра тачку катать.

Всегда при этапах приезжает представитель той организации, которая принимает людей. Представитель обычно вычеркивал меня сам, но иногда приходилось напомнить ему об этом.

— А в сельхоз?

— И в сельхоз не хочу.

— А куда ты хочешь?

— В больницу.

В амбулаторию меня тоже водили, но врач не собирался мною заниматься. Я же в больнице узнал, что в километре от малой зоны работает мой знакомый врач с Беличьей Андрей Максимович Пантюхов. Вся моя энергия сосредоточилась на том, чтобы известить Пантюхова о том, что я в малой зоне. Если есть возможность, он, безусловно, поможет. Я дал фельдшеру, не помню его фамилии, записку для Пантюхова. Он сказал, что передал и что Пантюхов ничего не сказал. Я не поверил и попробовал дать записку регистратору больницы. Регистратор:

— Да, я сегодня туда иду, записку отнесу.

В тот же день, поздним вечером в бараке раздался истошный крик:

— Шаламов! Шаламов! Где Шаламов?

Понимая, что это не нарядчик, я скатился с нар.

— Тебя вызывают к зубному.

— Я не записывался к зубному.

— Иди, тебе говорят.

Это был санитар зубного врача. Мы выбрались на улицу, через дорогу, в пяти шагах, была зубная амбулатория. Кто-то в белом полушубке ждал меня в коридоре. Это был Андрей Максимович Пантюхов. Мы обнялись... Я вкратце рассказал о своем положении. Фельдшер, конечно, не передал моей записки.

— Завтра я поговорю с Соколовым, начальником больницы, и вас положат к нам. Я — ординатор хирургического отделения.

Мы расстались, а на следующий день вечером меня вызвали вместе с другими тремя больными и повели пешком в больницу.

Андрея Максимовича я в больнице не застал. Принимал больных сам начальник больницы, доктор Николай Иванович Соколов. Мы не успели сговориться, какой же диагноз будет. Я решил сослаться на аппендицит. Хирург внимательно осмотрел трех больных, одного за другим, — два были с грыжами, третий с трофической язвой обширной на голени. Настала моя очередь, и, не осматривая меня, доктор Соколов встал и вышел на улицу.

Нас принимал местный санитар. У меня не оказалось белья, и это в высшей степени затруднило прием. Но все же какую-то рваную пару завхоз мне выдал, и меня отвели в палату, такую же точно, как все палаты, в которых я лежал на

Колыме. Тут же я заснул глубоким сном. К вечеру проснулся, у койки стоял обед и ужин, я все съел и опять заснул. Поздно вечером меня разбудил санитар.

— Тебя вызывает врач.

Я пошел. Андрей Максимович жил при отделении. Стояла каша, чай, сладкий чай, махорка лежала.

— Вы ешьте и рассказывайте.

Так я ходил каждый вечер к Андрею Максимовичу. В это как раз время он и рассказал мне свою жизнь. У него недавно умер фельдшер итальянец. Я стал работать санитаром, ставить градусники, ухаживать за больными.

Но Андрей Максимович договорился с Соколовым, что будет учить меня на фельдшера, держать на истории болезни. Дал мне учебники, их было очень немного. Кое-что рассказывал, но эти занятия почему-то были утомительными для Андрея Максимовича. Андрей Максимович рассказал про историю своего конфликта со Щербаковым¹, а раз сказал так:

— Все люди, с которыми вы встречались на Колыме, одетые в белые халаты, — не фельдшеры и не врачи по специальности. Вам нужно обязательно научиться этому, в сущности, простому делу.

Я стал заниматься. Поэтому каждый раз, когда в больницу поступал какой-нибудь интересный больной, Андрей Максимович будил меня и заставлял смотреть и запоминать. Так однажды Андрей Максимович показал мне больного с газовой гангреной. Больной умирал.

На приске рублили руки в это время, но саморубов не освобождали от работы — посылали топтать дорогу, а летом заставляли мыть золото одной рукой. Саморубы — это больше самострелы, капсюль в руку — и взрыв сносит ладонь. [Очерк] «Бизнесмен» рассказан мне доктором Лоскутовым, но я и сам знаю много подобных случаев. Когда же стали посылать на работу с культями руки, — стали взрывать ноги. Это было еще проще, капсюль в валенок — и взрыв. Больной с газовой гангреной залежался на приске. Не было машины довести. В чертах лица больного я с трудом узнал одного из своих колымских врагов, помощника Королева, который избивал меня за плохую работу. Фамилия его была Шохин. Шохин умер на моих глазах.

Вскоре настал день, когда Андрей Максимович Пантюхов вызвал меня и сказал:

— Вот что, хорошо, пока мы вместе. Колымская судьба разлучает быстро. Ну, отдохнете вы месяца два, ну, поработаете, ну, нравимся друг другу. Но все это слишком непрочно. По-колымски непрочно. Есть возможность самым решительным [образом] изменить вашу судьбу. Есть запрос из Магадана на фельдшерские курсы годовые с программой, очень уплотненной. Если вы кончите такие курсы, это даст вам права на место под солнцем на все время вашей жизни на Колыме. Нам дают разрешение послать двух человек. Соколов согласен послать от больницы, или, вернее, от санчасти Сусумана — Соколов одновременно начальник санчасти, — согласен послать вас и еще одного человека. Решайте. Я вам советую не обращать внимания на меня, я справлюсь со своими делами сам, и не упустить этой возможности. На курсы принимают бытовиков и 58 пункт 10, до десяти лет срока. У вас, кажется, именно 58 пункт 10 со сроком 10 лет.

— Именно так.

— Тогда и думать нечего — ваше решение.

Через два-три дня на рассвете машина повезла в Магадан меня и Кундуша на фельдшерские курсы. Это было ранней весной 46-го года — февраль или март. Оттепель была.

Я приехал в Магадан, держал экзамен на фельдшерские курсы, окончил их. Держал экзамен, получил права и начал фельдшерскую работу в центральной больнице УСВИТЛа, на 23-м километре магаданской трассы. Рассказ об этом, документальный до предела, есть в моей записи «Курсы», а также «Вейсманист».

¹ Подполковник Щербаков, начальник санотдела, отправил тяжело больного туберкулезом А. М. Пантюхова в Северное горное управление (Усть-Неру), чтобы разлучить его с лагерной женой доктором О. Н. Поповой.

[На 23-м километре]

В кладовке, несмотря на страшный мороз и мохнатые наросты инея на окнах, бутылках, пахло лизолом, карболкой — пахло вагоном, вокзалом. Мы легли в темноте на какие-то холодные банки, бутылки, ящики, обжигающие руки. Я зажег спичку бережно, пряча пламя ее в ладонях, чтоб не было видно огня снаружи, сквозь дверные щели. Я зажег спичку на секунду, чтобы рассмотреть любимое лицо. Глаза Стефы с огромными черными расширенными зрачками приблизились к моему лицу, и я потушил спичку. Я положил ее...

Белый пар шел от наших ртов, и сквозь дверные щели мы видели звездное небо. Стефа на минуту завернула рукав, и тыльной стороной ладони я погладил ее кожу царевны — пальцы мои были отморожены и давно потеряли чувствительность. Я гладил, целовал руки Стефы, и казалось, что на них одеты перчатки, кожаные перчатки с обрезанными пальчиками, губы у меня не были отмороженными, я целовал жесткую, царапающую кожу рук и тонкую горячую кожу кончика каждого пальца.

Я хотел еще раз зажечь спичку, но Стефа не велела испытывать лишней раз судьбу.

Я вышел первым...

1953—1956 гг.

В 1953 году я приехал с билетом до Чарджоу от Иркутска, рассчитывая на пересадку в Москве. На вокзале встретила меня жена, она жила в Москве после 1947 года. Я знал из ее писем: «все формальности для того, чтобы жить в Москве вместе со школьницей-дочерью, я проделала». Из чего я сделал вывод, что она со мной развелась, что, разумеется, я одобрял всей душой и надлежащее письмо написал еще из Бутырской тюрьмы 16 лет назад. Когда я получил второй срок десятилетний в 1943 году, данный мне трибуналом в Ягодном, я написал еще раз о том, чтобы она не связывала свою судьбу с моей из-за полной бесперспективности, вечной, как тогда я понимал.

В ответ я получил фотографию мою и ее с соответствующей надписью. Фотографию эту забрали у меня блатные из-за толстой пачки писем в бумажнике. Ничего, кроме писем, там не было, даже медной копейки, но было много фото. Я ожидал, что письма подбросят к стенке уборной на улице, как полагается по блатным законам. Но никаких писем никто не подбрасывал. Было это в Нексикане, когда нас собирали на пресловутый смертный этап в спецзону прииска Джелгала. Я сделал вывод, что письма уничтожены, очевидно, со злости, что не было денег. Это вполне в правилах блатной морали. Я просил у кого-то из блатарей, чтоб вернули хоть фото.

— Фото? Фото им самим нужно... Для сеансу...

Я понял и перестал надеяться. Я остался вовсе без фотографий. Такие фото имеют в лагере некоторое значение, небольшое, но некоторое все же имеют. И вот я кончил этот второй срок в 1951 году, работал фельдшером в центральной больнице, и, когда из центральной больницы в 51-ом и 52-ом году уехать не удалось, — уволился и поступил в дорожное управление в Адыгалахе, на поселке Барагон, где и встретил смерть Сталина, кровавую амнистию Берии, когда были освобождены только блатари...

Героическими усилиями мне удалось уволиться, почти чудом я перелетел эту пропасть Оймякон — Якутск, семь часов на «Дугласе», а 16 лет [назад] этапом из Москвы с 12 января 1937 года.

На Ярославском вокзале в ноябре 1953 года я встретился с женой и установил: мой паспорт колымский с 35-й статьей, то есть проживание в поселках не свыше 10 тысяч человек, — вовсе не обязывает проживать в Средней Азии. Можно и в Клину или в Калининской области, скажем, в Конакове.

Ночевать мы приехали на квартиру к какой-то реабилитированной партийке с дореволюционным стажем, которая уже возвратилась, и ей дали квартиру на Песчаной. Номер дома и фамилию партийки не помню. За столом было много народу, и хозяйка провозгласила тост за мое здоровье, сказав, что рада моему возвращению в Москву, что она надеется, что я докажу государству свою революционную преданность, что она вспоминает, как она, когда была лагерницей, не щадя себя, работала в портняжной мастерской на помощь фронту.

Я сказал, что у меня другие мысли об обязанностях гражданских и что ночевать в доме таких лагерных работяг не буду.

Пришлось экстренно менять квартиру. Куда? Наталья Александровна Ка-стальская — дочь бывшего директора консерватории композитора Ка-стальского — предложила свою комнату в консерватории. Там мы и ночевали. Там только невероятный сор, пыль, которая не убиралась несколько месяцев, если не годы. И узкий ход к дивану среди стопок книг. На следующий день я выехал в Калинин, а оттуда в Конаково — устраиваться фельдшером по своей лагерной специальности, на которую у меня был официальный документ. В горздравотдел мне пришлось подать заявление.

Конаково

Поскольку в фельдшерском деле я чувствовал себя весьма уверенно — образование, стаж лагерный, лагерный диплом, — я пытался найти работу именно по этой медицинской своей специальности. Поэтому я затратил много времени на поездку в Конаково, в райздравотдел, — переписка у меня цела, хотя с самого начала меня не оставляло ощущение, что я попал в железные колеса обыкновенной бюрократической вертушки.

Так как денег у меня было мало — поэту, фельдшеру, агенту снабжения равно надо питаться четыре раза в день, — то тощий кошелек подстегивал мою судьбу, заставляя то не доводить до конца дело, то не полагаться на обещания. Однако я еще держался, спал в вагонах, ждал решения. Надо мной висел дамоклов меч излишнего перерыва в стаже — тощую мою трудовую книжку, выданную на Колыме, разведочный, анкетный, охранительный метод угрожал подвергнуть ненужному вниманию «органов». Дело в том, что по тем временам разрешен был только двухнедельный перерыв в стаже — и для Дальнего Севера с прибавлением еще двух недель. И все. Между тем, или, вернее, именно поэтому администрация тянула ответ, ставя меня в безвыходное положение. Это тоже один из принципов, не столько бюрократический, сколько охранительно разведочный. Но я еще верил — волю я знал мало. В конаковском райздраве, где я хотел устроиться фельдшером, от меня потребовали характеристику с места работы, то есть из Магадана, из сануправления. За свой счет я отправил телеграмму туда и через неделю получил ответ, разумеется, самого секретного характера — у нас все было секретно, — где разрешалось прочесть ответ автору телеграммы, то есть мне. Смысл ответа был тот, что лагерный фельдшерский документ действителен только на Дальнем Севере, только в управлении Дальстроя и что права лечить больных людей я не имею. Заведующий конаковским райздравотделом не то что относился ко мне чересчур подозрительно и как-нибудь партийно плохо — скорее безразлично. Он предложил мне поехать в Калинин и там объяснить по поводу своего рабочего стажа и так далее. Звонил ли он в Калинин, не знаю. Калининский горздрав нашел выход другой, юридически вполне обоснованный, поскольку у меня нет документа, а фельдшерские курсы лагерные могут быть приравнены лишь к неоконченному сестринскому техникуму. Мне и давали разрешение на работу с оплатой, как медсестре в сельской местности с незаконченным образованием. По закону это выходило чуть более 200 рублей в месяц. Я даже не думал, что у нас в стране на 37-ом году революции существуют такие официальные государственные ставки. Конечно, на двести рублей в месяц в 1954 году я жить не мог, фельдшерскую специальность приходилось бросить. В вагоне

возвращался я из Калинина в Конаково, под постукивание колес я еще обдумывал варианты и возможности даже в таких условиях, перерыв в стаже ведь кончался. Я пришел в конаковский райздравотдел и выразил согласие на эту двухсотрублевую работу. Но вертушка только началась. Чтобы получить работу, нужна прописка. А чтобы прописаться — нужна работа. Это адский круг, хорошо знакомый всем, побывавшим в заключении, всем, хлебнувшим тюремной похлебки.

Я отправился на прием в местное НКВД — не помню уж фамилии начальника, как и во всех этих учреждениях, чрезвычайно любезного. Начальник отказал.

— Нет, нет, только не бывших заключенных. К тому же в Конакове уже больше десяти тысяч жителей. Без работы я не пропишу, найдете работу, придете ко мне, все будет решено.

Я вернулся в райздрав.

— Как пропишетесь, так и получите работу.

Железные стенки клетки, вертушки я ощутил очень хорошо. На медицинской специальности приходилось ставить крест. Конечно, во время этих скитаний я не тратил денег на дома колхозника или гостиницы. Вокзал, только вокзал, вагонная койка — вечное мое прибежище, транзитная арестантская кровать. В это время я об этом и не думал. Я и не знал, что существуют какие-то иные способы спать, кроме вокзала и вагона.

Большие пожары

[ИСТОРИЯ АРХИВА]

В 49-ом году на ключе Дусканья вытолкнулось на [перо] нечто неукротимое, как смертельная врата... Я устоял, оклемался, очнулся от этого потока бормотания смеси из разных поэтов и продолжал жить, к своему удивлению. Все первые стихи написаны мною на оберточной бумаге, предназначенной для рецептов. Я был фельдшер и по казенной разверстке получал бумагу по норме, экономил ее. Вскоре я выяснил, что можно и не носить с собой эти оберточные блокноты. Жил я в фельдшерской избушке, один, стало быть, скрыт — постыдные тайны стихотворения не откроются никогда.

Один — в этом вся надежда, если [пойдет] удача.

Двое — это сто процентов риска.

Родилась же в 37-ом году горькая острота: «Человек разглядывает себя в зеркало при утреннем бритье — один из нас предатель».

У меня были свои подсчеты: все, что не вышло за изгородь зубов, — твое, все, что вышло, — может, твое, а может быть, и нет.

Сталин ненавидел стихи и не простил Мандельштаму. Выжал из Пастернака «Художника», живущего в соседстве с «поступком, ростом в шар земной».

На Колыме стихи не уничтожали, не жгли как некие жертвы, а хранили бережно, чтобы исказить, дать ложное толкование и овеществить самым зловещим образом. В тех миллионах обысков, «сухих бань», по выражению Бутырской тюрьмы, стихов не находили никогда. Да я их и не писал. А если и писал, то уничтожал в каком-то ближайшем просвете разума.

В 49-ом году я вернулся к записи. Лагерные начальники вряд ли отличили бы стихи, даже рифмованные, не верлибр, от письма заключенного. [Нрзб].

Лагерь и стихи? \

Разобраться, на первый взгляд, было невозможно. Но тетрадка выросла, толстела...

В 1951 году я был освобожден по сроку и впервые задумался весной 1951 года, как сохранить свои стихи. Не вывезти к семье, а просто сохранить до какого-то часа, месяца, года — в чужих руках. В самих стихах, разумеется, не было ничего криминального. Самое либеральное — это «Камея», которую написал я на пленэре близ Оймякона в 1950 году.

Португалов, мой постоянный чтец, не посоветовал рвать.

— Выучить наизусть свои собственные стихи нельзя. Память — не такой инструмент, чтобы что-то надежно хранить. Ну, 20, 30 стихотворений можешь выучить, поверь моему актерскому опыту. Но не тысячу же! Как у тебя. Подготовь к отъезду, вручи Воронской¹... Имя отца, традиция — дело верное. Тем более, кто возьмет, прочтет: «Каменя».

Разговор с Воронской я отложил до реальности отъезда — и стал записывать все стихи в две тетради с надеждой один экземпляр вручить Мамучашвили — даме последней Траута, а второй — Воронской.

И вот в двух пачках было по триста стихов. Каждое было просмотрено на свет, но еще и на звук, чтобы при всех обстоятельствах не возникло никакого [оттенка] тематического.

— Об этом не может быть и речи! У меня дочь, дочь!!!

Знакомый голос моей жены зазвучал в этом истерическом крике [Воронской].

— Да вы посмотрите, это стихи.

— Не хочу и смотреть. Нет, нет, у меня — дочери!

Я оцепенел, пораженный. Португалов был поражен не меньше моего. Но билеты в автобус уже были заказаны, расчет уже получен, доплаты доплачены после трех лет работы в больнице. Я был тверд и ждал этих доплат. На то, чтобы сжечь стихи, оставалась у меня ночь и, конечно, не на природе, не на улице — где кто-нибудь выйдет и продаст. Но у меня была дезкамера, собственная дезкамера с хорошей тягой. Я приступил к сожжению. Оказывается, жечь на обыкновенном огне обыкновенную бумагу необыкновенно трудно.

Я провозился целую ночь. Вспомниваю два известных мне примера из классики, писателей-реалистов. Один — это Достоевский. Брошенные в печь на огонь деньги, миллион. Миллион ассигнациями или кредитными билетами, напечатанными на бумаге высших достоинств, на гербовой знаковой. Там пачка тлела в камине «Идиота», дезкамеры Достоевского, не менее часу, а то и больше, если их не помешивали кочергой. Кредитные билеты — бессмертны, и Настасья Филипповна ничем не рисковала, доводя до припадка бедного Ганечку. Кредитный билет в таком камине можно жечь час, да еще помешивать кочергой. Я подумал об этой сцене, поворачивая, измельчая в кусочки, мелкие крошки все, что было на дне дезкамеры.

Вспомнил я и другую сцену — Некрасова из «Русских женщин»: камин затопили и одни читали и бросали, другие бросали, не читая.

В дезкамеру было опасно бросить что-либо, не читая. И ясно, что огонь просто не берет моих стихов, пока сам я по кусочку не верну в огонь листки.

Пришлось поехать с тетрадью, где было записано открыто два-три стиха. Это, хоть и просмотрят, не вызовет подозрения.

Главная же опасность была не в том, что я провезу или не провезу стихи, а в том, что мои попытки что-то спрятать, сохранить угадают профессиональные блатные и, получив разочарование от собственной попытки, передадут начальству с очередным доносом. Начальник передаст еще выше, никогда не рискнет пресечь эту караульную цепь, и моя тетрадка доплывет до Москвы, до центра. Все рассмотрят со следователем, криптографом, лупой и кое-что, если захотят, то найдут. Вот в чем был главный риск.

Отец мой был человек тщеславный — церковный службист прогрессивного направления². В огромном дорожном чемодане заграничной марки хранился его архив. Там не было никаких тайных рукописей, был только ход наверх, отраженный чисто должностными копиями. Фотопортреты портативные, не похожие, но на это отец плевал — для показа гостям многочисленные фото, фото — портативный, удобный документ, [приятный] гостям.

— Вот я на пароходе на Аляске, вот я в богадельне Алеутских островов. Вот я с ружьем, целью в какую-то чайку...

¹ Воронская Галина Александровна, дочь А. К. Воронского.

² Тихон Николаевич Шаламов (1868—1933), вологодский священник. С 1893 по 1904 год служил в Североамериканской епархии на о. Кодьяк (Алеутские острова).

По тайным правилам своим отец разрешал себе рыбную ловлю и запрещал охоту.

Никогда на эти фото я не мог смотреть [потом] без истерики, только в группе, только в куче родственников.

Заглядывал я в этот архив случайно и по просьбе матери. И не потому, что я не интересовался архивом.

Каждый раз на протяжении многих лет и до самой смерти моих родителей я не успевал даже подумать [о них], как слезы подступали к гортани, и я плакал¹.

Вторая причина. Мать не один раз говорила, уже после смерти отца: «Оставь все, что, может быть, будет нужно».

Как решить, что оставить и что сжечь? Если сжечь, это значит — уничтожить. Эта причина — общая для каждого архива, для каждого прикосновения к чужой бумаге. Как решить, что сжечь и что оставить. Смелость архивиста или юриста... Сам уклонился от такого решения. В чужой-то жизни как решать, а в смерти и тем более. Словом, с отцовским архивом я сознательно тянул, как делают все, когда хотят уклониться от решения.

Наконец, был и еще один юридический вопрос. Я все откладывал да откладывал разборку этих семейных бумаг. Мне хотелось взглянуть на эту драму со стороны и на некотором расстоянии по времени. Но выяснилось, что я все для смерти оставляю.

Я трусил, оставляя и эту попытку. Чего я хотел (кроме хладнокровия)? Чтобы кто-то другой решил за меня? Нет, не потому я не разобрал архива. Вся моя писательская привычка требует, чтобы я держал в руках, видел предмет, когда я пишу. Пусть это будет какое-нибудь пальто, лоскут. Я знаю, что перо мое будет пушено в ход. А в архиве, там, правда, была косынка матери, рабочее пальто отца для кормления коз.

Много раз подходил я к чемодану-архиву и возвращался из-за подступавших слез, но думал, что настанет день и час, когда я смогу открыть крышку, [нрзб] и я напишу о страшной трагедии матери своей.

— Твой отцовский архив Маша² сожгла, посмотрела, что там есть, — не нашла ничего важного и сожгла...

Этот разговор был в Москве в 1953 году во время одного из моих приездов в столицу из Туркмена (есть такой в Калининской области).

Ну, что тут сказать? Была война. Эвакуация. Я сам на Колыме не написал ни одной строки. Это сейчас кажется, что архив мог быть сохранен, а в 1941 году вряд ли и сам я принял бы другое решение. Мне в архиве нужна была мать. Семья уничтожила и мой архив, вместе с архивом моего отца сожгла — перед отъездом из Москвы во время эвакуации. Я не нашел в себе силы для обиды.

В конце концов, родные есть истинный источник всякого сожжения. Жгут же ради детей или руками сестер, матерей. В 1927 году, когда я жил в университете, родная моя сестра³ сожгла все до последней бумаги, письма — Асеева, Третьякова... Все просто потому, что я некоторое время был там, у нее, прописан.

Отношение моей семьи не отличалось ничем от этой шумной паники.

Жена сохранила напечатанное и уничтожила все написанное. Кто уж так рассудил... Сто рассказов исчезли. Дерьмо, которое было сосредоточено в архиве «Октября», сохранилось, а сто неопубликованных рассказов (вроде «Доктора Аустино») исчезли.

Даже в 1956 году не было поздно повторить карьеру генерала де Голля.

Но для этого нужна была опора пошире и покрепче, чем моя семья тогдашняя, которая в трудный момент предала меня с потрохами, хотя отлично знала, что, осуждая, толкая меня в яму, она гибнет и сама⁴. И действительно, уже в ию-

¹ Родители Шаламова после того, как дети разъехались, в течение почти десяти лет, до самой смерти, оставались в Вологде совсем одинокими и беспомощными.

² Мария Игнатьевна Гудзь, сестра жены Шаламова.

³ Галина Тихоновна Сорохтина.

⁴ См. стр. 155 настоящей публикации.

ле 1937 года мою жену выслали на десять лет в Чарджоу, и только после войны, энергично освобождаясь от формальных оков прошлого, она вернулась в Москву, ради, разумеется, будущего дочери. Больше фальши, чем забота о будущем, в человеческом поведении нет. Каждый знает, что тут сто процентов ошибок.

[Реабилитация 1956 г.]

...Чтение продолжалось около трех часов, ибо формула моей реабилитации — «по вновь открывшимся обстоятельствам» — требует, конечно, такой именно работы.

Мне пожали руку каждый из пяти и секретарь шестой, вручили в руки справку — действительно, роковой документ.

— Вы где живете?

Я сказал.

— Мы устроим вас в Калинин на хорошую работу. В Москву только ездить не надо.

— Я могу дать подписку о невыезде.

— Нет, подписку не надо, — внезапно вмешался председатель, — а просто не надо ехать в Москву. Жена ваша ни в чем не виновата.

— В материалах дела не было ни строчки о моей жене.

Потом я сообразил, что это чисто общие суждения. Реабилитация внесла в столицу такой жестокий мордобой и за то, что было, и за то, чего не было. Мордобой — родственник — стал своего рода общественным явлением.

Доктор Лоскутов написал мне:

«Берегите справку. Сразу же снимите с нее десять, сто копий и только тогда выходите на улицу».

Подготовка текста и публикация
И. Сиротинской

Григорий Каковкин

СЛУЖБА, ДЕЛО И ДРУЖБА

В нашем положении, наверное, за всю мировую историю никто не оказывался. Не то страшно, что гиперинфляция, что Союз развалился и т. д. Чудовищно другое — мы ничего о себе не понимаем. Не понимали до августа 1991 года, не понимаем и после.

Каждый прожитый день оставляет нас в недоумении: новые очереди, новые цены, новые законы — и все по-старому!

Парадокс, но производитель и потребитель пользуются одной и той же моделью объяснения, разница только в том, что на управленческом уровне знают цифры. А вся «сложная наука управления» — одни цифры увязывать с другими. Внизу же рядовые, не мудрствуя, уверены, что и они могли бы быть министрами, премьерами и президентами — «для этого много ума не надо». Это, конечно, не так, но все-таки и так.

Одно время в ходу было народное изречение: «Мы делаем вид, что мы работаем, а они делают вид, что нам платят». Собственно говоря, нынешние дискуссии, когда одни утверждают, что народ разучился работать, что он от природы пьяница и лентяй, а другие возражают: нет, его отучили, ему недоплачивали, он только за грамоту работал... — по своему смыслу восходят к этой фольклорной политэкономической модели. На мой взгляд, она наиболее полно и точно отражает нутро того, что мы построили, или недостроили. И те, и другие «делают вид», а живут как-то иначе. От другого. Только одно в этой формуле не прояснено: кто «они» и кто «мы»? И почему и тех, и других до определенного времени существующее положение вполне устраивало?

Итак, почему? Почему «они» пошли на это? Почему, по перевернутой ленинской формулировке, верхи не могли жить по-старому, когда низы еще могли и жили с удовольствием? Или без удовольствия, но безропотно.

Первый уровень ответа на этот вопрос очевиден. Низы жили в страхе и вере, верхи оказались коррумпированы настолько, что даже занимавшие самые высокие посты — первые секретари республик, министры, члены Политбюро — и те обретались в двух слоях, в двух сферах экономики и «делали вид». Даже наверху основным источником доходов стал теневой, там первоначально и разлагалась государственность (в этом смысле «боярин и холоп» представляли собой однородную безнравственную массу, что вообще, к сожалению, характерно для нашей истории). Если легальная часть экономики оказалась в кризисе, то другая бешено набирала обороты, грозя не только «зарыть в карман» сотни миллионов рублей, но и «по знакомству» перебросить северные реки. К тому же стратегические оборонные задачи сверхдержавы становилось невозможно выполнять. ВПК взрывал систему изнутри, ставя непосильные задачи перед политическим руководством. Он был детонатором будущих реформ. Может быть, и не повезло коммунистической системе, что Андропов, очертивший реформу только как борьбу с теневой структурой за сильную государственность, рано умер, но все же коммунизм был обречен, потому что его реальный исторический смысл — цивилизованного средневековья — исчерпал себя.

Формула, к которой я хотел бы подвести, проста и как бы очевидна, но имеет множество удивительных последствий и для тех, кто пытается ее изменить, и для тех, кто любит социализм, как мать. На мой взгляд, то, что мы создали, есть некое жизнеустройство, в котором минимум трудового участия обменивается на прожиточный минимум. Если кому-то в жизни недостает «основного вопроса», «основного закона» или чего-то в этом роде, то я предлагаю считать таковым закон о двух минимумах. Он объясняет устойчивость и жизнеспособность системы.

«Профсоюзы — школа коммунизма», — твердили нам. Но в чем, собственно, учеба? Оказывается, она в установлении механизма контроля за минимумами. А зачем «железный занавес»? Чтобы подчеркнуть полноценность того, что имеешь, и не дать возможности сравнить свой труд с его мировой рыночной стоимостью.

Общество построено, как весы. Просто. Трудящийся всегда хотел бы работать меньше, как можно меньше, в идеале — вообще не работать, но получать деньги — минимальные, однако достаточные на жизнь. Государство на другой чаше весов хотело бы как можно меньше «отвесить», распределить, отдать за труд. И естественно, в этой системе главным становилось не качество труда, а его количество, то есть затраченное время. Отсюда невозможность при всех усилиях перейти от экстенсивной экономики к интенсивной. Отсюда такое сложное нормирование труда, распределение по сетке, создание единых тарифов для всех специальностей и территорий. Здесь из-за желания «обвесить» возникло деление на отрасли групп А и Б...

Итак, главная задача государства — как можно меньше дать, а главная задача «работяги» — как можно больше взять. Система «мечтает» о том светлом состоянии, когда люди будут работать бесплатно. Это и есть ГУЛАГ. Или коммунизм. Работник «мечтает» о том светлом состоянии, когда он будет работать так же, как есть, когда работа станет сродни аппетиту, половому желанию и будет определяться только физиологией. Идеально стремясь к максимальному выполнению своей минимальной задачи, общество в целом шло к затуханию, к свертыванию, к сужению деятельности. Но это идеально, по-бумажному. Реально же, и здесь надо быть честным, чувствовалось, что все в этой стране становится как-то одновременно и хуже, и лучше. Лучше в том смысле, в каком каждый пенсионер, долго работающий человек вообще, сравнивает свой уровень жизни и уровень жизни предыдущего поколения, отцов и дедов. Он — в отдельной квартире, а они — в коммуналке; у него есть зимняя и летняя обувь, пальто и плащ, а у его отца было только самое необходимое — сапоги да гимнастерка; то есть происходит медленный, но имеющий свою логику процесс накопления. И одновременно жизнь все хуже. Это тоже реальное ощущение. Такое же реальное, как стол и стул. Увеличивается дефицит всего и вся, растут цены, ухудшается система бытового обслуживания и торговли, то есть та сфера, где потребитель напрямую сталкивается с качеством труда, где труд является как бы конечным продуктом. Иными словами, там, где потребитель сталкивается с собой, как с производителем, он в шоке. В шоке от самого себя. Привыкли в этих случаях говорить, что у нас нет хозяина. Но хозяин, дающий минимум и оговаривающий, где и как работник может лениться, пить и даже украсть, этот хозяин у нас был. И есть. Это хозяин системы. И этот хозяин — мы, каждый из нас. Любая попытка изменить экономическую систему приводила к необходимости изменить систему весов, при которой каждый был хозяином страны — любое реальное изменение экономики изменило бы его жизнь, его прожиточный минимум. Так что у любой экономической реформы тех лет, как и сейчас, не было и не могло быть проводников, то есть людей, имеющих иной, отличный от остальных интерес. Все были озабочены собственным минимумом, борьба шла только за себя и свое. Никакая система привилегий не ставила никого над всем и всеми. Тут не должно быть никаких иллюзий. Привилегии, с которыми мы так громко боремся сегодня, — это просто минимум другого уровня. Вспомним Чаушеску или других бывших лидеров Восточной Европы. Их поведение, их взяточничество, их стяжатель-

ство по типологии, по структуре ничем не отличались от казнокрадства и воровства в большом универсаме, потому что они тоже были частью одного экономического закона.

Наша раздвоенность, столь ярко выраженная в интеллигентских кухонных разговорах и в крепких анекдотах, которые ныне исчезли, шла от того, что мы действительно были как бы хозяином и работником в одном лице. Хозяин смеялся над работником — работник над хозяином, и оба спорили до хрипоты, как надо вести дела. Хозяин орал, что земле, заводу, реке и лесу нужен хозяин, и... воровал, а работник настаивал на том, что это он все производит, он главный, и ему необходимы почет, уважение, а все сделанное им нужно справедливо распределить и... сачковал. Мы спорили, мы путались в «кизмах», забывая, что человек не может быть женщиной и мужчиной разом, вернее, может, но это приводит к печальным психическим последствиям. И если нам недодавали, как работникам, мы брали свое, как хозяева.

Взвалив на себя бремя сверхдержавы, чаши весов никак не могли уравновеситься — стрелка ходила то в одну, то в другую сторону. Дефицит как следствие неравновесия углублялся. Работнику казалось, что его «кусочек колбасы» съедает тот, кто ничего не делает; тому же, кто как бы «ничего не делает», казалось, что работник беспробудно пьет. Две попытки вылезти из этого положения и уравнять весы были предприняты накануне перестройки. Это печальная кампания борьбы с алкоголизмом и подписание серии договоров о сокращении вооружений. Обе попытки провалились. Первая понятна почему — когда работник и хозяин существуют в одном лице, бросить пить невозможно. Вторая попытка завершилась полным крахом потому, что «сверхдержавность» понятие не только внешнее, но и внутреннее, притязания ВПК, который подчиняется тем же законам, что и все остальное, шли не от оборонных задач, а от желания увеличить свой минимум, свой кусочек пирога. Ни у того, ни у другого начинания не было проводников.

Так что же за тип отношений у нас сложился, который ни во что не перестраивается, никаким реформам не поддается? Как выйти из тупика? Как изменить закон об обмене минимумами? Как развести по разные стороны хозяина и работника?

А нужно ли это? Ведь социализм можно понимать, как некое объективное движение общества, людей к цивилизованному потребительскому минимуму и цивилизованной, справедливой мере труда.

Производственные отношения можно понимать вполне по Марксу — это отношения, складывающиеся в процессе производства, обмена и потребления. То есть, например, любовь есть отношения, складывающиеся в процессе знакомства, подготовки и проведения полового акта. Приблизительно так. Маркс не утруждался и мы не будем. Что мы, хуже?

Производственные отношения есть производственные отношения. Любовь есть любовь. Но какая любовь? Какие производственные отношения?

Служу царю, отечеству, Господу Богу, начальству, партии, одно слово — службу, С л у ж б а. Это один тип отношений, извечный и древнейший. Особенности ее, Службы, в том, что личность в любых случаях подчинена тому, кому служит, все смыслы, все обоснования — все там, в заоблачном и земном: у царя, у Бога, у кого угодно. Это подчинение до такой степени может быть экзальтировано, что за идею идут на костер, за царя на смерть, на битву. Служение выше рациональности, выше выгоды и личного интереса. Разумеется, и тут можно служить, что называется, с полной отдачей сил, а можно с прохладцей, но качество Службы зависит не от того, совпадает ли это с интересами того, кто служит, а исключительно от строгости, красоты и строгости пирамиды смыслов и соподчинений. Есть роды человеческой деятельности, такие, например, как военное дело, которые могут осуществляться исключительно в рамках Службы. Страшно представить, что генерал и солдат будут спорить, как провести военную операцию. Часто Служба требует не только самоотверженной деятельности, но и

жизни. В отношениях Службы всегда четко определены как иерархия, так и конкретный исполнитель.

Другая категория производственных, общественных и человеческих отношений — Дело.

Часто слышишь: «Дело есть дело». Иначе говоря, за скобки этого типа отношений должно быть выведено все случайное, постороннее, не имеющее касательства к главному, к Делу. Дело вещь жесткая, но оно не предусматривает жесткой конструкции «исполнитель — начальник», наоборот, даже от самого низкого исполнительского уровня требуются инициатива, понимание сути работы, желание вмешиваться во все тонкости процесса. Если на Службе важны внешние характеристики — «гвардейцы должны быть под стать королю», то в Деле, кроме деловых, нужных качеств, иных не существует. Если вы говорите Дело, не очень важно, как вы выглядите; рациональность, эффективность, взаимовыгодный интерес — вот его суть и смысл.

Отношения Службы — это отношения порядка, субординации и дисциплины, Дело тоже требует всего этого. Но в других пропорциях, с учетом того, что иерархия подвижна, дисциплина относительна, субординация не так важна. Дело требует, чтобы человек находился «в деле». Достаточно сравнить: «в деле» и «на службе». Один предлог предполагает нахождение внутри чего-то, внутри смыслов, действий и т. д., другой — предполагает место на чем-то, на пирамиде смыслов и приказов. Дело — временно. Служба — вечно.

Идеально, с точки зрения конечного результата, чтобы управление экономикой было построено по принципам Дела, кстати, у Дела есть принципы, у Службы — устав. Если в обществе превалирует Дело, значит, высоки показатели деятельности, множественен и качественен продукт.

Невозможно представить бизнес без выверенных, взаимовыгодных отношений. Городской сумасшедший, если ему в голову пришла отличная коммерческая идея, или он изобрел то, что сулит выгоду и успех, вступив в деловые отношения, приобретает вес и значение в обществе. Любой способный, талантливый человек мечтает о работе, где можно выложиться и раскрыть свое «Я», где во имя Дела пойдут на уступки, будут мириться со всем, лишь бы был результат... Деловые отношения — это отношения, в которых человек расцветает, как личность, но одновременно сильное рациональное начало ведет к нравственным издержкам, к эгоизму, безжалостности, эмоциональной пустоте. Многие плюсы оборачиваются минусами. Например, Европа, старая цивилизованная Европа, колыбель Дела, стонет под напором азиатских нуворишей, которые, пройдя выучку, вернее, муштру Службы, сменив тип отношений на деловой, добились невероятных результатов и невероятной эффективности. Сегодня англичанин думает: может ли он стать японцем? И хотя все его подталкивает, чтобы стать им, — он не хочет и не может. За следующий шаг к суперэффективности ему придется расплачиваться национальным архетипом...

Ну а мы?

«Больной перед смертью потел?» «Да, очень». «Хорошо, хорошо...» Шесть лет потел, с восемьдесят пятого года. Он, правда, и перед этим с постели не вставал, под себя ходил, но то, по сравнению с последним периодом, было легкое недомогание.

Служба? Дело? Они, конечно, еще в остаточном виде присутствуют, но деформированными, искореженными. Главное и определяющее для того, «что мы построили», — принципиально новый тип отношений. Я называю его Дружба. Это она, лапочка, довела страну до краха, это она, милочка, не передельвается и не перестраивается ни в Службу, ни в Дело, это она, ненаглядная, тревожит нашу растерзанную душу неантагонистическим и бесплатным, это ее цвет на люмпенских знаменах, это мы — совки, кровные братья, друзья-товарищи по партии, по работе, по ГУЛАГу, по несчастью, по всем бесконечным проблемам. Рыли Беломорско-Балтийский, строили великую, неповторимую страну, а построили тотальную, тоталитарную Дружбу. Дружбу всех дружб. Где «все, как один», где «обеспечивается всестороннее развитие и... непрерывное совершенствование и рост...».

Итак, Дружба.

Про Дружбу не скажешь «Дружба есть дружба», — слишком неясные, зыбкие, многомерные отношения. Достаточно поддержать на языке понятия «мужская дружба», «женская дружба», «друзья навек», «подруги»... Тут в самую пору припомнится — «Дружба дружбой, а служба службой». А по отношению к Делу — «Дружба дружбой, а табачок врозь», то есть собственность, выгода — врозь.

Дружба — это прочное соединение других — разных, отличных — на некоторых нерациональных, неточных, неопределенных основаниях. У Дружбы свои доминанты: снисхождение и порядочность. Дружба — это любовь без полового желания. Ну, почти любовь. Иные возразят: «Ну какая еще дружба, мы такие злые, неулыбчивые, агрессивные». Я так, честно говоря, про роскошества западной, демократической улыбки слышать не могу. Как же непонятно — она же им только для дела нужна! Акт сугубо рациональный. Наша же природно-беспричинная злость — от чистого сердца. Хамят от того, что добра желают, — мы же друг другу не конкуренты, и «нечего из себя строить».

Если вы устраиваетесь на работу, на любое место — от мусорщика до директора института, — везде, пусть даже на Политбюро утверждают вашу кандидатуру, все будут сомневаться только в одном и проверять только одно: «наш — не наш». И не идеологию, не верность принципам будут иметь в виду, а другое — некую порядочность, можно сказать, «дружественность» к тому коллективу, в котором предстоит работать. Подбирают товарища по работе, все остальное неважно: «не умеешь — научим, не хочешь — заставим», но «человечек» должен быть наш, свойский. И если в редакции диссидентствуют, то и он должен, будь хоть корректором — «разделять», а если на заводе или в министерстве принято «отмечать и складываться», а вы не пьете — горе вам, даже если вы замечательный специалист. Исполнительность и профессионализм на третьих, четвертых, десятых местах, главное — как вписываешься в коллектив, потому что индивидуальные достоинства заменит коллективный разум и общие для всех чувства. И рекомендации, конечно, будут нужны. Хорошо, чтобы кто-нибудь привел или позвонил и подтвердил: «Не продаст, не заложит, не будет мешать жить». И поэтому никаких испытательных экзаменов и тестов — вы устраиваетесь не на работу, вы дружить устраиваетесь. Наниматель выступает не в роли собственника, даже не в роли ее распорядителя, он сам кем-то безликим нанят, он выступает от коллектива, от определенного круга лиц, которые принимают в свою компанию «социально устроенных-пристроенных», где два раза в месяц сумма прописью, путевки, бюллетени, очередь на жилье и вообще все, как у людей. Вы при подписании этого незафиксированного контракта, помимо зарплаты, интересуетесь одним: где, работая, вы можете не работать. Необходимо знать, можно ли опаздывать, сбежать иногда в магазин, четко ли соблюдается обеденное время, можно ли уйти раньше, вообще не приходиться или делать на работе «свою», другую работу. И если место хорошее и наниматель нормальный человек, он прямо вам скажет: «У нас режим свободный». И тогда надо принести торт или бутылку водки, — лучше коньяка — и «прописаться», дать знак, что ты свой, советский, все понимаешь, никого не продашь, будешь «отстаивать интересы коллектива», давать и получать по Дружбе. Вы можете быть химиком, но, по дружбе, не так трудно устроить вас в балетную труппу Большого театра, куда угодно, лишь бы вы были свой. Наниматель и исполнитель равны по сути, хотя чаще всего и получают из разных распределителей. Просто наниматель член двух коллективов, двух дружб — наверху и внизу, но это ничего не меняет, они одинаково далеки от интересов Дела, для них существует только минимум задач, которые надо выполнять. На языке советского нархоза — план. Не выполнил — придумай оправдание и продолжай жить дальше.

Государственный интерес, выраженный в идее какой-либо службы, тоже растронен. Провозглашая себя системой открытой, то есть незаконченной, незавершенной, ленинизм не изобрел железных правил общественного устройства, по которым бы наказание или поощрение за ту или иную деятельность, поведение, высказывание следовало с неотвратимостью. Считали, опираясь на возрожденче-

скую веру в человека, что освобожденный от собственности и среды, он сам, автоматически становится гражданином, то есть будет служить «одарившему» его обществу. Некоторые представители рода человеческого своей жизнью подтверждали теорию, но не все. Ничего не было предусмотрено для тех, кто не поверил в большевистский идеал, кто решил просто жить. Наугад, по выбору, по социальному происхождению их предполагалось уничтожать, и это делало систему более жесткой, как бы философски стройной, но одновременно ослабляло трудовой, интеллектуальный потенциал, отбрасывая от остального мира. И снова надо было выбирать: чего должно быть больше — цивилизованности или средневековья? Никита Сергеевич захотел «цивилизованности», но когда не поняли его добрых намерений, пришлось снять башмак и стучать по столу...

Собственности и Дела — нет, идеи непонятны, за одно и то же кому ордена дают, кого расстреливают, так что служить некому и нечему, и — начали выживать, объединяясь в группки. Так, исподволь, родилась Дружба.

Устраиваясь на работу, мы об этом и договаривались.

«Выживаем вместе, все ясно?» — «Да, я согласен».

Мы соглашались, считая вполне искренне, что увязываем личное с общественным. Правда, ничего общественного уже не существовало, была только некая маска, гримаса, некий оставшийся от былого ритуал. Обществом, и подчас очень милым, славным, замечательным, с идеалами, были те, кто рядом с нами, это был наш круг, наши друзья. Они помогали нам жить и выжить. Самое страшное было потерять их. Дружба...

Наша Дружба, как тля, поела листья, которые всему организму должны были приносить тепло и жизнь. Но, уподобив Дружбу тле или какому-нибудь другому паразиту, который съедает и переползает на еще живое, становится «обидно за бесцельно прожитые годы». Нет, это была жизнь, наполненная энергией, ценностями, поисками и смыслом, потому что это был единственно возможный способ существования. Именно благодаря Дружке «в магазинах ничего нет, а в холодильниках все есть». Конечно, как всякая частная дружба, она была слепа, видела только то, что под носом, да и как иначе, если философия и теология — глаза общества — уничтожены, национальная государственно-политическая плоть и вообще вся культура вытравлена и забыта. Отказавшись от монархической системы, от Служения и не придя к деловому парламентаризму, Дружба стала естественным следствием нерешенных проблем власти. Удивительное соответствие: весы двух минимумов внизу и весы власти наверху из Советов и КПСС и две экономики — легальная, количественная, и — теневая экономика выживания, качественная. Одна — «на-гора», другая — по норам.

Мы построили Дружбу, она у нас, как намытый водой остров. Как лягушка, попавшая в молоко, мы взбили, выстрадали свое нелепое, неожиданное спасение, построили то, в чем плохо, но можно жить. Дружке способствовала и интернациональная концепция коммунизма как пролетарского братства, которая, в свою очередь, восходила к христианству. Превращенная, она воплощалась в партийные программы, где все оказывались двух сортов: друзья и враги. С врагами нельзя ничего — на улице встретиться, кофе пить, а если такое вдруг произошло, то немедленно — на Лубянку и рассказать все. И даже больше. А с друзьями чего только нельзя?! С друзьями все можно — нарушить все законы, барьеры, логику и, пусть сегодня это невыгодно, нерационально, преждевременно, главное, что в отдаленной перспективе тотальной Дружки, рациональное, собственное, свое исчезнет и в едином чувстве, как на Первое мая, растворится мир. Власть денег отпадет и воцарится...

Сегодня, предчувствуя угрозу перехода в какие-то иные отношения, мы начинаем осознавать, в чем жили и доживаем. И это не ностальгия, не упрямая привычка к ничегонеделанию, к обманчивому коммунистическо-социалистическому спокойствию, к прожиточному и трудовому минимуму — нет. Кажется, многие начинают понимать, что разрыв между тем, что есть, и тем, что должно быть, и на этот раз не уничтожается прямолинейным движением к демократии и рынку. Сомнение, которое в нас зародилось, гораздо про-

дуктивнее благородного кипения «у нас — у них». Сомнение, которое я исповедую, а также сама ситуация как бы снова единого мира дает возможность задуматься о судьбе человечества в целом; вспомнить о том, что западная демократия и наш доморощенный социализм — два яблока с одного дерева, два плода одного заблуждения, одной веры в человека без Христа, в одни его только созидательные возможности. Но он и разрушает неплохо, пьянствует, ворует, блудит... Опыт социализма, как и опыт любви, не всегда только отрицательный. Горечь горечью, но вкус от прожитого сложнее, чем простое «не нравится». Идеи не умирают по решению Конституционного Суда, а люди, неожиданно-негаданно обретшие собственность, не становятся морозовыми и рябушинскими, даже хозяйчиками не становятся, не то что хозяевами. А так мечталось, так хотелось, так коллективно лили слезы деревенчики, и публицисты были уверены, что раскрепости, отдай — и страна завалится колбасой. Голландской, обмененной на нефть и газ — может быть. Но не есть ли трансформация марксизма — всеобщее заблуждение, что собственность в любом обществе расставляет все точки над «и»? Может быть, вопрос о ней и есть самый большевистский вопрос? Он привел к Октябрю, он приведет и к следующему. Единого капиталистического мира не существует. Любое общество — это, может быть, вопрос о собственности плюс что-то еще; это «еще» — человек, Христос, культура, традиции, Бог знает, что, но это и отличает одну страну от другой, хотя форма собственности по Марксу одна — что из этого?

У Дружбы есть свои правила, но поскольку образование это сложное, тонкое, я бы сказал, коварное, то и правила здесь хитры. Возьмем, к примеру, номенклатурное движение кадров в бывшем Союзе. Известно, что для выхода наверх был необходим стаж партийной работы. Зачем? Парработники отличались от прочих тем, что их Дружба замыкалась только на самих себе: здесь не было невыгодного места. Самый низкий уровень в партиерархии, инструктор какой-нибудь, являлся руководителем и контролером за пределами райкома или обкома, и только «пригубив» этой Дружбы, можно было рассчитывать на ход вверх. Или почему, прежде чем из второго секретаря области стать первым, надо было год или два поработать в ЦК в Москве? Надо было не просто ввести в Дружбу, но и «выключить» будущего кандидата из предыдущих связей. Одновременно вертикальное движение возможно только в расчете на лично преданных людей из горизонтальной Дружбы. «Подбор и расстановка кадров» шли исключительно по принципу «кто с кем водку пил, кто кого знает». Повезло Горбачеву и Полозкову, которые своим движением обязаны тем, что правила на партийных курортах и обрастали дружественными связями быстрее других.

Конечно, на территории бывшего Союза Дружба была с разными оттенками — родимыми пятнами прошлых эпох. Где-нибудь в Узбекистане, в других республиках Средней Азии — это была Дружба с привкусом Службы, а в Прибалтике или в Москве она уже имела лоск Дела. Но везде и всегда это было некое корпоративное поведение, построенное на личной симпатии, взаимобязанности друг перед другом. Дружба — это когда нет ничего лежащего вне самих отношений. Ее сила в ней самой, рациональность — в умении ее строить и подчиняться ее правилам, результат — в ее бесконечном продолжении. Дружба — это не производство производства, а производство жизни. Напрямую, без посредников. Именно поэтому все программы, постановления съездов, нацеленные на развитие производства, приводили к противоположному результату — расцветала ж и з н ь.

Скажем, Продовольственная программа. Парадокс: как бы неправильны ни были ее концепция, расчеты или сам ход выполнения, но выделенные огромные денежные средства, даже неумело вложенные, не должны же приводить к еще большему падению производства продуктов питания. Однако, как оказывалось, после десяти лет Продовольственной программы страна пришла к еще большим закупкам хлеба за рубежом и нормированию элементарных продуктов. Средства раскладывались на множество интересов различных «дружб», где одним было выгодно закопать, другим — раскопать. Это называли ведомственностью, но на-

звание неправильно, потому что внутри самого ведомства образовывались «дружбы», они становились групповой системой выживания. Выгода от вложенных денег рассматривалась только как способ продолжить и улучшить свое существование, расширить прожиточный минимум. Те, кто пытался противостоять этому, получали инфаркты, их увольняли за то, что они апеллировали к аргументам Дела или Службы. И: вынуждали принять сложившиеся правила игры. Они искали законы, но у Дружбы законы писаны только для того, чтобы существовали правила.

Многое можно объяснить через Дружбу. Почему, например, «лица кавказской национальности», как их теперь называют, сформированные в типологии «Дружба с оттенком Службы», легко делали карьеру в столице? Они, как правило, занимали в высшем руководстве посты, где необходимо было обслуживать, где на первом месте — личная преданность. Это, конечно, и Берия, и Георгадзе, и другие. Эти люди приносили «наверх» мировые идеи клановости, семьи, рода, они сообщали Дружбе некое новое качество. Еще один-два шага — и Дружба могла перерасти в Родство¹. Нигде Брежневу в последний, самый марзматический период, не оказывалось столько почестей, как в Алма-Ате и Баку. В начале восьмидесятых многие боялись появления в Москве Гейдара Алиева и этого рода лиц, которые могли изменить типологию Дружбы...

Всякое неосознанное, дилетантское посягательство на Дружбу заканчивалось для реформатора трагически, но не продвигало Дружбу ни в сторону Дела, ни в сторону Службы. Тут уместно вспомнить Н. С. Хрущева с его желанием сократить министерства, изменить территориальную систему управления. Такие примеры можно отыскать на любом уровне — если руководитель посягал на Дружбу, все понимали, что в этой системе он временный человек. Никогда плановое сокращение штатов не приводило к рационализации, в итоге таких встрясок Дружба еще больше укреплялась.

И вот 1985 год... В стране господствует Дружба. Она так всеохватна, что потеряно ощущение врага, оппозиции. Кажется, еще шаг — и внациональное братство, новая историческая общность, все научились жить со всеми, все слон передружились и притерлись... Еще немного — и Дружба перерастет в Родство. Нет общества, но есть человек, наш, советский, реально существующий, который минимум своего труда обменивает на прожиточный минимум. Ему много не надо, но и нельзя не дать ничего.

Кризис назрел. Но это не кризис по Ленину, это кризис в управлении. Активизировались силы Родства, для простоты это можно назвать «рашидовщина», но только для простоты; вынуждены защищаться силы экономически несостоятельной Дружбы. И те и другие осознавали себя как нечто различное в процессе борьбы за власть, за кресло умирающего старца. Дружбе надо было совершить отчаянную попытку сохранить сложившуюся систему, сохранить «статус-кво». Но своих идей — нет. Катастрофически нет. Обслуживающая Дружбу наука может только «дружить с властью», но не решать вдруг возникшие проблемы. Поскольку тактика политической борьбы требовала быстроты реакции, то, не дожидаясь выработки методологии и границ перестройки, начали привычно — с «чистки». Это наверху. А «внизу» — антиалкогольная кампания. Обе попытки укрепить и «ускорить» Дружбу, естественно, привели к краху и возникновению еще больших проблем. Не имея своих идей выхода из кризиса, верховная власть обращается к заготовкам диссидентствующей общественно-экономической науки. Сказав «А» экономистам-рыночникам социалистического толка, приходится говорить «Б», а затем и «В», и, в конце концов, звонить Сахарову в Горький. Но у самого диссидентства наработки были сугубо критического свойства, в основном — исторический взгляд и грамотное разворачивание противопоставления «у нас — у них». Хозрасчет, самоокупаемость, самоуправление, рынок, демоно-

¹ За рамками этой статьи я оставляю осмысление еще одного типа отношений — Родство. Не хочу его никак определять, потому что это уводит от задач данной работы, меняет ее пафос. Одно можно сказать сейчас: Служба, Дело, Дружба и Родство — это, на мой взгляд, как игральные карты, которыми можно играть во все — от «пьяницы» и «дурака» до «бриджа» и «преферанса». Так же и здесь страны, их населяющие люди могут сыграть в Англию, США, Колумбию, Россию, но карт в этой колоде всего четыре, в них осуществляются человек и общество.

политизация, приватизация, конвертируемость рубля, демократизация — это были идеи, выраставшие не из самой действительности, а из определенного отношения к ней, из точки зрения. Их позитивность была в том, что они описывали и утверждали некую общечеловеческую, общеэкономическую норму. Но знать о том, что печень не должна быть увеличена, а в моче не должно быть крови — мало, чтобы начать лечить. Не говоря уже о том, чтобы вылечить. Пять-шесть лет перестройки поставили забытый на семьдесят лет для России вопрос — что делать? После августа 1991 года и начала не реформ, конечно, а прямой экономической оплаты политических векселей, он встал со всей силой. Родство в новой ситуации заявило о себе войнами, где решаются не территориальные и национальные проблемы, а во что будет в перспективе — культурной и политической — перерасти Дружба: в Дело, в Службу или в Родство? Распад Союза стал логическим, естественным следствием разложения, деления Дружбы.

Год 1993. У нас все еще Дружба.

Открыли клетку канарейке, а она на волю не летит. Одни сокрушаются: «Вот уже воли не чувствует, надо же, до чего довели!», другие говорят: «Нет стимулов, вы ее заинтересуйте, покажите, как другие летают». Третьи советуют: «А вы ее не кормите!» — «Как?» — «А не кормите и все — жрать захочет, полетит». В общем, в клетку — гнать, и на волю — гнать, главное — гнать. Большие, одним словом, не ждут милости ни от кого, взять — и вся задача.

Прямые вопросы.

Кто пришел к власти? Зачем? Угрожает ли кому запрет КПСС? Почему победил без боя? Что власть понимает о себе и что надо про нее понимать? Иллюзии этой власти, ее внутренние интенции, нравственный, политический, профессиональный опыт? Искренние и неискренние заблуждения пришедших наверх людей? Кто остался за бортом? Вообще, кто-нибудь остался?

Перестройка чего и во что? Что реально изменилось в стране?

Что произошло в мире? Где теперь «мы» и где «они»? Может ли нам помочь Запад и чем? В чем наши собственные интересы?

Может ли быть Россия не центром мира?

Как относится к происходящему люмпен?

Кто реально заинтересован в Деле и как помочь этим людям? Много ли их?

Есть ли мирный выход из Дружбы? И выход куда? Во что?

Я считаю, что Дружба не поддается рационализации, то есть ее нельзя переделать на путях, которыми шла Германия после войны, или Япония, или Чили в семидесятые годы, или любая другая страна. Возврат через реформы в западном представлении, через реформы, как некоторые законодательные усилия, невозможен. И не потому, что приватизация плоха и частная собственность не эффективна и хуже государственной, а парламентаризм изжил себя, — нет. Рационализации поддается Дело, которое может быть на спаде или подъеме, — феномен Дружбы состоит в том, что произошла деформация трудового сознания и общество, как некая общность, утеряно и нет сосудов, по которым потечет энергия реформаторства. Более того, сама идеология возврата (ну, конечно, к капитализму, как бы правительство ни избегало слов) непродуктивна. Через некоторое время она превратит общество в два враждебных лагеря: одни захотят вернуться в цивилизованный мир мягкого капитализма, другие — оказаться несколько ближе, в Дружке с репрессиями или без, но не в 1913 году, а в любом из до-горбачевских. И у кого больше шансов?

Станислав Говорухин в своем фильме «Россия, которую мы потеряли», показывая пьяных и опустившихся людей возле пивного ларька, спрашивает зрителя: что делать с ними? Это же люмпен, если его поднять, он на все способен? Хочется заметить, что люмпен не только тот, кто давится в очереди за спиртным и физически деградировал, люмпен и тот, кто в Доме кинематографистов пьет кофе с коньяком, люмпены мы все, выживающие персонально, а не через общество, до которого никому дела нет. Разве не люмпенская психология захватила теперь нашу культуру, когда писатель пишет не в стол для потомков, а для любого, кто платит. «Старая интеллигенция жила исключительно грядущим, к

которому часто бывало мечтательное отношение. Новая советская интеллигенция живет настоящим». И здесь Николай Бердяев был прав. Стоны о желании сказать истину оказались несколько преувеличенными...

Культурное смыкание с Америкой чудовищно и страшно, если это произойдет, рухнет последняя надежда на возрождение общества и крепкого здорового государства. Речь не о культурной исключительности — это вопрос другой, философский, глубокий и спорный, но ясно одно: сегодня государственная политика в сфере культуры — самая главная. Это возможность разговаривать со своим народом, не растворить в серной кислоте массовой культуры Запада, может быть, все еще чудом не порванную нить. Не просто финансирование, а бешеное финансирование культуры, русского глубокого кинематографа, литературы, толстых журналов, театра, живописи, всего, что укрепляет культурное, национальное своеобразие. Говорю об этом не потому, что сам заинтересован, просто это вопрос и стратегический, и тактический. Без культурного влияния, культурной политики на выборы никто не придет. Ни на какие. Ни за кого.

Наивно думать, что на месте, где семьдесят лет укрепляли материалистические взгляды, ленинизм, не должно быть ничего, потому что не нужно, но в таком случае и не может быть иного, кроме чертополоха из обрывков старых и новых теорий. На другой день, как рухнула КПСС, до предела обострился вопрос: что нас связывает? Он обострился в экономике, политике, культуре, но он обострился и между людьми. Для большинства это означало одно: спасайся сам, как можешь. Рассыпались очереди на жилье и машины, обесмыслились ордена и медали, привилегии и подачки, даже «жалобная книга» из магазинов исчезла. Кому писать и что? Как ни странно, это был удар не по Дружке, а по остаткам российской государственности. Нельзя забывать, что напряжение, которое называли «холодной войной», было не только напряжением политиков и армий, оно не только выворачивало карманы налогоплательщиков с той и другой стороны, но имело созидательную сторону: ярче обрисовывались ценности Свободы и Силы, работали защитные механизмы национальных культур. Под этой крышей тихой жизнью жили традиционные исторические и философские вопросы. Хорошо, что опасное военное противостояние снято. Но на Западе, особенно в США сразу возникла бездна проблем, включая экономические. Там ломают голову: а что теперь? И нам надо думать о том, что будет там, где стоял ш к а ф?

Наверное, сейчас никто не в силах создать идеологии, более того, кабинетная идеология и не нужна. Идеология может вырасти — и обязательно вырастет — из культуры, но из культуры живой, а не полудохлой, чахлой. Поэтому культурная политика — стратегия номер один. Чем ее наполнять, это вопрос особый, ведь понятно, что культура — не только деньги. Но сегодня достаточно предельно простой формулировки: поддерживать и финансировать все свое и для своих.

Если кому-то хочется на Красной площади устроить грандиозное шоу, — ради Бога — за свой счет и за большие деньги, ибо для «них» Красная площадь еще не стертая декорация, но для нас лучше устраивать шоу в другом месте. И не потому, что Красная площадь для нас святое, просто мы все прекрасно понимаем: изначально это устраивается не для нас. И под предлогом знакомства с большими художественными ценностями не крутить мексиканских сериалов, не крутить их, несмотря на то, что «они нравятся и отвлекают народ в тяжелое время»... Может быть, кому-то покажется, что я хочу приспустить железный занавес, но нет, надо просто заставить культуру работать много и качественно для своего народа. Это необходимо, чтобы сохранить остатки гражданского общества, не утратить хотя бы культурную, эстетическую собранность.

У каждого из нас в зубах навяз вопрос; что делать с экономикой? На мой взгляд, тут дело не в сроках — к лету, к осени, к зиме. «Какой русский не любит быстрой езды!» Экономические проблемы решаемы не рациональным наскоком группы экспертов. И «мальчик из библиотеки» не спасет. Сбылась вековая мечта просвещенной России, и во главе правительства встал грамотный, начитан-

ный, способный молодой человек, москвич с благородным советским происхождением, владеющий иностранными языками, но он, по немыслимому парадоксу этой страны, оказался ей не нужен — Дружба не поддается рационализации, еще раз повторю я. Игра в бюджет, в процент, в структурную политику, конкуренцию и либерализацию без решения вопроса о том, что делать с людьми, которые не Служат, не Делают, а Дружат, невозможна. В стране, где слово «минимум» определяет все — и труд, и потребление — максимум изобилия из минимума труда не возникнет. Обилие импортного дорогого товара стимулирует не труд, а преступность, воровство и казнокрадство, теневую систему выживания. Как ни крути, а опять выходит большевистская реформа. Лобовая атака на Дружбу опасна, ее реальный итог — разорение и возврат коммунизма.

В феврале — марте 1992 года многие полагали, что прессинг либерализации цен вытолкнет на улицу миллионы, но они не вышли, демонстрируя завидное терпение. Тогда говорили об особенностях русского характера, о богатом советском опыте жизни в трудное время и так далее. Но тут, на мой взгляд, другое: Дружба не терпит открытой конфронтации, она проблемы не решает, а улаживает. И вот к лету, уже без митингов и обвальных забастовок, все «передружились». Ни бюджет не удержали, ни инфляцию, ни зарплату — ничего. Даже правительство, которое должно было погибнуть из-за своей принципиальной позиции — не погибло, дожило до зимы, когда сил Дружбы вполне хватило, чтобы по привычной схеме везде расставить «наших». Попробуем, хоть умозрительно, основываясь на планах тогдашнего правительства, реформировать хотя бы небольшую обувную мастерскую, а не завод-гигант.

В задаче дано: пять — семь человек работают в мастерской, им важно работать так, чтобы получить свой минимум, скажем, 60 тысяч рублей в месяц на всех; таких мастерских всего две на микрорайон, ибо их проектировали, исходя из некой градостроительной нормы — две мастерские на 100 тысяч жителей. Ни накоплений, ни иных средств на счету у них нет. И вот мы хотим, чтобы в мастерской не было очередей, вежливо обслуживали, быстро и качественно выполняли заказы. В результате либерализации работники получили возможность назначать справедливые цены, любые. И вот цены подскакивают на несколько порядков, трудоемкие виды работ исчезают из прейскуранта, работники быстрее, чем раньше, набирают свой минимум, который им позволяет жить так, как они привыкли. Если они даже не монополисты, то они путем сговора формируют цены.

Акционирование — передача мастерской в собственность коллектива. Реакция? Никакой! Мастерская и так по сути была в собственности работников, интересы коллектива никак не колебались. По существу, это социализм в другой редакции. Появилась возможность вообще не работать — закрыть мастерскую, отдав часть ее или всю в аренду торговле или иному виду бизнеса, где большой и быстрый оборот, и обеспечить дополнительно пять — семь человек не проблема. Возможно банкротство, если услуги вдруг перестанут пользоваться спросом, что маловероятно, скорее всего — из-за нерадивости. В любом случае это банкротство не результат конкурентной борьбы — просто в условиях дефицита идет спад производства. Третий вариант. Приватизация в одни руки. Основной вопрос — какие? В теневые структуры или одному из работников? Но у кого есть деньги, чтобы выкупить часть собственности у остальных? Это огромный социальный и политический вопрос, и законодательно его непросто решить, но, допустим, он как-то решился. Что делает новый частный владелец? Выгнать всех? Заставить качественно и много работать? Но как? Нет дополнительных средств, да и сам новый собственник — продукт Дружбы. Более того, теперь к обувному делу его ничего не привязывает, он будет искать более прибыльный бизнес — в итоге мастерская закроется, хотя обувь все равно чинить надо. Скорее всего, он будет использовать возможности частника-монополиста и найдет «общий язык» с теми, с кем работал прежде.

Что следует из этого беглого и приблизительного расклада?

Я глубоко убежден, что вся система целиком не меняется под давлением за-

кона. Она не управляется ни рублем, ни законом, но ее можно изменять в частях, в секторах, сочетая административные подходы с законодательными. И не надо торопиться перестраивать сложившиеся, существующие по своим правилам коллективы, важнее и перспективнее рядом строить новое, где работать будут не по Дружбе. Успех настоящей политики реформ состоит в том, чтобы найти способ существования, ту жизнь, которую народ желает. Не только большинство, а различные слои. То есть, насилие, большевизм, декретная политика, когда с завтрашнего дня декретом — «свобода слова, печати, собраний и землю крестьянам...», никогда не даст результата, кроме противоположного. В действительность «идеал» не вносится, как красное знамя на съезде партии, «идеал» вырастает. Неудача выбранного курса в том, что он не учел одного странного обстоятельства — идеальный способ существования уже найден и осуществлен в действительности. Это то, что мы именуем Дружбой. Большинство населения хочет социализма, то есть минимума, хочет дешевого хлеба, мяса, колбасы, сыра, простых и доступных лекарств, бесплатного образования. Сегодня, когда все это начало исчезать, люди хотят этого еще больше, еще лучше понимая, что они имели «простую, сносную жизнь», жизнь без напряжения и усталости. «Шоковая терапия нам, — замечательно пишет Георгий Дмитриевич Гачев, — это хлестать клячу по костлявым бокам на подъеме в гору. Напоминают НЭП, когда крестьянин живо наполнил рынок — значит, может русский быть собственником и товаропроизводителем! Конечно! Но ведь за годы советской власти мы развивались в обратную сторону, и в отношении к психике рынка мы даже не в ноле, а в минусе. Как же перескочить — да и с истощенным поколением наших людей? Работник и крестьянин у нас кастрирован в личном интересе и вожделинии. И вот нашему мерину показывают сексапильную кобылу рыночной экономики! А у него нечем на нее реагировать! Наши ж книжные экономисты-реформаторы пришивают ему синтетические яйца и мнят, что он уже — жеребец!»

Итак, самая крамольная мысль: когда история предоставила нам возможность возрождать капитализм и частную собственность, нам ничего не остается, у нас нет другого выхода, кроме как сознательно достроить социализм. Это, может быть, чудовищно и странно, но это так. И Федор Михайлович был бы с этим согласен: «А знаете ли вы, — писал он, — что исторический ход дела — странная вещь? И так не похож иногда на теоретический!.. Смекаешь все у себя в кабинете: ... вот именно так все должно случиться, и пример есть — так вот и в Англии было. Смотришь: вовсе не так выходит на деле... Странная вещь: даже предосадная вещь!»

Вижу одно возможное возражение: а что люди защищали у Белого дома? И почему реформаторство Горбачева было всенародно поддержано? Если попросту — позарились на чужое, глаза-то завидущие. Это все равно, что к нашему бесплатному хлебу «ых» колбаску и сырок, а водка может быть наша... А если серьезно, то поддержка перестройки это прежде всего для интеллигенции — расставание с ГУЛАГом, коммунистической идеологией, свободный обмен информацией, а для землепашцев и рабочих — соблюдение социальной справедливости и законности на местах. Нравится — не нравится, но интеллигенция, получив свое, теперь не будет столь рьяно поддерживать «новое руководство». И скоро мы это увидим. Первоначальный ее интерес удовлетворен, другие были связаны с надеждой, что интеллектуальный труд получит в рыночных отношениях достойную материальную оценку. Но об этом и говорить нечего. Надежды на восстановление справедливости по городам и весям не оправдались тоже. Идеалы перестройки, изначальный ее порыв исчерпаны, мы накануне прозрения и гигантского разочарования. Политическая и экономическая ситуация подталкивает к неким внешним изменениям (многим кажется, что они капиталистического толка, но — нет, это старые интриги власти-дружбы), баланс интересов снова приобретает, я бы сказал, новозастойные формы, в системе дружбы происходит очередное массовое переименование...

И тогда головоломка: социализм-дружба ведет к затуханию, «минимизации», к развалу экономики и государства, но иное, по-капиталистически эффек-

тивное общество невозможно построить, просто не дадут без достройки социализма, который сегодня означает, к счастью, не власть КПСС, а только одно — обеспечение прожиточного минимума.

На мой взгляд, единственный стратегический выход к капитализму по существу, а не по форме, в том, чтобы не забыть тех, кто будущему не нужен. Надо, чтобы «дружок-бездельник» мог спокойно купить хлеб, молоко, сыр, мясо, одежду — стыд прикрыть. Это необходимо политически, это поможет реформам остаться реформами, а не стать революцией, это нейтрализует люмпенов, даст возможность пенсионерам и другим слоям, которым некуда и не во что перестраиваться, доиграть игру по тем правилам, по которым они начинали. С другой стороны, надо изолировать мафиозные силы, силы Родства, которые заинтересованы в быстром захвате выгодных потребительских рынков — им и кровь не страшна, и страна не нужна, в бедной стране их капиталы будут только больше...

Итак — накормить. Легко сказать, но как?! Ведь, если этой проблемы не было, и 1985 года бы не было.

Во-первых, от обвальной реформы надо отказываться, промышленный сектор должен реформироваться с осознанным отставанием после реально начавшегося подъема сельского хозяйства. И, во-вторых, обеспечить «социалистический минимум» надо через капиталистические, частнособственнические формы ведения хозяйства, которые надо вводить и законодательно и властно — властно ограничивая и властно разрешая. Работа на земле, крупное и мелкое фермерство должны стать выгодным и престижным делом. Случайный прохожий, на улице останови его, спроси, — должен знать, что землю получить просто, условия самые выгодные, ссуду дают чуть ли не любому, налоги маленькие и страхование от риска почти стопроцентное. Этот же случайный прохожий должен знать — «просто хлеб» можно заработать в государственных учреждениях и предприятиях, а «хлеб с маслом» — предпринимательством, работой в иностранных фирмах, на частных предприятиях, ремесленничеством.

И тут снова: каким образом? Способов много. Прямая помощь западных банков, которые, минуя правительственные структуры, распределяли бы кредиты под небольшие проценты среди перспективных фермеров, производителей. Туда-то и должны пойти небольшие деньги помощи МВФ и других аналогичных организаций. Опыт стольшинской реформы тоже не должен быть забыт, ибо нельзя крестьянина оставить один на один с землей и писаным где-то в Москве законом. Имея богатый опыт правовой советской защиты, никто не будет брать землю без подлинной «командно-административной» властной поддержки. Конечно, есть не только вопросы налоговых и кредитных льгот в сельском хозяйстве, но и вопрос о том, как наделить землей? Обо всем этом говорить бессмысленно: президент и парламент, а точнее сказать, новое партийное руководство, выбрали другой путь. Вместо приватизации — политический трюк, бумажку всем, чтоб отстали, ваучер на память о коллективной собственности. Вот вам равные возможности, делайте с ними, что хотите. Снимут последнюю юридическую проблему, подберут все под себя и руками разведут перед теми, кто спросит, — извините, у нас к а п ы т а л ы з м.

Мы опять, кажется, что-то строим. Стучат молотки. Остается еще теснее сплотить свои ряды вокруг родной, родимой и ее Белого дома, и беззаветно бороться за претворение в жизнь внутренней и внешней политики. Ни обещанная конвертация рубля, ни стабилизация и насыщение рынка — ничего не вышло, но молотки стучат, как прежде, что бы ни случилось. Стучать надо сильнее. И не замечать. И не отвечать. А потом пойдут этапы. Первый, второй решающий, третий определяющий, четвертый завершающий... Не есть ли это неолевизм и новая полоса незастоя? Какая разница, что строить, лишь бы насиловать действительность!

В 1992 году исполнилось десять лет со дня смерти Леонида Ильича. Десять лет. С этой смерти все началось. Я помню, как пришел ко мне приятель, мы выпили и загрустили: школу закончили при Брежневе, университет при Брежневе,

работать начали при Брежневе и вот сейчас посадят какого-нибудь нового партийного болвана, тоже лет на двадцать, при нем и на пенсию уйдем. И так, помню, стало жалко себя, до слез — неужели? за что? Кто бы мог подумать тогда, что мы будем голосовать, выбирать, агитировать, защищать, кто бы мог подумать, что не будет Союза. КПСС, памятника Дзержинскому, что ничего этого не будет... и все это останется. История началась и история продолжается. Внешняя атрибутика меняется быстрее, чем существо, строй, человек, которого все-таки построили. Судьбы истории опять снизу перемещаются вверх — в коридоры и кулуары, несмотря на то, что пришли как бы мы — демократы, народо-вольцы... И врач на бюджете, и президент не на хозрасчете, но все-таки люди разные. Их задача — как можно меньше дать, наша — другая...

И снова «радикальные реформы» побеждает Дружба, а скоро, если так пойдет, победит и Родство...

Более молодые и энергичные, более языкастые и хитрые, не стесненные формальными рамками ортодоксии — им и карты в руки. А нам? Что нам? «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих...»?

Чьи мы дети? Есть ли у нас родители, даже «тетка в Саратове», есть ли она? Снова жалко себя. Ощущение обманутости, сиротства — не есть ли это предчувствие гражданской войны? Думать, что ничего не произойдет, что «зоологический оптимизм» вывезет, — нет, не могу. Не могу не думать. Может быть, не смогу молчать.

Сентябрь 1992 года

Феликс Новиков

КТО ЗАКАЖЕТ ЗАСТЫВШУЮ МУЗЫКУ?

Кризис, охвативший страну, проявляется во множестве форм, зримо и незримо взаимодействующих между собой. Вовлечены в этот процесс градостроительство и архитектура, которые лишились заказчика — государства, ведомств, местной власти, общественных организаций. И хотя кто-то где-то кое-что еще строит, падение строительного производства за год на тридцать процентов с лихвой перекрывает трудно различимые ростки создания, содержащие новую социальную ориентацию.

АГРЕССИЯ «НОВОЙ ЖИЗНИ». Между тем жизнь продолжается. Она предстает в новых, циничных подчас формах и, не требуя пока для себя вновь создаваемых пространств, отнимает имеющиеся у старых, отмирающих, приспособливает эти пространства к своим нуждам и сама приспособливается к ним. Это видно повсюду. В открытой городской среде — на площадях и улицах, агрессивно занимаемых неорганизованной торговлей. В подземных переходах и галереях, связывающих пересадочные станции метрополитена, в магазинах и универсамах, добровольно уступающих свои площади коммерческой торговле, во множестве киосков, сменивших своих хозяев. Я был свидетелем того, как вице-президент страны, приехав на строящийся комплекс, переданный центру земельной реформы, и увидев обступившие здание безобразные киоски, неожиданно спросил: «Кто-нибудь из вас был в Кабуле?» И услышав отрицательный ответ, заметил брезгливо: «Москва стала похожа на Кабул». Зато президент России, встретившись с московскими архитекторами, сказал с удовлетворением: «Наконец-то поставили киоски, за которые мы бились еще в восемьдесят седьмом». Возможно, это самое безобидное противоречие в ареопаге нынешней власти.

Как бы то ни было, за этим стихийным явлением стоит тенденция, содержащая импульс новой жизни, способной не завтра, но со временем обрести цивилизованные формы.

ДВА ФАКТОРА ОБНОВЛЕНИЯ. Главное отличие возникающих тенденций от привычных советских стереотипов — отречение от всеобщей унификации, многообразие претензий, под которыми подразумевается необходимость предоставить всем формам жизни соответствующие пространства. Это первый важнейший фактор, открывающий для архитектуры широкие возможности. Школа, построенная по типовому проекту, не соответствует представлениям о гимназии, лицее, колледже. Типовой универсам не координируется с новыми формами торговли. Типовой кинотеатр вступит в противоречие с идеалом культурного центра недалекого будущего. И распространенные повсюду жилые дома не смогут отвечать многообразию запросов расслаивающегося общества. И так во всем. Иерархия градостроительных нормативов, многие годы регламентирующая параметры советского города, тоже не сможет послужить базой проектной работы. И Генеральные планы городов, составлявшиеся на десятилетия вперед, утрачивают свой мифический смысл. Все подлежит пересмотру.

Второй важнейший фактор подразумевает смену заказчика. И хотя соответственно разному определяющимся формам собственности определяются со временем

и разные формы заказа, они — в отличие от привычной нам практики — в каждом случае будут напрямую связаны с конкретными интересами человека.

ПРОБЛЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. Сейчас, когда начался сложный процесс приватизации, необходимо учитывать различные тенденции, пребывающие пока в состоянии «перетягивания каната». Однако, как бы ни сложилось соотношение сил, государству уже не удастся монопольно распоряжаться ресурсами страны, направлять их в неведомые края для достижения сомнительных целей. И потому уже не случится так, как бывало прежде, когда в тихих коридорах властных структур тайно решались вопросы размещения стратегических объектов, вокруг которых, по тайному же постановлению ЦК КПСС и Совмина, возникали города с номерами вместо имен. Все это теперь должно решаться гласно, а не так, как в случае с Зеленоградом: осуществление предложенной ленинградскими учеными перспективной идеи увеличило бы население Северной Пальмиры на добрую сотню тысяч жителей, вот она и была переадресована в Подмосковье, где начатое по воле Н. С. Хрущева строительство города-спутника не имело никакой градообразующей базы.

Размещение города в экономгеографическом поле страны — основополагающий уровень градостроительного проектирования. Однако в ближайшие годы проблема эта не станет актуальной. Процесс конверсии и банкротство множества предприятий освободят огромные производственные площади, способные принять новые технологии. Гигантские объемы незавершенного промышленного строительства также смогут надолго покрыть вновь возникающие потребности. И потому ближайшее время вряд ли станет временем закладки новых поселений.

Что же касается Генеральных планов городов — второго уровня градостроительного проектирования, — то здесь необходимо отказаться от долговременных прогнозов, составления и утверждения многотомных документов сомнительной достоверности. Весь советский опыт свидетельствует о бессмысленности таких проектов, о волюнтаризме «плановой» экономики, когда произвол властей, обламывая живую жизнь, неизменно отражался в облике городов.

Еще одним подтверждением шаткости исходных предпосылок стал последний Генеральный план Москвы, разработанный на срок до 2010 года, да еще в совокупности с Генпланом области. Он «сгорел» в Беловежской пуще в момент рождения СНГ, лишившего Москву статуса союзной столицы, вместе с которым она утратила и свои «имперские» функции.

Генеральные планы городов выражали стремление административно-командной системы к диктату во всех сферах жизни. С этим покончено. И потому возникает необходимость конкурса притязаний на городское пространство и тогда в столкновении множества воль, в оценке по множеству критериев будет определяться оптимальный выбор. Значит, не Генеральный план с двадцатилетней перспективой, а лишь принципиально определенные векторы градоразвития вкуче с повседневной оперативной работой станут основой градостроительной деятельности. Новый подход необходим и к другим аспектам творческой работы зодчего.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. Здесь меняются решительно все ориентиры. Расслаивается «общество равных», таившее привилегии для элиты. Устанавливаются новые социальные иерархии, подразумевающие разность уровней положения, обеспеченности, имущественных запросов потенциальных заказчиков. Все это в скором времени непременно отразится в расслоении городской среды, где также установится иерархия, определяющая степень комфортности и экологической чистоты, выраженная в конечном счете через цену земли и любого строения. А это значит, что соответственно расслоится содержание каждой творческой задачи: проявится различная классность, отвечающая различному имущественному положению заказчика. Засим непременно последует и соответствующая классность архитектурной формы.

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ. Здесь тоже все меняется. Практически в одночасье общество отрешилось от идеологических мифов и идолов. Их вакантные места постепенно занимают авторитеты, извлекаемые из прошлого. Этот закономерный процесс противоречив, способен вместе с позитивным влиянием и несколько затормозить развитие.

Не построив за многие десятилетия ни одного православного храма, мы теперь вознамерились продолжить строительство культовых сооружений, и в итоге большого конкурса пришли к тому, на чем остановились в начале века. Искреннее и увлеченное обращение к прежде запретному плоду, мощное влияние великих умов российских, возможность наполнить духовный вакуум побуждают безоглядно пятиться в прошлое, рискуя усугубить и без того заметное профессиональное отставание. Такова своеобразная форма расплаты за долгие годы движения к «светлому будущему».

И тем не менее открылись широкие возможности одухотворения архитектурного творчества. И если мы, наконец, отречемся от поверхностного декоративного решения проблемы национальной формы, вникнем в подлинную суть вновь осмысливаемых традиций, архитектура получит мощный творческий импульс.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Архитектура празднует конец единой технической политики — еще одной формы проявления командной системы. Прямой противоположностью этой политике можно считать жилой район «Сетунь» в Москве на Минской улице, где трехэтажные жилые здания для иностранных арендаторов строят совместно с американской фирмой несколько необычным способом. Цокольный этаж выполняется в монолите. Некоторые элементы его архитектурного убранства — прислоненные к стенам пилястры, тумбы балюстрады — складываются из кирпича, а вышележащие этажи — из деревянных объемных блоков (каркас, обшитый фанерой, с последующим утеплением и штукатуркой на месте). Этот «винегрет» вызывает, конечно, недоумение. Самое же интересное в том, что громоздкие и пустые «коробки» доставляют из-за океана!

Если в общих словах выразить технический аспект архитектурного творчества, можно утверждать: прежде мы сначала изыскивали средства, затем создавали форму, которая им соответствовала, и лишь в третью очередь задумывались над тем, в какой мере эта форма отвечает располагающемуся в ней содержанию. Теперь же, напротив: мы прежде создаем форму, отвечающую задаче, а уж затем изыскиваем средства для ее воплощения.

ДРУГОЙ ГОРОД. Представим теперь себе новые обстоятельства, нашедшие свое выражение в предметной городской среде. Закрытое прежде общество настойчиво стремится к открытости. Этот процесс, несколько замедляемый криминальной обстановкой, также содержит множество профессиональных проявлений.

Вообразите офисы без ВОХРы, вход в которые доступен любому, открытые в город рестораны, зимние сады, торговые предприятия, общественные пространства многозвездных отелей. Это ведь совсем другой город.

Попробуйте представить себе обновленное профессиональное сознание архитектора, который больше не стремится охватить своим решением гигантские пространства, расставить ритмы одинаковых башен на многие километры проспектов и ориентировать их оси на замыкающие перспективу респектабельные объекты. Это другой город.

Город, в котором землей распоряжаются ее владельцы, влияющие на размещение объектов, финансирующие их пространственное обеспечение, участвующие в выборе автора и проекта. Город, в котором многообразие форм собственности выражено в разномасштабности составляющих его элементов, будет человечней и привлекательней, наполнится иным содержанием — социальным, культурным, техническим, обретет иной художественный образ.

ТРИ УРОВНЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Все это ставит зодчих перед необходимостью решить сложнейшие профессиональные задачи — ответить на новые запросы общества множественностью и разнообразием предложений.

По всей видимости, продукт архитектурного творчества расколется по крайней мере на три уровня. Можно предположить, что один из них — низший — должен соответствовать запросам людей, не располагающих свободными деньгами, чьи потребности придется удовлетворять с помощью муниципальных средств, так или иначе перекачиваемых в этот бюджет из сейфов и карманов преуспевающих фирм и предпринимателей. Думаю, что эти потребности в посильных местным властям объемах будут обеспечиваться тем уровнем стандарта, который был у нас практически безальтернативным. Вероятно, жилища, школы, поликлиники — все,

что составляло стандартный набор любой застройки любого города Союза, — останутся бесплатными. Это не значит, что основой застройки по-прежнему будут типовые элементы. Каждому городу, каждому месту должны соответствовать свои пространственные структуры, своя образная характеристика. Речь идет о качестве стандарта. Он должен остаться на достигнутом уровне. Надо полагать, что и впредь размещение таких «стандартных» районов будет периферийным, уступит более престижные территории другим заказчикам.

Иное дело — высший уровень, ориентированный на богатеющих предпринимателей. Им нужно другое жилище — особняки и виллы; другие школы — частные лицеи и гимназии; другие магазины, рестораны, центры досуга; другое медицинское обслуживание. За все это будет заплачено так, чтобы еще и поддержать неимущих. Разумеется, такие поселения станут стремиться к автономии, позаботятся об охране своих территорий, будут тяготеть к центру, располагаясь в новых или реконструируемых объектах. Не исключено, что на средства объединенных интересами такого рода сообществ будут расселяться облюбованные ими бывшие доходные дома или территории, занятые в шестидесятые годы «пятиэтажками». И вовсе не исключено, что все это послужит на благо городу — всем его гражданам. Такие районы — в черте старого города или на его новых территориях — должны формироваться по новым, еще не выработанным принципам. Их инфраструктуру, комплекс необходимых услуг, приемы компоновки, особенно во вновь создаваемых жилых ансамблях, еще предстоит всесторонне осмыслить.

Третий уровень — условно скажем, средний, который можно назвать смешанным. Здесь закономерны и многоэтажные дома, и коттеджи, и другие типы зданий разной классности. Причем все эти жилища будут предоставляться обитателям районов на коммерческой основе.

Обитатели сред трех разных категорий вовсе не окажутся навечно привязаны к той или иной из них. Кто-то преуспеет и поднимется из нижнего уровня в верхний, кто-то переместится вниз. Иными словами, сложится то, что называют рыночным жилищем. Каждый располагает тем, что ему по карману.

Схема эта, разумеется, приближительна. Сложится такая городская система с течением времени и в некоей не очень близкой перспективе приведет к превращению наших городов в социально структурированные поселения, где каждому общественному слою будет предоставлена комфортная среда обитания, соответствующая материальным возможностям.

Есть еще и национальный аспект данной проблемы — городские районы, образующиеся по этнической принадлежности. Я и сам жил в Москве на Большой Татарской улице, до недавней поры носящей имя Землячки, где долгие годы здание мечети было занято райвоенкоматом. Эта попорченная традиция имеет право на возрождение.

НОВЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ. Какие здания будут соответствовать новым потребностям жизни? Без особой опасности ошибиться можно предположить, что по крайней мере до конца века большая часть сооружаемых объектов будет нести на себе зарубежные родимые пятна. Ведь не секрет, что на Западе немало типов зданий, о которых мы имеем лишь приблизительное представление. Достаточно упомянуть промышленные «отели» — предназначенные для сдачи в аренду малым предприятиям здания, содержащие производственные площадки, обеспеченные инженерной инфраструктурой. У нас в строительстве таких зданий нет потребности по причине избытка производственных площадей. Однако есть другие функции, способные группироваться и тем самым предлагать себя в удобной и выгодной для потребителей форме. Ведь мелкомасштабному предпринимательству при нынешних ценах не под силу строить крупные универмаги, культурные центры, доходные дома. Так что имеет смысл подумать о создании новых типов зданий, которые можно было бы по элементам, подобно номерам в отеле, сдавать в аренду частным фирмам. Такие комплексы могли бы быть и многофункциональными. Пример тому — новые бизнес-центры, содержащие и жилье, и офисы.

Можно себе представить торговый отель, как некое подобие готовящегося к столетию ГУМа, где отдельные секции в блоке с подсобными помещениями — одну, две, три, кому сколько надо — занимают арендаторы, уже накопившие до-

статочный капитал. Здесь могли бы быть и сопутствующие услуги — кафе, бары, фотоателье, видеозалы.

Возможно представить и клуб-отель, предлагающий на арендной основе пространства для любой культурной инициативы. Впрочем, в таком качестве сегодня способно служить любое клубное здание. Зато качественно новым объектом может стать игровой «отель» с развлекательными программами на разные вкусы, вполне уместный на курорте.

Кто способен сегодня возвести многозальный ресторанный комплекс, подобный московской «Праге»? А вот ресторан-отель с неким числом автономных арендаторов станет полезным и доходным предприятием. Можно представить себе школьный «отель» — учебный комплекс, который арендуют различные педагогические сообщества, предлагающий различные программы платного обучения. Наконец, и крупный доходный дом, неподъемный для одного владельца, может состоять из автономных секций, сдаваемых содержащим их хозяевам для последующей субаренды квартир.

Такая идея распространяема и на другие объекты. Например, отель для художников — с мастерскими, классными комнатами, выставочными залами и лекционными аудиториями. Нечто подобное возможно и в сфере медицинских услуг, предлагаемых в форме частной врачебной практики.

СРЕДА. Новые модели пространственного жизнеустройства — в противоположность модели советского города — не могут быть абстрагированы от природных условий, исторических обстоятельств, культурной почвы. Это советская унификация позволяла формировать повсюду одинаковые композиционные структуры и единым по стране шрифтом возвещать одинаковые во всех городах названия улиц и площадей. Теперь каждый город продемонстрирует свой нрав, свою амбицию, свой суверенитет. Архитектура — не в последнюю очередь — к тому и призвана. Это доподлинно подтверждают все великие города. И стало быть, к каждой задаче нужен предметный подход, ей одной соответственный.

ЦЕНТРОБЕЖНОСТЬ И ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ. Похоже, что теперь, в девяностые годы уходящего века, социальная мотивация станет доминирующей. Содержание ее решительно изменилось. Ведь если в прошлом общество стремилось создать «наш новый мир», то ныне превалирует тенденция восстановить ценности утраченного старого. Вместе с тем очевидно и другое — проецирование на российскую почву внешних веяний — политических, экономических, технологических, культурных. Иными словами, наши дни характеризуются открытым противоборством противоположных тенденций — центробежных и центростремительных. И хотя балансирование между тяготением к прошлому и стремлением к будущему, судя по всему, наименее плодотворно, не исключено, что мы все же получим некий культурный продукт, содержащий комплекс сиюминутных противоречий. Нашим городам, долгие годы наполнявшимся стандартным материалом, разброс нынешнего плюрализма сослужит добрую службу. А дальше? Этот вопрос задают себе сегодня политики и экономисты, предприниматели и военачальники. Задается им и архитектура. Она должна ответить на любые претензии общества, даже если они составят конгломерат противоречивых установок. И уж если мы не отрицаем разности положения различных слоев общества, надо уметь соответствовать этому различию во всех сферах человеческих интересов.

ДЕЛА ПОДРЯДНЫЕ. Как преодолеть многолетнее противоречие между строителем и зодчим? Впрочем, здесь все может сложиться наилучшим образом и в довольно короткий срок. Надежду вселяет публичное заявление бывшего российского министра П. Авена: в стране с нашим уровнем развития зарплата в промышленности должна быть около 50 долларов в месяц. Это значит, что производительность труда у нас примерно в 40—50 раз ниже, чем в США. И хотя в этом позволительно усомниться, министру должно быть виднее. К тому же, как было сказано в его июльском газетном интервью, у нас средняя зарплата в этой сфере равна трем тысячам рублей в месяц. Здесь заложено оптимистическое начало. Эти цифры и послужат основой подъема. Турецкая строительная фирма, услуги которой принято считать относительно дешевыми, приглашает к сотрудничеству наших каменщиков, монтажников, кровельщиков и т. д., обещая им зарплату, вче-

твердо превышающую средние цифры, и к тому же бесплатные обеды. Можно не сомневаться — любой, получив такую работу, станет дорожить ею. А освоив новые технологии, повысив квалификацию, сможет претендовать и на большее. Вполне вероятно, что наш смекалистый строитель скоро догонит по классу мастерства своих турецких коллег и, подобно футболистам, подается на мировой рынок.

Ну а если отставить тушок и создать те же условия, с теми же обедами, — быть может, останутся турецкое качество и турецкая производительность труда? Надо попробовать ценить своих строителей так же, как ценят их турки. Ведь если мы поднимаем цены до уровня мировых, надо же понимать, что в этих самых мировых ценах главную долю составляет высокая цена труда. Если с этим согласиться, то простым рыночным путем поднимется качество строительства.

И с промышленностью произойдет нечто подобное. Кто же придет на стройку поколотую панель, неколлекционную железобетонную плиту перекрытия, какую-либо бракованную деталь? Ее не возьмут, за нее не заплатят. Рынок расставит все по своим местам. А подрядчик, которому это окажется не по вкусу, выпадет из него так же, как и производитель не востребованных рынком материалов. Стало быть, есть реальная надежда на обновление.

ПРОЕКТНЫЕ ДЕЛА. С архитекторами все несколько сложнее. Не стану утверждать, что надо до конца разрушить все государственные проектные структуры — они и сами рухнут. К сожалению, следом рухнут и многие другие. Заказы уже сокращаются. Безусловно, обострится конкуренция. И тем не менее жизнь все-таки востребует некую проектную продукцию. По большей части, конечно, на реконструкцию, перепланировку, переоборудование. Местные власти не обойдутся без архитектурных служб, обеспечивающих грамотное программирование концепций развития населенных мест, оперативную работу, слежение за исполнением градостроительного законодательства.

А остальное? Как выясняется, большинство малых проектных бюро, расплывшихся в последние годы, слабо подготовлено к ответственной проектной работе, способно лишь изготавливать макеты и демонстрационные планшеты сомнительного творческого содержания. Можно сказать, что коммерческие «пенки» в сфере архитектурного проектирования не без некоторого успеха сняты. Наступает отрезвление. Прежде всего для заказчика. И хоть не так уж было много тех, кто имел серьезные намерения, именно они нередко становились поживой предприимчивых архитекторов, создавших свои «Рога и копыта» без всякого на то профессионального права. И даже те из нас, кто располагает лицензией, по опыту, знаниям и профессиональной ответственности далеко не всегда этих лицензий достойны. Ведь их выдают без четко установленных критериев отбора. Никто еще и не задумывался о минимуме требований к архитектору, претендующему на открытие собственного дела. Я бы сказал, что мы усердно копируем западные образцы, причем только такие, которые нам выгодны. А разве не в том миссия Союза архитекторов, чтобы, заботясь об интересах своих членов, защищать вместе с тем интересы заказчика, общества, каждого частного лица, обращающегося к услугам зодчего? Этим должен заниматься творческий Союз России, Союзы на местных уровнях, если дорожат честью профессии, организации, своих членов. Для этого должно отработать критерии отбора профессионалов, имеющих право на самостоятельное творчество. Диплом архитектора, даже если он выдан в столичном вузе, этого права еще не подтверждает. В цивилизованных странах он необходимо, но недостаточное условие для права на творчество.

Союз архитекторов должен добровольно возложить на себя ответственность гаранта качества проектной продукции, стать заложником профессионализма своих членов. А это значит, что ему следует создать страховой фонд, покрывающий при необходимости издержки, вызванные безответственной деятельностью архитектора — члена Союза. В этом случае обеспечиваются ответственная выдача лицензий и ответственная деятельность тех, кто их получил. Иначе недолго и лицензии лишиться. При этом страховой фонд создается на средства заказчиков, оберегающих свои интересы. Тот же фонд поддержит материально и сам Союз.

В интересах заказчиков Союз должен принять на себя еще одну заботу — организацию конкурсов по всем заказам как минимум для трех — пяти участни-

ков. Интерес заказчика здесь в возможности выбора, а Союза — в обеспечении работой большего числа своих членов (оплачивается каждый заказ). И даже в тех случаях, когда заказчик заранее знает, к чьим услугам хотел бы прибегнуть, он все равно обязан оплатить мини-конкурс. Такими могут быть средства подъема уровня профессионализма, обеспечения высокого класса нашей творческой работы.

ЗАКАЗЧИК-ХОЗЯИН. Мы привыкли к единому, обезличенному заказчику, строящему не для себя. Мы привыкли к тому, что здания любого назначения эксплуатируют люди, которые ими не владеют. Все это общее, народное и, стало быть, ничье. Отсюда утверждение: все наше творчество есть не что иное, как метание бисера. Нет необходимости иллюстрировать примерами хамское отношение к «народному» достоянию. Оно повсюду, у всех на глазах. И, кажется, мы уже поняли его природу. Все должно кому-то принадлежать. Убедительное свидетельство — то, что делают на нашей земле зарубежные владельцы. Все, что они для себя строят, реставрируют, реконструируют, тут же обретает респектабельный вид, демонстрирует заботливость хозяина. И когда я слышу разговоры о «распродаже отечества», невольно приходит в голову: не то что даром отдать, а и заплатить не грех (если б только было чем), лишь бы кто-нибудь привел Москву в достойный вид. А если не платить, не отдавать, не продавать, то надо самим стать хозяевами-собственниками. Да так, чтобы не осталось в городе ни одного метра ничейной, оскорбленной небрежением земли.

АРХИТЕКТУРА, ОБЩЕСТВО, ЗАКОН. Если прежде сколько-нибудь важные градостроительные решения принимались тайно от общественности, в тиши начальственных кабинетов, то теперь мы стали свидетелями и участниками митингов и шествий, демонстрирующих свое несогласие с архитектором. И если когда-то нас самих, авторов и экспертов, допускали на просмотры и обсуждения по спискам, то теперь общественность, множество ее разномыслящих сил, встав на защиту своих разно понимаемых интересов, столкнулась с местной властью, с волей заказчика, с авторской волей, и противопоставила им свою, хоть и не всегда компетентную, однако же весьма решительную собственную волю. И не очень-то выбирая выражения, утверждает ее на любом уровне обсуждений.

В этих новых обстоятельствах обнаружилась неуверенность власти, нерешительность заказчика, незащищенность архитектора. И возникла новая крайность, выразившаяся в пресечении строительства многих социально необходимых объектов и «групповом эгоизме», за которым обнаруживается разное — экологическая тревога, страх социального ущемления, беспокойство за историческое наследие, а подчас и густые амбиции или стремление приобрести политический капитал. Как же ввести все это в разумные рамки? Единственное средство — закон, регулирующий отношения в обществе. В том числе и в данной сфере.

РЫНОК АРХИТЕКТУРЫ. Разве можно было прежде представить себе покупку земли, частный заказ на сколько-нибудь значительное сооружение, торги подрядных фирм и все прочее, что связано теперь в нашем сознании с понятием «рынок»? Мы еще не отдаем себе отчета в том, сколько за этим понятием новых явлений, еще не усвоенных правил поведения, приятных сюрпризов и неминуемых разочарований. И тем не менее вся профессиональная деятельность, новые, прежде не востребованные в ней качества, психология архитектора — все должно переориентироваться на этот самый рынок.

Я предложил Союзу архитекторов провести осенью 1993 года архитектурный фестиваль. Прежде все мероприятия Союза — смотры проектов, построек, молодежного творчества, студенческих работ, конкурсы статей и книг, выставки живописи, проектов — лауреатов конкурсов, творчества детей и мастеров, диспуты и обсуждения — проводились на протяжении года. Если все это сконцентрировать во времени — скажем, в неделю, то возникнут куда более содержательные формы общения всех со всеми, нежели наши традиционные съезды, проводимые раз в пять лет по сомнительным принципам представительства.

Организованный на коммерческой основе фестиваль даст каждому и право участия в любом действе, и «паблисити». Привлеченные к фестивалю строительные фирмы и различные предприятия строительной промышленности покажут

зодчим, на что они способны, чем предлагают пополнить арсенал архитектора. Экспозиция будет содержательная, причем на той же коммерческой основе. И быть может, увидев все это разом, общество заметит, что у него есть архитекторы и, следовательно, есть надежда, что будет и архитектура.

О КАДРАХ. В нынешних условиях может ли остаться неизменной система архитектурного образования? Она, конечно, тоже меняется, и дело это тоже не простое. Ведь студентов архитектурных вузов обучает, должно быть, уже третье поколение профессоров, не обладающих опытом практического строительства, — ученики учеников, в свою очередь учившихся у тех, кто ни разу не держал в руке кирпича. Конечно, среди них есть люди, обладающие педагогическим даром, который дается далеко не каждому практику. Есть блистательные художники — графики и живописцы. Многие одарены пространственной фантазией, остротой профессионального глаза. И все же, все же, все же... И хотя такое образование получили все победители замечательных международных конкурсов бумажной архитектуры, это ведь несколько иная профессия, не вполне соответствующая необходимости воплощения в жизнь новых социальных программ.

Нельзя не отметить, что современная творческая молодежь впитала воздух нового времени и ей не надо преодолевать укоренившиеся стереотипы. Молодым коллегам в большей мере, чем старшим, свойственна внутренняя свобода, а порой — даже сознание профессиональной вседозволенности. Глядя на некоторые проекты, я думаю, что в мои студенческие годы художественный руководитель МАРХИ академик Иван Жолтовский, увидев такое, распорядился бы ввести в институте телесные наказания.

Что-то, видимо, надо менять. И вовсе не для того, чтобы ограничить творческую свободу. Демократия подразумевает ответственность. В данном случае — профессиональную. Это важнейшая составляющая призвания архитектора. Ведь если теперь не озаботиться на этот счет, последствия вскоре проявятся на улицах, выразятся дискомфортом, в котором окажется общество. Разве мы не знаем, что наш брат, ослепленный самомнением, способен подчас навязать людям — несведущим и доверчивым, начисто лишенным пространственного воображения, — чудовищные проекты, которые мы к тому же умеем истово защищать?

Проблемы архитектурной школы не следует откладывать. Мало того, надо бы немедленно создать при Международной Академии Архитектуры в Москве высшую школу профессионального мастерства, привлечь к преподаванию и ее иностранных членов. Старшее поколение зодчих — ядро академии — способно, помимо всего прочего, предметно преподавать важнейшую составляющую своего опыта, которой, к сожалению, не учат в архитектурных вузах — профессиональную ответственность.

РОССИЯ И СОДРУЖЕСТВО. Конечно, я отдаю себе отчет в том, что молодые коллеги, не связанные многолетним сотрудничеством, проявлявшимся на множестве профессиональных поприщ — в творчестве, науке, педагогике, деятельности Союза архитекторов СССР, — не обладают, как мы, старшие, тесными контактами с архитекторами бывших республик Союза. Нас объединяли общие удачи и общие огорчения, радость встреч в разных концах огромной страны, в разных столицах суверенных теперь государств. Мы не были равнодушны к творчеству архитекторов Прибалтики, Украины, Закавказья или Средней Азии. И московские зодчие бескорыстно трудились на благо «братских» республик.

Убежден, что и теперь следует помнить о схожести проблем, общности переживаемого кризиса, о том, что мы по-прежнему располагаем возможностью взаимодействия. Механизмом же такого взаимодействия должна стать Международная Академия Архитектуры, объединяющая творческие силы суверенных государств Содружества. И, конечно же, я чувствую свою принадлежность к нему. Судите сами: родился в Баку, провел предшкольное детство в Тбилиси, прожил более полувека в Москве; к тому же есть вильнюсские корни материнской ветви фамильного древа, прорастающего из рода Антокольских.

ОТ 20-х ДО 2000-х. Первая мысль, возникающая при взгляде на эти цифры. — об инфляции. Те же самые стократные отношения. Однако речь о другом. Чем объяснить творческий взрыв 20-х годов, небывалый урожай идей и новатор-

ства, коему и по сей день не устает удивляться профессиональный мир, которым и поныне питается? Сдается, что многое определила позиция заказчика, занятого в первые годы становления новой власти другими, куда более важными делами.

Власть тогда еще не стабилизировалась, не осознала себя созидательной силой. Архитекторы пребывали в некоей творческой вольнице, сами программировали свою деятельность, если угодно, олицетворяли на своем поприще совмещение творческих и властных функций. То было состояние профессиональной свободы в ее крайнем выражении. Отсюда и результаты. И хотя реализовалось очень немного, идей «заготовлено» было на десятилетия.

Теперь архитектор, имеющий творческую позицию, способный осмыслить ситуацию, понять ее социальную динамику, почувствовать, подобно своим предшественникам 20-х годов, импульс обновления, может воспользоваться тем, что новые заказчики заняты покуда накоплением капитала, без которого ничего не построишь, и борьбой за власть, без которой ничего не организуешь, и дать обществу образы, несущие черты грядущего. И тогда российское зодчество 2000-х, как и 20-х, вновь прорвется «в князи» и, как тогда, не располагая техническими приоритетами, все-таки войдет в архитектурный авангард XXI века. А пока...

КИТЧ, КИТЧ, КИТЧ. А пока сплошь и рядом за грязными окнами зданий, занимаемых вновь возникающими бюрократиями, окрестившими себя романтическими иностранными именами, скрываются привычно захлапленные «совковские» конторы. Но и в тех случаях, когда за немалые по нынешним временам деньги путем ремонта, перепланировки, реконструкции, декоративного оформления фасадов и интерьеров новоспеченные хозяева переначивают служебные помещения и квартиры или строят загородные виллы, китч неизменно остается господствующей формой проявления общественного вкуса. Нувориш есть нувориш.

И хотя порой, как, к примеру, в интерьерах гостиницы «Мосфильма» на улице Пырьева, китчевое убранство сделано без участия архитектора, нередко и архитекторы, стремясь угодить частному заказчику, не без увлечения проектируют бутафорские шпили, шатры и башенки на дачных постройках, как, впрочем, и на крышах многоэтажных реконструируемых зданий, не имевших прежде подобных «венчаний». «Смутное» время по-своему способствует помутнению профессионального сознания. Ведь китч сегодня главный предмет спроса на возникающем архитектурном рынке. Впрочем, тот же отель «Мосфильма», шокирующий профессионала, сменил таким путем свой стертый лик на индивидуальное «оперение».

Похоже, что новое поколение политиков, возвратив в эйфории победы давние атрибуты власти, не прочь возратить и архитектурные формы прошлого. Быть может, в этом и нет особой беды. Раз уж мы исключили из числа наказуемых деяний спекуляцию и прочие формы «теневой» деятельности, почему бы не отказаться и от негативного отношения к понятиям «эпигонство», «стилизация», «китч». Тем более что они проявляются во множестве видов. Архитекторы разных поколений с равной решимостью обращаются как к следам древностей, так и к новомодным образцам Запада и Востока, предлагая некий коктейль. И все же возникает некоторая тревога: как бы в процессе очевидной люмпенизации идейного содержания заказа не люмпенизировать саму профессию, саму архитектуру, обретающую тем временем черты нового стиля—назову его «эйфористиль».

Кто же станет заказчиком? Наверное, все-таки и государство, переболевшее всеми болезнями — политическими, социальными, экономическими. Предприятия — вновь вставшие на ноги и призванные блюсти интересы своих коллективов. Предприниматели, побуждаемые стремлением развивать свои фирмы. Вновь возникшие или устоявшие в перипетиях рынка общественные организации. Наконец, частные лица, разбогатевшие в его стихии. Но кто знает, как все сложится? Архитектура не способна программировать жизнь, она призвана ей соответствовать. И потому я завершаю свои размышления вопросом, с которого они начинались: кто закажет застывшую музыку?

Александр Агеев

МЕРЗКАЯ ПЛОТЬ

(ОЛЕГ ЕРМАКОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ
«АФГАНСКОЙ» ЛИТЕРАТУРЫ)

Года три назад, рецензируя первые рассказы Олега Ермакова, я высказал осторожную надежду, что война в Афганистане в скором времени породит некую новую «военную прозу», что ее авторы, основываясь на своем уникальном опыте, отыщут какую-то новую, иную точку зрения на общество и человека. Имелось в виду при этом, что такой «афганской прозы» будет довольно много — как-никак не менее миллиона человек прошло через Афганистан, не говоря уже о том, что десятилетняя кровопролитная, да еще и проигранная война — весьма существенный повод для общенациональной рефлексии.

И вот теперь, по прошествии трех лет, я вынужден признать, что ошибся. Да, время от времени появляются произведения очевидцев и участников войны, опубликованы «Цинковые мальчики» Светланы Алексиевич — блестящая документальная работа «по свежим следам», но «афганской прозы» как особого литературного явления пока нет. И дело, конечно, не в том, что именно этой войне как-то особенно «не повезло» с талантами. Дело в том, что книги рождаются не только из субъективного желания или возможности потенциального автора их написать, но — не в меньшей степени — из потребности и способности общества их прочитать. Реальные и потенциальные авторы «афганской прозы» есть — это доказывают хотя бы произведения, о которых пойдет речь в статье. Но есть ли хоть какой-то встречный импульс со стороны общества?

Выразитель и одновременно творец «общественного мнения» — средства массовой информации, если они, конечно, свободны. И что же?

1. «НЕ СЫПЬ МНЕ СОЛЬ НА РАНУ...»

Один из первых (и легко усвоенных, в отличие от некоторых других) уроков свободы слова «по-российски»: можно писать и говорить, о чем хочется, но, с другой стороны, можно — слава тебе, господи! — не говорить и не писать, о чем не хочется. Хочется, например, о проституции и ваучеризации, а о сельском хозяйстве — нет, поэтому,

основываясь на прессе наших дней, можно уверенно заключить, что ваучеры и проститутки — это животрепещущее настоящее и волнующее будущее огромной страны, а сельское хозяйство — это ее прискорбное, с бровастой Продовольственной программой и тягостным «шефством», прошлое. Впрочем, наверное, единственное настоящее, при котором будет жить нынешнее поколение, — это курс доллара, ибо, наговорившись всласть о проститутках и ваучерах, их так же радикально забудут, как забыли, наговорившись, Сталина, Берию и ГУЛАГ (Ленин не забыт только потому, что карикатуристы открыли в его образе неистощимую «жилу» комического).

Из всего этого, к сожалению, следует, что свобода слова и соответственно свободная пресса в России — не столько инструмент самопознания и саморегуляции общества, сколько его новая (впрочем, уже надоедающая и — главное — дорожающая) игрушка. Общество, что и говорить, у нас юное, едва становящееся, но ведь были же времена — совсем недавно, — когда пресса чувствовала себя старше и соответственно поступала. Теперь, похоже, она испугалась надвигающейся безработицы, быстро помолодела, и бросилась развлекать, то бишь отвлекать сограждан от всех неприятных проблем прошлого, настоящего и будущего.

Вряд ли кто будет спорить, что одна из самых неприятных проблем, принадлежащих одновременно прошлому, настоящему и будущему, — это наша афганская авантюра. Так вот, если судить по прессе и ТВ, то этот вопрос, как и многие другие, закрыт. Не потому, конечно, что решен. Потому что «не хочется».

После кратковременного, наполовину пропагандистского (то есть прикладного, связанного с борьбой политических сил за власть) «афганского бума» установилась равнодушная, глухая тишина. Средства массовой информации как бы согласным (и негласным) хором исполняют недавний шлягер «Не сыпь мне соль на рану».

Между тем в массовом, обыденном сознании идет своя работа, оно по-своему,

в духе «народной этимологии», «доводит до ума» то, что не договорила печать. И вот уже слово «афганец» на общепотребительном языке улиц, очередей и желтых газеток означает что-то вроде СОЭ — «социально опасный элемент», нечто среднее между «боевиком» и «лицом кавказской национальности». «Афганца» инстинктивно сторонятся, независимо от того, рэкетир это или охранник из какого-нибудь «Барса» или «Алекса». Такое отношение — помимо общей взаимной агрессивности — имеет причиной и неряшливую работу прессы: до глубокого анализа руки все как-то не доходили, но ту «безусловную» правду, что наши были в Афгане чем-то вроде карателей — зверствовали, грабили и делали миллионы на наркотиках и ворованном военном имуществе, — она-таки довела до всеобщего сведения. С другой стороны, в головы внедрялись по поводу вернувшихся с войны «мальчиков» как неумеренные надежды (станут-де ферментом оздоровления общества), так и неумеренные страхи (станут опорой реваншистских сил). Надежды, не сбывшись, легко забылись, а страхи, сбывшись ровно в той же степени, что и надежды, отложились осадком в привычной к страхам памяти. Вот и Александр Кабаков в не таком уж и давнем своем бестселлере «Невозвращенец» использовал этот осадок страха — похода, ради эпизода, пнул «афганцев», нарисовав в качестве типичной сценку их самосудной расправы над «буржуем». Потом, правда, была недолговечная мода на «милосердие», когда «афганцев» обливали крупными, отборными телевизионными слезами и отправляли за протезами в Европу и Америку. А дальше грянул путч, либерализация, приватизация, перманентные войны по всему периметру бывших союзных границ — и тема совсем увяла. На ее поверхности не осталось пороха для новых фейерверков, в жанре которых потихоньку привыкла работать печать. Памятное со времен Вьетнама пропагандистское клише «грязная война» удобно легло на наши смятенные непрерывной чередой событий мозги, избавляя их от самостоятельной работы. Оно, это клише, парадоксальным образом не столько отяготило совокупную совесть, сколько ее освободило — известно ведь, кто виновен во всех безобразиях нашей истории — — — — —, а какое мы, простые советские люди, имеем к ней отношение?

Словом, когда я читаю уже привычную и по форме весьма почтительную фразу: «в этом еще долго будут разбираться историки», я почти уверен, как именно она переводится с этикетного на человеческий: «пусть дураки копаются в окаменевшем дерьме, да еще кровавом! А вот есть свежее: знаете ли вы, какие квартиры у Хасбулатова и Станевича?»

Впрочем, почему бы и нет? Почему бы и не понять мирного обывателя и откоро-

венно ориентированные на него средства массовой информации? Реальность такова, что «широкий читатель» решительно не желает чувствовать себя ни виновным, ни ответственным. Было какое-то непродолжительное время, когда, потрясенный потоком разоблачений, ошеломленный количеством грязи, скопившейся в потайных закромах государственной истории, этот человек почти осознал и почти покаялся. Однако промежуток между шоком от правды и экономическим крахом оказался столь узким, а связь между ними столь неясной, что массовый человек довольно быстро достиг моральной высоты безвинно наказанного. Тем более что рядом с ним бурно преуспевают действительно виновные, но не наказанные. Понятно, что моральная высота, хоть и явно «зияющая», — не лучшая позиция для выслушивания любых «афганских» исповедей.

Я так долго говорю о контексте восприятия «афганской темы» в нашем нынешнем обществе потому, что этот контекст становится порождающим, потому что вне его рамок невозможно было бы появление самого, наверное, оригинального произведения об Афганистане — «романа в тридцати пяти главах» Эдуарда Пустынина, вызывающе названного автором «Афганец» («Знамя», 1991, № 12).

Жанр этого «романа», занимающего ровно двенадцать журнальных полос, я бы обозначил: «отстаньте!». Начинается же он так: «Я тоже афганец. Несколькими годами назад я был там. Жалею? Нет, скорее наоборот. Удостоверение «Свидетельство о праве на льготы». Сколько раз оно выручало: гостиницы, билеты, тряпки без очереди, даже в городском транспорте без билета ездил». Монологические «записки участника» на самом деле представляют собой полемический диалог с собирательным «массовым человеком», носителем ходячих представлений — негативных или сентиментальных, неважно — об Афганистане. Причем автор остро чувствует подспудное равнодушие своего оппонента. Поэтому на первом плане выстраивается цепочка комически-ернических «баек», «бывальщин» из афганской службы героя — своеобразная «швейковьяна». Автор намеренно «подставляется», играет с читателем в поддавки, потому что знает: в том у читателя не до тонкостей дифференциации иронического и трагического — ему бы собственную совесть успокоить, услышав из «первых уст», что «ничего особенного там не было», обычный совковый «идиотизм армейской жизни». Однако от псевдошутковское «чего изволите?», скрывает за собой вполне реальные боль, горечь, потрясенность автора и героя пережитым и увиденным. Причем знаки настоящего авторского отношения к изображаемому довольно щедро рассыпаны по тексту — надо лишь суметь их прочитать. Для примера приведу целиком «главу 21».

которая называется «Мины»: «На коммутаторе нас было трое: я, дедушка и еще один молодой, миной ему оторвало ногу. Он вынесил бачки с мусором и высыпал их вблизи минного поля. Были сильные дожди, все размыло. Потом еще одна мина разорвалась. Недалеко от казармы, там камни были и ручеек бежал. По утрам все здесь умывались. Дедушка меня послал за мылом, я взрыв слышал. Пришел, а дедушки нет». А следующая глава начинается вот такой вот фразой: «Больше всего я боялся чистки картошки»... При желании автора можно на каждом шагу уличать в кричащих, что называется, противоречиях, и возникает смутная догадка, что сами эти противоречия и предназначены главным образом для того, чтобы возбудить такое желание — уличить, то есть понять... В сущности же, Эдуард Пустынин использует в своем «романе» поэтику, которую можно назвать поэтикой «отказа от сотрудничества» с читателем. Автор не очень верит, что читатель хочет и может его по-настоящему понять.

Допустим, что читатель (во всяком случае, «широкий читатель» таких еще недавних лет) действительно «не хочет», и этому можно найти свои (неважно — уважительные или нет) причины. Но отчего же «не может»?

2. МЕЖДУ ДВУХ ВОЙН, В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ ТРЕТЬЕЙ. В самом деле — я совершенно уверен, что между современным читателем, даже достаточно подготовленным, и «афганской прозой» лежит некий труднопреодолимый психологический барьер. И он отчасти литературного происхождения. Вряд ли кто будет спорить, что у живущих ныне поколений слово «война» вызывает только одну стойкую ассоциацию, один образ — Великой Отечественной. Для опознания всех остальных войн нужны определения — «первая мировая», «гражданская», «финская», но Великая Отечественная — это собственно «война», без всяких атрибутов. Это означает, между прочим, что во всяком вообще разговоре о любой «войне» присутствует момент сравнения, сопоставления. Отсюда и своеобразное «целомудрие» нашей публичной лексики, когда то, что во всем мире привычно и без всяких комплексов называется «войной», мы называем «конфликтом», «инцидентом», «вооруженным столкновением» и т. д.

Образ войны в нашем национальном сознании — плод совокупных усилий — пятидесятилетних! — официальной пропаганды, кинематографа и литературы. От сороковых к шестидесятым он быстро менялся, пока не приобрел в семидесятые более или менее жесткой «кристаллической решетки», устойчивого состава. Позже можно было, конечно, тоже и «убавить» (лака, дидактики, «роли партии»), и «прибавить» (психологии, трагизма, крови), но речь могла идти только об оттенках и полутонах. Первые главы

нового, давно ожидавшегося романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» тоже не стали переворотом. Роман-исключение, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, был, к сожалению, прочитан слишком поздно.

Правдиво или лживо, совестливо или бессовестно, талантливо или бездарно — наши художники, кинематографисты, писатели создали образ войны тотальной. Само понятие это появилось во время войны в Германии, и считается, что Германия тоже вела тотальную войну. Речь сейчас, однако, не об исторической терминологии, а о человеческой психологии: когда в пятидесятые годы у нас стали переводить книги немецких писателей о войне, их читали с некоторым недоумением — с той стороны явно велась какая-то другая война. Нечего и говорить о наших союзниках по антигитлеровской коалиции — они воевали, на вкус русского читателя, совсем уж несерьезно — как-то прохладно, что ли, основательно задумываясь над проблемами, которых в отечественном военном сознании просто не существовало. Совершенно невозможно, согласитесь, представить возникновение на русской литературной почве таких книг, как «Поправка 22» Дж. Хеллера или «Приключения Весли Джексона» У. Сарояна, — книг, где главный положительный герой мог явно или тайно дезертировать, оставаясь положительным. Не могло быть и речи — по совершенно объективным причинам — о каком-либо обсуждении общих целей войны, о применении к ней критериев христианской (как недавно еще говорили — «отвлеченной») морали. Совершенно естественным и единственно возможным казалось превращение всей страны, от Балтики до Тихого океана, в единый военный лагерь, и так далее — весь список возможного и невозможного во время войны легко составит любой бывший советский человек. Детальный анализ советской военной прозы, которая в вершинных своих достижениях, несомненно, останется в истории русской литературы, не входит в мои задачи. Одно лишь скажу: когда будет составлен непредвзятыми и не зашоренными идеологией литературоведами ее «фундаментальный лексикон», мы пойдем, сколько ей не удалось — и вряд ли уже удастся — сказать.

Согласимся, однако, что ей удалось создать канон с мощнейшей инерцией и воспитать в духе этого канона несколько поколений читателей. Свою роль здесь сыграла, понятно, и официальная пропаганда — она использовала этот свой единственный нефальшивый козырь «на всю катушку»: война и сорок лет спустя как бы продолжалась, окружая нас своими памятниками, знаками, образами со всех сторон.

А где-то с середины шестидесятых нас начали исподволь, но настойчиво готовить к следующей — ядерной — войне, рисуя весьма масштабные, впечатляющие картины действия «оружия массово-

го поражения». По всей стране — от детского садика до огромного завода — были развешаны разного размера якобы «учебные» плакатики: «Эпицентр ядерного взрыва», «Зона сплошного огня», «Действие ударной волны» и т. д. На разных людей эта принудительная «наглядная агитация», которую озвучивали бодрые отставники наперебой со средствами массовой информации, действовала по-разному: кто-то пренебрегал, кто-то сходил с ума (знаю несколько таких случаев), но образ в сознании так или иначе отпечатывался. Мы все жили как бы между двух катастроф — прошлой и будущей, между двух бездн, которые всматривались друг в друга сквозь нас, сплошь военнообязанных и приписанных с шестнадцати лет к военкоматам. Характерно, что будущую войну пропаганда честно называла именно «войной», как бы уравнивая ее в правах с Великой Отечественной. Всякое событие меньшего масштаба было просто обречено на приглушенное восприятие.

Вот между этих двух равновеликих войн и начались «военные действия» в Афганистане, в которых принял участие «ограниченный контингент советских войск». Над этим диковинным эвфемизмом долго и жестоко потом издевались, а ведь он, между тем, рожден в реальных муках: надо было назвать то, чего раньше никогда не было. Это в голове западного человека легко укладываются понятия типа «военное присутствие» или «экспедиционный корпус» — в голове советского человека, примененные к советской же армии, они немислимы.

Чтобы не вдаваться здесь в длинные и неизбежно дилетантские сопоставления, скажу кратко: эта новая война была ни на что не похожа, она отличалась от всего прежде бывшего и всего ожидаемого не какими-то несущественными частностями, а всем (кроме того, пожалуй, что на ней люди, как и на любой войне, убивали и умирали). На первых порах даже официальная пропаганда оказалась без языка — отчасти и поэтому, не только по злой воле партocrats, нас держали в неведении о происходящем. Пока язык выработался, сменилось несколько «пробных» стилистик, среди которых самой зловеще-смешной была стилистика репортажа о буднях студенческого стройотряда.

Впрочем, одна аналогия тут же возникла в сознании у всех — и у инициаторов, и у исполнителей, и у наблюдателей. У сторонников и противников «акции». И все — по разным, впрочем, причинам — боялись этой аналогии, как огня. Афганская война была очень похожа на вьетнамскую...

Однако это зеркало, смотреться в которое все так изобретательно избегали, было все же кривым. Дело в том, что во Вьетнаме воевали американцы, а в Афганистане — советские люди. Надо ли объяснять разницу?

3. ЧУЖИМ ГОЛОСОМ. «Инкубационный период» — время скрытого созревания «афганской прозы» — растянулся, по понятным причинам, едва ли не на те же десять лет, что и сама война. Но он, должно быть, все-таки был, потому что первые художественные произведения об Афганистане (не принимаю здесь во внимание прохановского заказного романа) появились как яичко ко Христову дню — сразу же после ослабления цензурного пресса и известных политических решений. В литературе было тогда время «чернухи» и разнобразной «правды-матки», поэтому первые робкие рассказы «афганцев», которые тоже как бы сообщали «неизвестное об известном» и «бросали свет на темные стороны нашей действительности», пришлось ко двору и приняты были читателем и критикой, как говорится, «на ура». Имею в виду прежде всего рассказы О. Хандуся и О. Ермакова. За небывалой новизной «содержания» этих рассказов никто не заметил привычности и обычности их «формы» (что, в сущности, означает неполноценность, неполную художественную правду этих произведений).

А произошло то, что и должно было произойти: начинающие писатели тут же попали в мощное поле притяжения господствующего канона военной прозы и попытались сказать свое как бы чужим голосом. Кстати, Э. Пустынин, создавая своего «Афганца», полемизировал, помимо равнодушного читателя, еще и с этим канонам. Но Пустынин — случай особый: он пошел на открытый конфликт, он сжег мосты, а конфликт такого рода в литературе отбирает у текста на свое поддержание слишком много энергии, которая могла бы пригодиться на другое. А рассказы Хандуся и Ермакова производили странное впечатление: совершенно бесспорна была талантливость авторов, безусловна была значительность того, что они хотели сказать, чувствовался мощный «содержательный» напор, и все же не покидало ощущение какой-то внутренней «слабины», ощущение «несведенности» концов и начал. Специфической нечеткости «картинки» в объективе. Прочитав тогда первую подборку рассказов Олега Ермакова, я подумал: «Как будто русскую военную прозу написал человек, долго не живший на родине: все вроде бы правильно и хорошо, и даже акцента нет, а способ думать (пресловутый «менталитет») все-таки совсем другой, и это разрушает целостность впечатления». Теперь, когда уже прочитан роман Ермакова, мне понятно, что «другой менталитет» в его рассказах был вовсе не досадной «занозой», мешающей «правильному», «адекватному» восприятию, а именно грубым, жестким ростком нового. Впрочем, о романе Ермакова речь впереди.

Что же касается «чужого голоса» и власти канона — они до сих пор налицо во всем, что мне приходилось пока читать об Афганистане. Чтобы разговор

был более конкретным, возьму относительно свежий пример — две новеллы Карена Таривердиева («Знамя», 1992, № 1). Это, что называется, «мастеровитые», довольно лихо в сюжетном смысле «закрученные» произведения с откровенно дидактической подкладкой. Читаешь их с увлечением и... разочарованием. Вот первый рассказ — «Ловушка». Офицеры — выпускники десантного училища перед неминуемой отправкой в Афганистан обсуждают моральность // аморальность некоторых «способов ведения войны», о которых им рассказывает бывалый преподаватель. Хорошо или плохо минировать трупы врагов? Главный герой рассказа — лейтенант Хмырев — горячее всех защищает «чистоту рук». Афганская реальность и гибель друзей быстро превращают наивного идеалиста в хладнокровного, беспощадного убийцу, который, не задумываясь уже об «интернациональном долге», просто мстит за товарищей и ставит в конце концов главную «ловушку» — минировать труп убитого душмана. Некоторое время спустя он случайно узнает, что в его хитроумную западню попали двое детей из соседнего кишлака. «Стоя над могилами, он снял с головы пилотку. Трудно слотнул застрявший в горле ком. Неумело — впервые — перекрестился. «Прости нас, Господи, не ведающих, что творим...». Такова новелла в кратком фабульном пересказе, и ее «мораль» в «снятом» виде, казалось бы, ясно говорит о позиции автора. Однако в рассказе почти десять журнальных полос, и главное его «мясо» — подробный, со знанием дела и «технологично», с нескрываемой симпатией к герою выполненный отчет о его «нелегком ратном труде». Эти страницы и эпизоды как бы вырваны из другого — о другой войне — рассказа и грубо вклеены сюда. Хмырев — честный русский офицер с недоумением смотрит в глаза Хмыреву — военному преступнику, и оба, а с ними вместе и автор, ничего не понимают в происходящем, а потому прячутся за несложную притчевую схему и призывают в конце концов всемогущего господина бога. Поистине, автор оказывается в «ловушке» стереотипов военной прозы, а потому и не может свести концов с концами. Самое же интересное в рассказе — это бессознательные «проговорки», прорывы «нового вина» сквозь «дряхлые мехи». Так, например, в образе Хмырева сквозь традиционные черты скромного «работника войны», этакое вечного «капитана Тушина», как бы проявляются, проступают черты совсем другого, вовсе почти не знакомого русской литературе типа — военного профессионала, азартного «охотника за черепами», который не служит ни Идеи, ни Державе, ни Хозяину, ни Маммоне — только своим ловчим инстинктам. Сколько таких воюют сейчас, должно быть, в разных наших «локальных войнах»! Или вот еще интересная фраза, которая несколько раз и с явным упре-

ком-ивдевкой повторяется в рассказе: «Страна ведь не воевала!» Сразу видно, что эта фраза, эта мысль брошена недодуманной, потому что додуманная в любую из возможных «сторон», она сразу же взорвала бы искусственно зауженный горизонт рассказа, разрушила бы его ложную дидактическую «окольцованность», завершенность. Например: «страна ведь не воевала, то есть не хотела и не могла как следует научить своих офицеров убивать врага, страна не воевала, а потому давала меньше, чем могла бы, средств для более эффективного ведения войны, то есть уничтожения противника и сохранения своей живой силы. Следовательно, гораздо лучше было бы, если бы страна воевала». Или так: «страна ведь не воевала, так по какому же праву оказались за ее рубежами эти вооруженные люди, кого они представляют и во имя чего убивают?» Словом, как ни додумывай, все будет противоречить главному моральному «посылу» рассказа.

Второй рассказ Таривердиева, «Перебежчик», посвящен памяти А. Д. Сахарова. Посвящение это значащее, потому что речь в рассказе идет о подготовленной КГБ операции по уничтожению каравана душманов, с которым они переправляли захваченного ими советского солдата. Исполнителей операции уверили, что этот солдат — перебежчик, предатель. Бой сложился так, что душманский грузовик пришлось сжечь — со всеми, кто в нем был, и с мнимым «перебежчиком» тоже. Понятно, что этого-то и хотелось «особистам». Старший лейтенант Осокин, руководивший всей операцией и отдавший роковой приказ со спокойной совестью, случайно узнает, что «перебежчик» был просто пленный и он, Осокин, приказал сжечь «своего». И совесть у Осокина заговорила: «Сердце у Осокина вдруг бешено заколотилось...» Кстати, душманы, обнаружив группу Осокина, накрыли ее минами, тоже не жалея грузовика со «своими», что лейтенантом Кузьминым, другим героем рассказа, было оценено сразу же после боя: «По своему лупили! Скоты они! Зверье!» Оказывается, одни стоят других... Но позвольте! Ведь ни одна моральная проблема, поставленная в рассказе, просто не решается на тех путях, на каких хочет решить их автор! Посвящение Сахарову вообще повисает в воздухе — совесть Сахарова, в отличие от совести Осокина, болела не только о «своих», но и о миллионе погибших — причем на собственной земле! — афганцев. Решая психологические проблемы своих героев способами, позаимствованными у традиционной военной прозы, Таривердиев не замечает подмены. Он пытается дать ответ на частный вопрос, не ответив на вопрос общий. Для писателей-фронтовиков Великой Отечественной и их героев такого «общего» вопроса просто не существовало, вернее, они твердо знали на него ответ, знали, где, с кем и за что воюют, и это знание определяло расклад

целей и средств, их соотношение. Но для Таривердиева и его героев этот «общий вопрос» существует, и спастись от него можно только в пределах стереотипных литературных моделей, позаимствованных у предшественников... Именно спастись — ибо с открытого, простреливаемого со всех сторон пространства личной ответственности, конечно же, хочется укрыться под надежную, проверенную броню «святого общего дела», «воинского долга», «любви к Отчизне», «фронтного братства» — словом, всего того, что реально, без кавычек, существовало в Великую Отечественную (и к чему читатель привык как к безусловной константе «военной прозы») и неузнаваемо, принципиально извратилось в Афганистане. И это при том, что война для российского человека дело сугубо государственное, опыт самоопределения по отношению к войне почти нулевой, никакие «третьи» и «особые» пути невозможны. Можно даже сказать, что для нормального советского человека, попавшего в Афганистан, ситуация «личной ответственности» в нравственном смысле просто тупиковая, смертельная. Чтобы свободно выбрать ее, нужно было обладать либо решимостью самоубийцы, либо мужеством мученика за веру, либо такой степенью внутренней свободы, какой невозможно требовать от человека, воспитанного тоталитарным обществом. Впрочем, самоубийцы, мученики и органически свободные люди всегда есть в любом обществе, были они и в «ограниченном контингенте», но сколько их было и кому, как не им, доставалась первая пуля — от «чужих» или «своих»? Борис, которого случайно убивает Черепаха в романе Ермакова, — как раз из таких, и совсем неспроста он погибает от руки друга, которого пытался учить свободе.

Возвращаясь к Таривердиеву, я вовсе не хочу сказать, что путь, выбранный писателем, совершенно бесплоден, а метод — «порочен». Таривердиев хорош уже тем, что легко находит контакт с читателем, приучает читателя к незнакомым реалиям афганской войны, вводит в ее специфическую психологическую атмосферу. Автору не откажешь ни в наблюдательности, ни в умении выделить характерную деталь, ни в способности схватить и воспроизвести тот особый язык, на котором говорили участники афганской драмы. Все это не пропадет, все отложится в общем капитале «афганской прозы», даром что капитал этот не столь уж пока велик. Более того — я уверен, что основной поток «афганской литературы» пойдет пока именно по этому руслу, — качественный скачок, скачок из тупика, видимо, невозможен без количественных накоплений.

И еще одна мысль приходит в голову, когда читаешь произведения, подобные новеллам Таривердиева: в поисках выхода из тупика можно медленно и кропотливо рыть подземный ход — и это,

очевидно, путь литературы, условно говоря, «реалистической». Но можно ведь и взлететь, и пройти сквозь стену...

Только для этого нужно быть не писателем, то есть более или менее одаренным литератором, а художником, то есть творцом необычного и небывалого.

4. СКВОЗЬ СТЕНУ. Первая рецензия на роман Олега Ермакова «Знак зверя» появилась месяца через четыре после опубликования романа. Это была статья Д. Лекуха в «Литературной газете», и основным ее пафосом (если отбросить общее, непонятно с чем связанное недоброжелательство по отношению к Ермакову) было сильнейшее, нескрываемое недоумение: как вообще мог быть написан такой роман и зачем он вообще написан — так ой? Недоумение рецензента было окрашено, как мне показалось, какой-то смутной тревогой: с одной стороны, очень легко доказать, что роман никуда не годится, а с другой — уже доказав, чувствуешь к нему странное «влечение, род недуга». Так бывает, когда методология анализа не соответствует его предмету, то есть «предмет» не поддается анализу «по аналогии».

В самом деле, не составляет труда объяснить, чем плох роман Ермакова. Вот хоть самое заметное, бросающееся в глаза: герой явно не «романный», сюжетная схема чересчур лаконична и пунктирна, и слишком явно нежелание автора разрабатывать ее «по полному профилю», мало динамики и много статики — и т. д. Гораздо труднее объяснить, чем роман хорош, почему при его чтении появляется чувство долгожданного прорыва, выхода из тупика — при том, что герой из своего тупика не вышел, как бы брошенный автором на полпути...

В своих рассказах Ермаков был достаточно традиционен — вместе с остальными «афганцами» он «рыл подземный ход»: первый шок новобранцев от жестокости войны и «боевых товарищей», неизбежная рефлексия по поводу «дедовщины», сакральное «убить или не убить», перестроечный пафос «кто виноват» и т. д. Правда, в этих рассказах было непривычно много в сравнении со стилистическими предпочтениями времени, откровенной поэзии, война при всей ее правдиво изображенной жестокости выглядела удивительно красивой, пахучей, пряной, и ради очередного пейзажа автор легко жертвовал сюжетной динамикой: чувствовалось, что цвет гор на закате или аромат афганских садов для него так же интересен и важен, как батальная сцена или анализ взаимоотношений «стариков» и «молодых». Он был, наверное, единственный, кто никогда не забывал отмечать смену времен года.

Все перечисленное — и традиционное, и «особенное» — присутствует и в романе, но в принципиально, качественно ином соотношении. В рассказах шла «первичная переработка» опыта, реша-

лись локальные, ситуативные психологические проблемы, формировался стиль. Логика нормального, «литературского» пути подразумевала в дальнейшем постепенное восхождение по «лестнице жанров» — повесть, роман, укрупнение конфликтов, расширение масштабов и т. д. Но для Ермакова дерзкое для новичка желание написать роман вовсе не было выбором жанра. Это был выбор цели, причем цель была выбрана заведомо далекая и недостижимая: понять, наконец, и объяснить всем, что произошло с ним, с человеком, с человечеством в горах и на равнинах Афганистана. Библейский по замыслу замысел (недаром название и эпиграф взяты из Апокалипсиса) воплотился в виде лирического романа с метафизическим сюжетом о «приключениях души» и «воспитании чувств» нормального, хотя и несколько романтически настроенного советского подростка, которого судьба (или военкомат, что у нас одно и то же) на два года поместила в условия чистой, почти лабораторной «пограничной ситуации».

Странно вот что: романтик и визионер Ермаков действительно сумел понять и объяснить суть афганской войны и смысл того, что происходило на ней с человеком, лучше всех аналитиков, военных корреспондентов и либеральных публицистов, вместе взятых. Более того: он сумел найти один из возможных выходов из того нравственного тупика, в который его загнали. Для этого ему пришлось пройти самому и провести своего героя «сквозь стену» застарелых предрассудков, суеверий, стереотипов, самоуничтожиться и самоствориться — уже по другую сторону стены. Для этого ему пришлось самостоятельно «открыть Америку» — правда, ту Америку, которую в его стране давно закрыли.

С чисто «технологической» стороны решение этой задачи было обеспечено специфическим «расщеплением» авторского сознания. Речь о возможности такого расщепления идет уже на второй странице романа: Черепаха в карауле, он ходит по окопчику взад и вперед, стараясь не заснуть, и в потоке его сознания сосуществуют два трудносопоставимых масштаба измерения пространства и времени: «Два шага равны примерно одному метру, значит, длина — десять. Высота... высота — тысячи и миллионы световых лет». Дальше деловито и подробно описываются все возможные способы не заснуть — «встряхиваться — мотать головой», «присесть», «трогать пальцами лицо, щелкать по щекам, щипать кожу, прикрывать глаза и надавливать на веки» — и вдруг: «Можно еще попробовать парить в страшных высях». Вот этот двойной масштаб, двойные пространственно-временные координаты, заданные на первых страницах романа, и будут определять всю его структуру. Автор и его главный герой живут сразу в двух сферах: в области природной (надприродной?) вечности и в тесноте че-

ловеческого времени. Постоянной сменой точек зрения создается эффект объемного видения — прием не новый, но требующий от писателя воображения и некоторой дерзости первооткрывателя. Вообще Ермаков легко идет на использование известных по учебникам теории литературы приемов. Скажем, подробное описание одного дня на батарее, где служит Черепаха, выполнено целиком с помощью «приема остранения» и вызывает в памяти классические страницы «Войны и мира»: Наташа Ростова в опере, она ничего не понимает... Рядовой Черепаха на сцене, которая притулилась «на краю гигантской равнины», исправно играет свою роль в чужом спектакле и, паря «в страшных высях», тоже ничего не понимает...

«Непонимание — это понимание», если перефразировать Оруэлла, который в разговоре об афганской войне не вовсе лишний. Что же понимают Черепаха, автор и читатели, отстраненно наблюдая за разыгрывающимся на наших глазах «прологом на земле и на небесах»? Впрочем, «небеса давно пусты», как с горечью сказано у Ермакова, и эта пустота небес — одно из важнейших условий задачи, которую он решает.

5. ПОСЛЕДНЯЯ, ХРОНИЧЕСКАЯ ВОЙНА.

В романе практически нет отвлеченных авторских рассуждений о войне, подобных знаменитым толстовским «отступлениям» в «Войне и мире». Мысли и разговоры героев тоже, как правило, отрывочны, ситуативны, не восходят к обобщениям какого-либо уровня. То капитан Осадчий вдруг подумает, что он на месте афганских ребятишек тоже подкладывал бы пластиковые мины под моторы чужих бронетранспортеров, то пьяный комбат Барщев проговорится — сравнит вдруг эту войну с прошлой и скажет непонятную фразу: «И вот иной раз думаешь: ну, это уже никауда, ни в какие ворота, — бывает». Да, собственно, тот образ войны, который творится в романе средствами поэзии, и не нуждается в понятийных разъяснениях, он самодостаточен. С другой стороны, автор никому этот образ не навязывает, как единственно возможный. Это его образ.

Грубо классифицируя, можно сказать, что войны бывают первые и последние. Из огня первых рождаются нации и государства, их символика, мифология, эпос. В чаду последних нации и государства гибнут, разлагаются, в них извращаются и «переворачиваются» некогда священные символы и мифы.

Война, которую изображает Олег Ермаков в своем романе, — последняя война умирающей империи, последняя война «советского народа». Эта война всем чужая, у нее нет внятных ее участникам политических, экономических, идеологических причин и целей. Остаток памяти о самой возможности таких целей — лишь бессвязная тараращина, которая сыплется из уст политработника, гастро-

лирующего по частям: «Дверца хлопает, мотор заводится, и политработник уезжает в сторону второго форпоста». Война без причин и целей — война в чистом виде, как бы сама стихия войны. В романе есть замечательный образ-лейтмотив — болезнь: «она, рысоглазая, царствует, сидит на городе, и жители дышат ею». Бессмысленная война — тоже болезнь, повальная эпидемия, вызванная вирусом насилия и ненависти, который долго выращивался в лаборатории, занимающей шестую часть света. Это то самое, апокалиптическое, процитированное в эпитафии: «и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью».

Не государство воюет с государством, не идея борется с идеей и даже не люди с людьми из-за какой-то осязаемой, реальной добычи. Нет — пораженный вирусом насилия и ненависти человек воюет с пространством, временем, материей, самим собой.

Описание одного дня на батарее на первых страницах романа — блестящий очерк войны человека со временем, которое здесь из первой ценности превратилось в едва ли не в главного врага: «И все переступают невидимый порог и уходят в новый день, который так же желт, как и предыдущий, — такой же желтый, такой же сухой, такой же мутный, но скорее всего бесконечный, тогда как пространство вчерашнего дня оказалось конечным. И уходящие в новый день, погружающиеся в этот желтый космос, никогда не достигнут границ, будут вечно брести с кувалдами, лопатами и кусками белого мрамора». Здесь каждый чего-то испуленно ждет: офицер — отпуска. «дед» — дембеля, «сын» — превращения в «чижа», все вместе — «операции». Хирург с ужасом ждет смерти. Можно сказать, что роман перенасыщен временем — временем, которое убивают, преодолевают, гонят. Но это вовсе не ожидание конца войны — все как бы давно внутренне согласилось, что война вечна и бесконечна, — это ожидание личного избавления из плена вечности, чреватой смертью.

Пространство — такой же враг человека, как и время. Здесь нет места, где бы человек чувствовал себя в покое и безопасности, здесь все: долины, горы, ущелья, кишлаки, реки — чужое и враждебное. И люди яростно воюют с окружающим их пространством: «По утрам в чреве Мраморной рвался динамит, и люди растаскивали по городу ее потроха». Пространство сопротивляется: «Полуденные ветры заваривали в степи кашу, коричневое месиво взбухало до неба и до границ города и — перетекало через окопы и заливало город, город содрогался, трещал, выл и захлебывался. Но выдерживал». В романе, впрочем, нарисована все-таки картина последней мести пространства человеку, и человек, в сознании которого эта картина возникает, как бы отождествляет себя с самумом, потому что все, здесь построенное и сюда

принесенное, в том числе он сам и подобные ему, — ему ненавистно: «Но когда-нибудь у него достанет сил срезать деревянную вышку перед окопами, вслушить мраморную ограду, дернуть палатку, снести глиняный домик, свинарник и баню, — и, подхватив мраморные куски, ящики со снарядами, свиней, гаубицы и солдат, всех без разбору: офицеров, фазанов, сынов, дембелей, — он устремится дальше и обрушит мраморные кулаки на город, пронесется, проламывая крыши, расшибая черепа и окна, раздирая знамена и лица, рассыпая дома, зашвыривая на Мраморную сейфы и танки, срывая брезент и кожу, ломая ребра и хребты, глотая бассейны, сбивая трубы...» Дальше — потрясающий определенностью, предметностью ненависти список того, что подхватит самум, и заключительный, великолепный аккорд презрения: «...и наконец в полковых сортирах всхлипнет дерьмо многолетней выдержки, всколыхнется, забурлит и затопит то, что было городом у Мраморной горы». Все природные стихии враждебны здесь человеку — небо и земля, свет и тьма, животные и растения: «По утрам над городом появлялась большая птица, она парила в вышине, описывая круги над плацем, над Мраморной, над форпостами. Горожане называли птицу душманским лазутчиком и пытались сбить ее...» Да и сами душманы — официальный «противник», «враг» — воспринимаются в ряду явлений природы: если птица может быть «душманским лазутчиком», то по той же логике душманы — «лазутчики природы».

Душманы, впрочем, появляются на страницах романа чрезвычайно редко, мельком. Люди воюют здесь не с душманами, а друг с другом. Ермаков, не выходя за рамки весьма скромного, прерывистого сюжета, имеет возможность показать впечатляющую картину взаиморазрушения людей, собравшихся в городе у Мраморной горы — вплоть до дуэли и настоящего боя «своих со своими», в результате которого комбат Барщев лишается ног. О «дедовщине» и дикой драке на киносеансе можно и не говорить. Черепаха в наряде, шагая по окопчику, одинаково боится появления и «чужих», и «своих», и шороха «за кромкой, в бездне», где притаились «разнообразные твари»: «безногие, круглые, длинные, узконогие, многоногие, мохнатые, с коричневыми клещевидными челюстями, с жалом на хвосте, нежно-зеленые, крошечные и тяжелые, крупные, с бородавчатой шкуркой, толстым хвостом и массивной мордой». Имя главного героя — Черепаха — не вписывает его в этот ряд, но и он вдруг думает: «Хорошо быть эфой с шуршащими серебристыми чешуйками на боках, или змеей с гремучим хвостом, или коброй с капюшоном». Только что змея укусила Шубилаева — одного из «дедов», и остальные «деды» не сомневаются в чувствах молодых: «А он, — сказал Енохов, когда Черепаха

вышел, — рад, что с Шубой... — Еще бы, — откликнулся сержант. — Они все будут рады». В этот момент Черепаха смотрит «со странным чувством» на затылок Енохова, «ощущая тяжесть автомата за спиной — увесистое жало, набитое свинцовыми росинками». И убийство совершается. Но убивает Черепаха не Енохова, не сержанта, которые его били и мучили — он убивает, не зная того, своего друга Бориса, бежавшего от издевательств «дедов» из разведроты и пытавшегося пройти через КПП, который караулил Черепаха. К этому времени уже не всякий читатель помнит, что Черепаху зовут Глеб, и не всякий догадывается, что убит именно Борис, — символ замаскирован. Но какой, согласитесь, страшный символ — Глеб, убивающий Бориса! Как нелепо, абсурдно разорваны имена, всегда стоявшие в национальном сознании рядом! Но такова последняя война.

Война без причин и целей не может кончиться, как кончаются войны, имеющие причины и цели — победой либо поражением. В ней нет постоянного, ясно определенного врага, которого можно раз и навсегда уничтожить, который может уничтожить тебя. Если эта война — болезнь, то болезнь хроническая. На ней нет фронта и тыла, она дискретна, прерывиста — затухает в одном месте, разгорается в другом, куда кровь принесла вирус.

Войска из Афганистана давно выведены, но, бросив взгляд на карту бывшего Союза, разве не можем мы теперь сказать с полной уверенностью, где именно сейчас обострение хронической болезни, а где вирус собирается с силами, чтобы взорвать призрачный мир? Страшнее же всего то, что, болея хронической болезнью, вполне можно жить, внешне походя на здорового и нормального.

6. ТЕЛО. «Пушечное мясо» — тело войны — это человек, который воюет. Это в нем гнездится вирус, это он болен. Это он переносчик болезни. Это он может выздороветь или умереть.

В сущности, история Черепахи — основа и земного, и метафизического сюжета романа — это история болезни. Именно в тот момент, когда героя сваливает болезнь (реальная — дизентерия), он получает свое новое имя — Черепаха. Впрочем, как я уже говорил, болезнь реальная и символическая в романе сливаются, переплетаются, и дизентерия Черепахи — его посвящение, крещение войной. Еще в Туркмении, в учебном лагере «страна за хребтами представлялась великим кирпичным сапогом, в который предстояло прыгнуть... и этот сапог был полон болезней». В санчасти Черепаха впервые по-настоящему столкнулся с «дедовщиной»: «Больные целыми днями лежали или сидели на койках, бродили по палатам, били тучных мух свежими военными газетами и неистово исполняли свои кастовые обязанности».

В связи с этим возникает вот какой вопрос: положительный ли герой Черепаха? Этот термин к роману Ермакова вряд ли приложим. Да, Черепаха — некий образ «чужой среди своих», «другой», но невозможно сказать, что он «хороший среди плохих». Он боится, проснувшись, увидеть в зеркале «чужие рысьи глаза на своем пожелтевшем и постаревшем лице», он пытается противопоставить болезни «надежду и чистые руки». Но тут же сказано: «Вирус не брали ни окропления, ни присыпки, ни таблетки, он был живуч, вездесущ, и эпидемия не утихла». Что же касается «чистых рук» — прозрачной метафоры личной порядочности среди общего нравственного падения, то об этом тоже сказано: «соблюдать правила элементарной гигиены было не так просто, тем более сынам... Кроме этого, всегда не хватало времени, а иногда просто сил, и всегда было душно и жарко, и нехорошая истома тяжело, как цементный студень, колыхалась в груди, грозя выплеснуться и смять, порвать легкие, сплющить сердце, — предсмертная истома вытесняла все опасения и желания, оставляя лишь стремление к покою: чем дольше покой, тем длиннее жизнь, и лучше посидеть или полежать, чем заботиться о чистоте рук». Черепаха не сразу смиряется с болезнью — он пытается организовать бунт против «дедовщины», и бунт, разыгранный по романтическим нотам, конечно же, проваливается: кто-то предаст Черепаху, и отныне он уже не может верить своим «боевым друзьям». А единственного, кому бы он мог верить, он убил собственными руками... И на протяжении романа мы видим разного Черепаху. Например, в сцене со стариком-афганцем: «Черепаха медленно приближался к нему, положив руки на автомат, висевший поперек груди. Старик кивал. Черепаха ощутил улыбку на своем сожженном солнцем лице, улыбка была мелкая, острая, наглая...» Или вот Черепаха пытается убедить себя, что медаль дали ему не за Бориса: «Так вот: только я знаю. И все дело во мне, в моем восприятии: как я это воспринимаю... А я воспринимаю как вознаграждение за все, что видел и делал на операциях. И я говорю: за операции. Я оказался неплохим солдатом, и меня наградили...» Последняя фраза — чистая правда: один раз Черепаха оказался, с точки зрения Системы, неплохим солдатом, и его наградили... А Борис не захотел становиться «неплохим солдатом», то есть «немного потерпеть» и постепенно переползть с одной ступеньки иерархии на другую — и Черепаха его убил. Ермаков, конечно, обострил здесь реальную ситуацию до предела, но нравственный тупик, о котором я уже говорил, обозначен точно. Как из него выйти и можно ли выйти? Борис — вышел. Но признаем, что Борис — не столько живой характер, сколько романтический символ, обозначающий предел, к которому может стремиться

Черепаха, но которого он (тем более — его «боевые друзья») не может достичь. Образ Бориса недаром связан в романе с образом Джона Леннона, «застреленного британца», чей голос, поющий «Все, что тебе нужно, — это любовь», провожал Черепаху на войну. Мир, от которого Джон, этот бунтарь-одиночка, чудаковатый проповедник ненасилия, пытался убежать, все-таки догнал его пулей маньяка-поклонника. Борис изображен как рационалист-западник, убежденно ненавидящий Азию, веселый циник-эпикурец, освободившийся от власти тоталитарных — а заодно и всех других — мифов и идеалов, кроме идеала личной свободы. Его отношение к войне легко ложится на размышления американского литературоведа Лесли Фидлера: «Понятия славы, чести и отваги теряют всякий смысл, когда западный человек, номинально оставаясь христианином, приходит к твердому убеждению: самое худшее, что только может с ним случиться, — это умереть, когда впервые за последнее тысячелетие стало возможным заявлять во всеуслышание, что нет такой святости, ради которой стоило бы идти на смерть. Новое умонастроение, отрицающее наличие идеалов, во имя которых возможно ставить на карту жизнь — человечества, нации или просто многих людей, — принимает разные обличья, но в конечном счете сводится к формуле: «Нет ничего, за что стоило бы людям жертвовать собой, нет ничего, за что стоило бы умереть мне!» (Цитирую по книге Сергея Белова «Бойня номер X»). Впрочем, отличие Бориса от настоящего «западного человека» вопиюще наглядно: ему-то приходится за эту формулу погибнуть.

Черепаха — совсем иной, в нем нет жесткой определенности, он более пластичен. Он — характер становящийся, пребывающий в стадии незавершенного духовного эксперимента. И условия этого эксперимента крайне жесткие: надо сохранить «душ живую» в обстоятельствах, почти исключающих успех, к тому же без всякой помощи извне. Судьба дружбы, даже просто «товарищества по несчастью» изображена в романе без малейших иллюзий: такая война обладает способностью непоправимо разрушать любые человеческие связи «по горизонталю». Опора на какие-то внеличностные ценности тоже проблематична: в бога Черепаха не верит, а страна, которая послала этих «мальчиков» воевать, давно уже износила свои идеалы — не говоря уже об их изначальной сомнительности. А уж война заботилась о дальнейшем «идейном разоружении», быстро лишая самых упрямых остатков веры в человека и человечество, оставляя их одинокими и голыми перед лицом смерти. Так они легче вписывались в сложившуюся иерархию, легче занимали свое место в бессмысленной машине.

Эта машина сломала и согнула Черепаху, как и многих других: «Ты видишь их и подчиняешься с такой легкостью,

будто учился в школе лакеев. И никогда не был свободным». И все же Черепаха нашел в себе силы выстроить раздавленную личность заново, во всяком случае, мы видим уже начало этого процесса. Но как это ему удалось?

Когда говорят «нашел в себе силы», имеют в виду, конечно, «душевные силы», «силу духа» и прочие романтические метафоры. В ситуации с героем Ермакова все обстояло как раз наоборот: его опорой в самостроении было тело — то самое презренное тело, мерзкая плоть, вводящая человека в грехи, заставляющая поступаться высокими идеалами, держащая его в зависимости от низменных желаний — есть, пить, спать, совокупляться.

7. УЧЕНИК ЗАРАТУСТРЫ? Как-то Горький заметил по поводу прозы Леонида Андреева, что тот усвоил стиль русского перевода Библии... Читая некоторые страницы Ермакова, невольно ловишь себя на мысли, что он усвоил стиль русского перевода знаменитой книги Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». Особенно это относится к пейзажным кускам и к страницам, посвященным описанию сна, который мучит Черепаху, но в котором он в конце концов избавляется от кошмара, преодолевает его, обретая себя. Кошмар связан с образом равнины за шлагбаумом, возле которого Черепаха убил Бориса: Черепаха, голый, идет во сне по этой «гнилой равнине под тусклым небом», неизвестно куда и зачем, не в силах оглянуться назад. Этапы этого сна, композиционно связанные с тем или иным поворотом реального сюжета, — это как бы этапы новой, после нравственной катастрофы, самоидентификации героя. Вот один из первых таких этапов: «Как я попал сюда? Откуда? Что было? Что я делал? Кем был? — Он осмотрел свое грязное голое тело... А в общем, кто я?.. Это грязное тело? Это грязное тело с волосами под мышками, на голове, на ногах — я? Я — тело. Вот я говорю себе: шевельну рукой — и вот эта рука шевельнулась. Значит, это моя рука, значит, это мое тело. То есть, чье — мое? Кто я, думающий о своем теле? Кто я, распоряжающийся рукой? Я — Я и это грязное тело... которое устало и хочет есть и пить. Чем же я его накормлю?..»

Образ униженного, грязного, мучимого болезнями и вшами, жарой и холодом тела — один из самых настойчивых лейтмотивов романа. Это несчастное, жалкое тело, которое хочет есть, пить, спать, которое мирится со скверной пищей, грязной водой, вонючей постелью — воистину «мерзкая плоть». Но оно же, это тело, когда оглушенная, оцепеневшая, полуживая душа засыпает, продолжает бодрствовать и чувствовать, и не только боль, холод, голод, нечистоту, но и стыд (вспомните рвоту после грабежа улицы дуканов), а самое главное — всю природную, данную в ощущениях прелесть

мира. Я хочу обратить внимание читателя на резкую контрастность мира в изображении Ермакова: одна его половина — серая, тусклая, пыльная, душная, пропитанная гнетворным духом болезни, трупным запахом войны; зато вторая — удивительно, неправдоподобно для современной прозы красива, многообразна, пестра, наполнена тончайшими ароматами Востока, причем красота этого мира непритворно и нефальшиво чувственна. Тело, способное так чувствовать, так отзываться на прелесть мира — уже не просто «грязное тело», не просто «мерзкая плоть», оно — сосуд, в котором жизнь, и этим уже драгоценно и одушевлено.

Преодолевая свой кошмар, свою «гнилую равнину под тусклым небом», Черепаха как бы переживает возрождение своего тела, обретение нового тела: «Вода была холодна, — он опустил руку; да, холодна. И прозрачна... Он напился, умыл лицо, обмыл шею, плечи. Тело вновь было удивительно легким, и он знал, что может многое». Потом в его сне появится Женщина, и с ее появлением это возрождение станет настоящим, истинным: «Они бежали по твердой гудящей земле, стройный смуглый юноша и светлая Утренняя Корова с танцующими бледными сосцами и окровавленной спиной, — в сторону Восточного океана». У Ницше Заратустра в одном месте говорит: «Тогда возвысилось ваше тело и воскресло, своей отрадой увлекает оно дух, так что он становится творцом, и ценителем, и любящим, и благодетелем всех вещей».

Я не знаю, читал ли Ермаков Ницше, в какой степени он разделяет идеи и интуиции великого философа, но совпадение интонации и пафоса порой поразительное. Впрочем, какие-то намеки на реальную связь в романе есть — Евгения (та, что в сне Черепахи преобразилась в Утреннюю Корову) вспоминает как-то, что на этой земле раньше жили зороастрийцы-огнепоклонники, считавшие, что мертвечина оскверняет землю. Да и само имя Утренняя Корова напоминает о городе, в котором остановился проповедовать Заратустра — Пестрая Корова.

Так или иначе, случайны или не случайны совпадения и переклички, обращение писателя к этому кругу идей и чувствований знаменательно. Ницше с его неистовой проповедью свободного, полнокровного, сильного человека был в мировой эстетической и интеллектуальной истории фигурой поворотной, он предугадал многие пути, по которым пошло искусство и философия в следующем веке. Наше эстетическое сознание тоже сейчас на распутье — обозначилась завершенность какого-то этапа, намечается возвращение некоторых явлений, оставшихся, казалось бы, в далеком, архангелском прошлом. Говорят, например, о новой «чувствительности», сентиментализме. Как знать, не стоим ли мы на пороге этапа «новой чувственности» — после компьютерной рационализированности искусства последних лет? До сих пор компьютеру противостояла лишь старая, как мир, похоть, которая никак не может быть основой настоящего искусства.

Но не будем гадать. В любом случае мы присутствуем при рождении и формировании настоящего художника, который, ошибаясь и падая, все же имеет мужество идти по своему — пока одинокому — пути.

* * *

Но чем же мне завершить свои размышления о перспективах «афганской прозы»? Внимательный читатель заметил, конечно, что в статье речь идет исключительно о произведениях, опубликованных в журнале «Знамя», и он знает, что так в обычной критической практике не принято. Но дело не в приверженности моей своему журналу, а, к сожалению, в чрезвычайной узости выбора — других текстов, достойных анализа, пока нет. «Цинковые мальчики» С. Алексеевич — вещь документальная, случай особый. Причина этого — повторюсь — все-таки в том, что афганская война в целом осталась для нашего общества «чужой войной», хотя совершенно очевидно, что все, переживаемое нами, — во многом последствия ее. Будем надеяться, что, преодолев экономический шок, общество найдет в себе силы оглянуться.

Историософия, или Мудрость истории

В прошлом году в № 8 журнала «Знамя» появилась небольшая статья Елены Холмогоровой «Декабрист Александр I», где ставится проблема воздействия истории на умы современников. Этой проблемой я занимаюсь многие годы.

Как-то мне подарили студенческий конспект моей книги «Роль глупости в мировой истории»¹, послуживший, надо думать, элементарной шпаргалкой, и сообщили, что некоторые студенты РГПУ в отсутствии каких-либо новых серьезных учебников сдавали по нему историю. Факт показался мне примечательным уже и потому, что зав. кафедрой всеобщей истории этого вуза проф. В. Фураев, возражая критикам вышедшего под его редакцией учебника «Новейшая история (1939—1988)», опубликовал в «Огоньке» обиженное письмо: «Хочу обратить ваше внимание на то, что авторский коллектив готовил учебник в 1988 году и представленные в нем взгляды и оценки по проблемам новейшей истории отражают общественное сознание того времени. Естественно, что авторы не могли предвосхитить радикальные перемены, происшедшие в относительно короткий срок в мире, и особенно в странах Восточной Европы в 1989—1991 гг.».

Но от историков и не требуют, чтобы они заглядывали вперед, в будущее. Этим с переменным успехом занимаются футурологи. Моя книга готовилась к печати тогда же, когда и упомянутый учебник, но в отличие от его авторов я выражал не «общественное сознание того времени», а свое собственное, и ни от одного слова мне до сих пор не приходится отрещиваться. Бог, да еще редакторы издательства знают, чего это мне стоило.

Проф. Фураев уверяет, что новый учебник для школ, который «готовится» тем же коллективом авторов, «будет написан с позиций современного исторического знания». Допустим, что будет сказано, наконец, о чем умалчивалось, что черное будет названо черным, а белое — белым. Но ведь и самое добросовестное изложение событий — еще не учебник. Вспомним, что изложением даже ограниченного круга фактов мировой истории Арнольд Тойнби заполнил более 70 томов, С. М. Соловьев, обратясь лишь к истории России, — более 30. Тогда как школьные (и даже вузовские) учебники — пяток не слишком объемных книг, пережевываемых учащимися на протяжении ряда лет. И тут дело не в том, чтобы затолкать в чью-то голову как можно больше фактов, а в том, чтобы научить ориентироваться в историческом пространстве, осознавать себя не щепкой в потоке времени, но субъектом прогресса.

Советская историческая наука призвана была всякий раз доказывать не только законность существовавшей власти, но и ее фатальную неизбежность. Или — необходимость. В этих акцентах случалась путаница, на страницах научных изданий возникали маленькие дискуссии. Сходились на том, что нынешняя власть была исторически как необходима, так и неизбежна. Это должна была подтвердить знаменитейшая теория «закономерной смены общественно-экономических формаций». Капитализм неизбежно должен был смениться социализмом, пролетариат — превратиться из могильщика в гегемона, — а там и до коммунизма рукой подать. «Дерево, посаженное сегодня, будет плодоносить уже при полном коммунизме». Это из романа поныне здравствующего лауреата Сталинской премии 1-й степени, любящего теперь при случае упомянуть о своем былом «диссидентстве». То есть можно было даже как-то расчислить и собственную жизнь. Знаменитая Программа КПСС 1961 года гарантировала нам наступление безоб-

¹ Таково ее первоначальное название, произвольно замененное издательством на «В поисках здравого смысла». (М., 1991).

лачной эры к 1980 году, когда вместо коммунизма состоялись, как известно, Московские Олимпийские игры...

Наши серьезные историки предпочитали собирать факты, никак не осмысливая их (во всяком случае, публично). Вот специфический профессиональный анекдот. Когда-нибудь, при глобальном торжестве марксистско-ленинских идей, археолог-марксист, отыскав в прахе прежних веков очки, пенсне и монокль, задумается и решит, что очки (в капитальной оправе, с дужками) носил, вероятно, человек весьма состоятельный, пенсне, кое-как цеплявшееся за нос, — лицо среднего достатка, тогда как монокль — конечно же, пролетарий, которому не достало средств даже на приобретение второго стекла.

Историческим теориям вообще свойственно перерастать в идеологии. Вспомним, что гегелевская концепция государства как высшего проявления «мирового духа», перед которым индивид — ничто, вдохновляла равно и Сталина, и Гитлера. Вообще-то Гегель рассматривал исторический прогресс как развитие «принципа свободы», но саму свободу понимал как «осознанную необходимость». Помню, в конце тридцатых годов этой трактовкой свободы (в переложении Энгельса) прямо-таки упивались, она утешала тогда многих.

Что же, долой теорию? Иные историки полагают именно так. Думаю, что учебник истории им не создать. Студент (или студенты), писавший конспект-шпаргалку, с облегчением ухватился прежде всего за мою мысль о философском «черном ящике», позволяющем определиться в море исторических фактов. В самом деле, если заглянуть хотя бы в механизм часов, зарябит в глазах от множества связанных между собой колесиков, рычажков, осей. А если попытаться охватить взглядом мировую историю, хотя бы и малую часть ее?.. Ошеломляет уже сам вид полок с массивными томами, готовыми, кажется, обрушиться на голову. Тогда как в отсутствии объективных учебников студентам предложено было самим ориентироваться, — зато и самим, без оглядки на идеологические фантомы, интерпретировать прочитанное. Словом, джентльменское соглашение в духе модного ныне «плюрализма».

Несколько слов о «черном ящике». Это понятие, вошедшее в наш мыслительный обиход вместе с кибернетикой, всегда обслуживало логическое мышление — и тогда, когда еще не обрело названия. Врач не отправляет пациента на вскрытие, а предлагает сдать анализы. Логика обычная: посмотрим, что входит в организм и что из него выходит. Сопоставив конечный результат с исходными данными, пойдем, что происходит внутри. В сфере исторической так извлекается, точно математический корень, критерий прогресса. То есть мы получаем более или менее четкое представление о том, что служит движению общества и что тормозит его и даже отбрасывает назад.

Что же видим мы «на входе» мировой истории? Однозначно: человеческую особь, «коммунара» в подлинном значении этого понятия, в духовном смысле настолько уравненного со всеми, что он и не осознает своей абсолютной зависимости от племени. То же относится и к вождям, и к шаманам, которые лишь персонально олицетворяют власть всех над каждым. Здесь господствует действительный, а не утопический, принцип коммунизма: от каждого — по способности, каждому — по возможности.

А «на выходе» что видим мы, оглядываясь хотя бы и на наших современников, не закрывая глаза на то, что встречаются нам и особи едва ли не первобытные?.. Все же преобладающими становятся черты личности, преследующей собственные цели, во имя этого активно вторгающейся в жизнь. И, значит, вся мировая история в самых общих чертах предстает перед нами как развитие от особи к личности. От коммунизма (первобытнообщинного) через действительный социализм (имперский, где, по Гегелю, кроме Единственного, все рабы: Египет фараонов, царство Инки, Поднебесная империя...) ¹, через классическое рабовладение античного типа (где есть и рабы, но и свободные граждане, и эти социальные полюсы служат источником общественной энергии), через феодализм с его сословностью и четкой градацией свобод мы выходим к свободному предприни-

¹ В XX веке нас уже обманом, палками и пулями загоняли в модернизированный социализм, вполне естественный на заре истории.

мательству, когда юридически свободны все, и эгоцентризм индивида, свойственный самой его природе, оказывается важнейшим условием процветания общества. И оправдываются слова Адама Смита о том, что, рассчитывая иметь бутерброд к завтраку, мы не к совести булочника или колбасника обращаемся, но к их карману. Я предпочел определить природную суть личности понятием «эгоцентризм», а не «эгоизм», потому что свой интерес вполне может быть бескорыстно творческим и даже напрямую филантропическим.

Так вот, всякий студент способен предъявить в качестве венца исторического творения собственную личность — и почти всегда будет прав. Как видите, я не даю стопроцентной гарантии. Как биологическая эволюция, вознесшаяся к приматам, ничуть не отменила существование не только блох, но и первичных синезеленых водорослей, так очевидно наличие человеческих особей в каждом обществе. Случается, их популяция разрастается и как бы расцветает, — и такие эпохи мы обычно числим по разряду регрессивных, реакционных. Первейший признак человеческой особи, то есть нормального индивида, но духовно несамостоятельного, — стремление приспособиться к идеологии, прислониться к ней: к «учению», религии, субкультуре.

Общее же движение человечества бесспорно прогрессивно, является развитием от особи к личности, к качественно новой структуре психики. И этот ориентир должен определять само построение будущего учебника, его фабулу.

Описательная историография, даже классическая — от Геродота и Плутарха до Тойнби и Соловьева, — связывает эпизоды истории лишь причинно-следственными отношениями. Юный воинственный ислам преградил европейцам дорогу на восток; оттого-то движение на запад или в обход Африки — открытие Америки и морского пути в Индию... Это лишь констатация факта, но не выявление сути. Почему же китайцы не открыли Америку? В самом деле, почему Новый Свет открыт был не с запада мореплавателями Поднебесной, а с востока — викингами, а затем Колумбом?.. Коротенькие причинно-следственные связи нам тут ничего не покажут. Да, китайцы преимущественно сухопутный народ; но как раз накануне великих европейских плаваний они создали флот, столь же не сравнимый с испанским и португальским, как, скажем, нынешний Черноморский с израильским. Китайцам, кстати, даже спешнее было достичь Америки, следуя течениями вдоль побережий по Великой Тихоокеанской дуге, чем европейским мореплавателям, срывающимся, подобно чуть оперившимся птенцам, с края утеса в неизвестность. И почему европейцы приплыли в Китай, а не китайцы в Европу? Не кажется ли вам, что вот-вот будут приоткрыты тайны Востока?

Занимаясь этой проблемой¹, я поневоле расширил и тематические, и хронологические рамки исследования, потому что должен был коснуться корневых значений «Запада» и «Востока», сопоставляя и противопоставляя события и факты. Я попытался представить мировую историю в виде цепи экспериментов над психикой людей, над соотношением бытия, сознания и генетической природы человека. Имеются в виду не специфичные революционно-утопические эксперименты, всегда приводящие к результатам, обратным ожидаемым, поскольку сам революционный «экспериментатор» есть лицо, ангажированное обстоятельствами. Нет, историософ — историк, изучающий вышеназванное соотношение, оглядываясь на прошлое, выделяет законченные «сюжеты» со своей завязкой, развязкой и обычно кульминацией. Ну, не завязка ли сюжета прорубленное Петром «окно в Европу»? Не развязка ли большевистский переворот и «погружение во тьму»?

В свою очередь, это «погружение», увы, «экспериментально» в высшей степени. В своей книге я посвятил несколько глав «яровизации» сознания Хомо советикус'а, употребив известный в прошлом термин. Вспомним, что сталинский академик Лысенко «яровизировал» (смачивал и промораживал) семена растений, с тем чтобы «обратить» их в иные биологические виды: рожь — в пшеницу, чечевицу — в вику, сорный овсюг — в кормовой овес... Примерно то же проделывали и с людьми при помощи страха и идеологических фантомов. Оттого-то и

¹ «На весах столетий. Почему китайцы не открыли Америку» («Проблемы Дальнего Востока», вып. 6. 1989; 1 и 2. 1990).

взевшаяся в нас неприязнь к теориям. А ведь надо лишь, чтобы они были инертны к политике, конъюнктурной по самой природе.

Целью экспериментов (без них немислима подлинная наука), требующих решения или хотя бы размышления, а не только запоминания, должна предстать эволюция человечества в учебнике истории (для студентов и старших школьников), который мог бы называться «Историческая философия» («Мудрость истории»). В нем следовало бы избежать необязательной описательности и неизбежно субъективного отбора фактов. Надо максимально включить творческие способности учащегося при решении задач, оставленных нам прошлым. История предстанет истине увлекательной и загадочной (значит, требующей разгадок) не потому лишь, что мы не знаем, кто был скрыт под «железной маской» и был ли отравлен Наполеон; нет, потребуется понять, как это мы в XX веке «дошли до жизни такой», дать себе же оценку (не обязательно пессимистичную и, уж конечно, не однозначную) и разведать дальнейшие пути. Главное — научиться делать практические выводы с привлечением других наук — от психологии до математики.

Здесь широчайшие возможности для построения логических структур, прежде всего для сравнений. Афины и Спарта — «генетические близнецы», но сколь различно их развитие... Реформы Клисфена в Аттике и проповеди Конфуция в царстве Лу совпадают во времени, но в одном случае мы видим зарождение демократии, в другом — примат государственности, в конечном счете — тоталитаризма... Можно проследить, как из эллинского семени — с ошибками, срывами, потерями, возвратами — прорастает европейская цивилизация, чьи ценности в наше время становятся общечеловеческими, — и увидеть в конфуцианстве идеологию классического социализма, сменившего первобытнообщинный коммунизм. Сколь многое можно открыть для себя при сравнении античной Эллады с христианской Византией (тоже ведь греческой), а последней — с далекой Поднебесной, увидеть вдруг черты подлинного сходства. А сопоставление античности с ее «возрождением» в Италии? А сопоставление культурных «материков» — Китая и Европы? Так почему все же Новый Свет открыли одни и не открыли другие?

«Историческая философия», способная, во всяком случае, фактически заменить отсутствующие теперь учебники (если сама не явится таковым), разойдется, уверен, любым тиражом даже в наше худое для книг время. И хорошо бы предварительно обменяться мнениями с профессионалами — теоретиками и практиками...

Маркс Тартаковский

Общественный совет редакции:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, И. И. ВИНОГРАДОВ, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, Н. Н. ВОРОНЦОВ, В. В. ИВАНОВ, Ф. А. ИСКАНДЕР, В. Л. КОНДРАТЬЕВ, В. С. МАКАНИН, М. В. МАСАРСКИЙ, Б. Ш. ОКУДЖАВА, В. А. ТИХОНОВ, М. А. УЛЬЯНОВ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО, С. С. ШАТАЛИН.

Главный редактор **Г. Я. БАКЛАНОВ.**

Редколлегия: **А. Л. АГЕЕВ, Н. Б. ИВАНОВА** (зам. гл. редактора), **Е. А. КАЦЕВА** (отв. секретарь), **В. И. КАШИРСКИЙ, К. А. СТЕПАНЯН, С. И. ЧУПРИНИН** (первый зам. гл. редактора).

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. Никольская, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 923-76-33, отдел критики и библиографии — 928-94-45, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор **З. П. Кузнецова.**

Сдано в набор 02.02.93. Подписано к печати 25.02.93. Формат 70×108^{1/16}.
Печать высокая. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,90. Уч.-изд. л. 20,08.
Тираж 73 200 экз. Заказ № 89.

Типография издательства «Пресса». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ДО КОНЦА 1993 ГОДА «ЗНАМЯ»

ОПУБЛИКУЕТ:

Василий АКСЕНОВ. Рассказы

Василь БЫКОВ. Стужа. Повесть

Владимир ВОЙНОВИЧ. Замысел. Автобиографический роман

Юрий ДАВЫДОВ. Заговор сионистов. Повесть

Олег ЕРМАКОВ. Свирель Вселенной. Роман

Наталья ИЛЬИНА. В одной отдельно взятой... Воспоминания

Фазиль ИСКАНДЕР. Повесть

Франц КАФКА. Афоризмы

Анатолий КОРОЛЕВ. Бег Эрона. Роман

Анатолий КУРЧАТКИН. Стражница. Мистический роман

Надежда МАНДЕЛЬШТАМ. Третья книга

Булат ОКУДЖАВА. Упраздненный театр. Роман

Григорий ПОМЕРАНЦ. Записки гадкого утенка

Даниил ХАРМС. Новонайденная проза

Велимир ХЛЕБНИКОВ. Неизвестные стихи

Михаил ШИШКИН. Записки Ларионова. Роман